

ISSN 0132-0637

2000

9

Октябрь

Октябрь

9 2000

ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

9

2000

СЕНТЯБРЬ

В Н О М Е Р Е:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Ирина МУРАВЬЕВА. Дневник Натальи. Повесть	3
Виктор КРИВУЛИН. Стихи после стихов	52
Борис ХАЗАНОВ. Корсар. Повесть	58
Ольга СУЛЬЧИНСКАЯ. Чердаки. Стихи	77
Евгений ПОПОВ. Кто-то был, приходил и ушел. Рассказ	80
Александр ХУРГИН. Не спас. Рассказы	85

Искусство перевода

Ирвин ШОУ. Год на изучение языка. Рассказ. Вступление и перевод с английского Л. Володарской	91
---	----

ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

Валерия ПРИШВИНА. Невидимый град. Глава из романа. Вступление и подготовка текста Я. З. Гришиной	111
---	-----

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Александр СЕКАЦКИЙ.
Я к вам пишу 145

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Нина МАЛЫГИНА.
Здесь и сейчас: поэтика исчезновения 152

Письма А. В. Дружинина к В. П. Боткину. Вступительная
статья, публикация и комментарии О. А. Голиненко
и Б. М. Шумовой 160

Людмила ГЛАДКОВА.
Об истинном искусстве. По переписке Л. Н. Толстого
с Ф. Ф. Тищенко 173

Терпение бумаги

Ольга СЛАВНИКОВА.
Партия любителей П. 178

Актуальная культура

Владимир БЕРЕЗИН.
Левая и экстремальная литература 185

Песни познания

Языковой глобус одной шестой части суши... 189

Главный редактор
Анатолий АНАНЬЕВ

Ирина БАРМЕТОВА *заместитель гл. редактора*

Редакция:

Инесса НАЗАРОВА	<i>отв. секретарь</i>
Алексей АНДРЕЕВ	<i>зав. отделом прозы</i>
Анна ВОЗДВИЖЕНСКАЯ	<i>зав. отделом критики</i>
Виталий ПУХАНОВ	<i>проза</i>

Общественный совет:

Леонид Баткин, Юрий Буртин, Алексей Варламов, Борис Васильев, Андрей Вознесенский, Игорь Волгин, Александр Гельман, Даниил Гранин, Юрий Карякин, Давид Кугультинов, Юнна Мориц, Анатолий Найман, Владислав Отрошенко, Олег Павлов, Людмила Петрушевская, Леонид Филатов, Юрий Черниченко, Родион Щедрин, Сергей Юрский.

***Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество»
выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России
и ряда стран СНГ 3850 экземпляров журнала.***

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор – 214-62-05, заместитель гл. редактора – 214-63-64,
ответственный секретарь – 214-34-44, отдел прозы – 214-51-68, отдел поэзии –
214-63-64, отдел критики – 214-71-34, отдел публицистики – 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.

© «Октябрь». 2000. Электронная версия журнала www.infoart.ru/magazine/October

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Редакция не имеет возможности
рецензировать рукописи и возвращать их по почте.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Технический редактор Татьяна ТРОШИНА.

Сдано в набор 26.07.2000. Подписано к печати 18.08.2000. Формат 70x108^{1/16}.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.
Тираж 8530 экз. Заказ № 1916. Цена 36 руб.

ОАО «Производственное объединение «Пресса-1».
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Ирина МУРАВЬЕВА

Дневник Натальи

ПОВЕСТЬ

15 апреля. Нюра не ночевала дома и пришла в три. Выглядит ужасно: с черными мешками под глазами, измученная. Я смотрю на нее и думаю: что делать? Попробовать опять поговорить с ней? Но сколько можно разговаривать? Она ведь меня не слышит. Никто меня не слышит, кроме Троля. Иногда приходит в голову, что, не будь на свете Троля, я была бы ничем не связана. А так — нельзя, он без меня погибнет. Зимой — никогда не забуду — я шла по Смоленской и увидела такое, от чего во мне кровь остановилась: свора собак, совершенно одичавших, загнала под машину кошку. Окружили эту машину и сидят. Ждут, пока кошка не выдержит. Минут через пятнадцать кошка выползла, наверное, очень старая, больная, ей уже было все равно. Собаки набросились на нее и разорвали. Люди, которые шли мимо, все отвернулись, никто даже не приостановился, кроме меня. Троль — мое счастье, мое тепло. Как он вылизывает мне лицо, и руки, и мои старые ноги, ужасные, старые ноги в тапках!

Может быть, кстати, с ног-то все и началось. В прошлом году мы с Феликсом собрались на дачу к Ш., которого я никогда не любила, но ради Феликса терпела, хотя мне давно казалось, что он шпана, обыкновенная номенклатурная шпана, несмотря на свою знаменитость. И пьесы, которые он пишет, — отвратительное вранье. Возвышенные дамочки в белых шляпах попадают в сомнительные ситуации. Причем за границей, чаще всего в Италии.

Я, наверное, завидую... Иногда я ловлю себя на мысли, что я завидую очень многим: молодым и красивым женщинам, которые проходят мимо по улице, подругам, уехавшим в Америку, завидую умершим...

Мы сели в машину, чтобы ехать к Ш., и вдруг Феликс увидел мои ноги в сиреневых босоножках. Он сморщился, словно проглотил комара, и спросил:

— Скажи, пожалуйста, это что, такая проблема — сделать педикюр?

Я взглянула на себя его глазами. На всю себя — как говорил поэт, «от гребенок до ног». И ужаснулась. Потому что: волосы сухие, вытравленные перекистью, стрижка плохая, шея — в перетяжках, как у гуся, под глазами — лодочки из сморщенной кожи, руки неухоженные. Я увидела старуху, легко раздражающуюся, с плотно сжатыми губами, тускло одетую, молчаливую (о чем говорить-то?) и поняла, что между нами все кончено. Я поняла, что он уже никогда не заметит ничего другого и всегда будет только это: шея, волосы...

Я вылезла из машины и хлопнула дверью. И он быстро отъехал — словно бы с облегчением, словно боясь, что я передумаю.

Мы давно живем молча, каждый сам по себе. У него — своя жизнь, у меня — своя. Существует параллельно. Но когда меня уволили из института, оказалось, что у меня нет никакой своей жизни. Совсем никакой. Мне некуда стало уходить по утрам и неоткуда возвращаться вечером. Нюра явно тяготеет тем, что я сижу дома и мешаю ей заниматься живописью (считается, что она у нас большая художница, вся в папочку!). Кроме того, я позволяю себе переживать за нее. Я переживаю, что она бросила институт, нигде не работает (так, случайные заказы: где рекламу подмалюет, где еще что), переживаю, что у нее богемные и не понятные мне знакомства, что она меняет любовников и часто

не ночует дома. Мне все кажется, что ее вот-вот обидят, изуродуют или даже убьют, и часто я часами простаиваю у окна, высматривая ее, когда наступает вечер.

Иногда на меня находят такие острые приступы любви к ней, что впору повеситься, лишь бы не видеть ее отравленного неудачами лица, не принюхиваться к табачному дыму, плывущему из нашей «детской».

Непонятно, кстати, вот что: почему сегодня, 15 апреля, я вдруг принялась записывать свою жизнь? Тоска, конечно...

Феликс встал часов в одиннадцать, наскоро выпил кофе и, не глядя на меня, сказал, что уходит на весь день в мастерскую. Я вывела Троля, сходила в магазин, купила йогурта, хлеба и кислой капусты, сварила суп, и тут раздался звонок. Очень красивый женский грудной голос спросил Феликса. Я ответила, что его нет, но почему-то у меня заколотилось сердце и я страшно разволновалась. Красивый голос усмехнулся, и в этой усмешке мне почудилось презрение. Тогда я спросила:

— Передать ему что-нибудь?

Вместо ответа она опять усмехнулась — еще презрительнее, но все же очень красиво, музыкально — и повесила трубку. Я набрала номер мастерской, но его там не было, длинные гудки. Я подождала минут двадцать, выпила вальерьянки и опять набрала. Он подошел и закричал:

— Алло! Слушаю! Да!

Я помолчала от растерянности (никогда он так не кричит!) и говорю:

— Тебе тут какая-то женщина звонила...

— Да? — спросил он радостно. — Когда звонила?

— Только что, — спокойно сказала я. — Но ничего не просила передать...

Он, видно, справился со своей радостью.

— Ну, так что?..

— Ты собираешься домой? — спросила я.

— Я работаю! — сказал он со злобой. — Ты, наверное, забыла, что это такое?

Намеки! Он все время напоминает мне о моем безделье, все время говорит о том, что один все тянет. Как будто я виновата, что наш отдел закрыли и меня выставили на улицу! Как будто я виновата! И ведь он не только меня попрекает — прямо скажем — куском хлеба. Он все время ноет, что работает, как лошадь, ни от чего не отказывается, хватается за все халтуры, чтобы нас прокормить, — он, великий театральный художник! А мы — неблагодарные, ничего не понимаем, загоняем его в могилу. И квартира, в которой мы живем, принадлежала его покойной матери, балерине Большого театра, она на свои деньги построила этот кооператив. А я (будь я разумной!) должна бы сдать дачу, доставшуюся мне от отца и деда. Дворянских гнезд больше не существует. Раз нужны деньги, значит, нечего хлюпать, а надо найти жильцов и сдать дачу. Это он так говорит, а я отмалчиваюсь. Дача формально принадлежит мне.

Сегодня я поняла, что он не просто изменяет — а то я не догадывалась, что он мне изменяет! — сегодня я поняла, что он влюблен в кого-то, мучается, надеется, короче — у него открылось второе дыхание, и моя песенка спета.

Нюра поела на кухне — тарелку не вымыла, спасибо не сказала, — заперлась в своей комнате и затихла. Я постояла у ее двери, прислушиваясь. Кажется, она рыдала в подушку, но, наверное, зажимала рот руками, потому что я различила только сдавленное «а-а-а», больше ничего.

Итак: у меня есть муж и дочь. Муж мой на старости лет влюбился, он при деле, и ему не до меня. Дочь моя то ли не может влюбиться и рыдает в подушку, что приходится спать с кем попало, то ли кто-то не отвечает ей взаимно-

тью и она от этого бесится. Но оба они, и муж, и дочь, живут, они живые, с ними что-то происходит, а я мешаюсь под ногами и ни одному из них не нужна. Я — мертвая.

У них заговор против меня. Заговор живых против мертвой, людей против тени. Между собой они перекидываются шуточками, Нюра целует отца в щеку, он ей показывает свои эскизы, и все это без меня! Поди прочь, тень! Старая, со старыми ногами.

Я ложусь спать, уже девять. С Тролем мы погуляли. Днем было тепло, а сейчас пошел редкий снег. Хорошо, пусть. Снег — 15 апреля, светопреставление.

Сердце колотится — того гляди выпрыгнет. Нюра из своей комнаты не выходит. Двенадцать часов ночи. Грохнула дверь лифта. Это Феликс.

16 апреля. Господи, прости меня! Прости, пожалей. Знаю, что сволочь, знаю. Сколько на мне всего!

Я всегда была скверной. С самого детства. Думаю, что это впервые обнаружилось тогда, когда из провинции приехала моя бабушка, мать отца. Дряхлая, почти слепая. В молодости была, как говорили, красавицей. И в старости красоты не утратила, несмотря на дряхлость. Лицо — сморщенное, крошечное, а нос и рот — кукольные... И глаза, хоть слепые, — нежного голубого цвета, как завядшие незабудки. Эта несчастная бабушка, которую я едва знала, очень хотела остаться у нас и жить с нами — с моим отцом и со мной. Была еще горбатая домработница Таня, растившая меня после маминой смерти, но она не в счет. В провинции у приехавшей к нам бабушки была дочь, опереточная актриса, муж актрисы, полный идиот, трое одичавших внуков, толпы крикливых гостей, короче — никакого покоя. Дочь приносила с базара только что зарезанных кур в окровавленных перьях и говорила матери: «Ощипи и приготовь». Та ощипывала и варила. Ей, бедной, хотелось приютиться у сына в московской квартирке и дожить здесь, в райской тишине, остаток дней. Отец не мог ей отказать, но — и я это сразу учуяла! — ему было бы гораздо легче, если бы она уехала к себе в провинцию. Мужчине, одному воспитывающему девочку, перегруженному работой, страдающему бессонницей, взвалить на себя старую, больную мать, выделить ей отдельную комнату, а самому перейти в мою детскую (Таня спала в кухне на кушетке!) и не иметь ни минуты покоя! Ему очень хотелось, чтобы мать поняла все его трудности и уехала обратно к сестре, но она не понимала. Ласково бормоча что-то, бабушка разложила на столе и на подоконниках пестрые салфетки, выставила пузырьки с лекарствами, розовую, расколотую пополам пудреницу, гребенку, несколько шпилек и устроилась в кресле, готовясь провести так не только лето, но и остаток всей жизни.

И вот эту тихую голубоглазую бабушку — родную мать моего родного отца — я, одиннадцатилетняя девочка, выгнала из дома! То есть я ее, конечно, не выгнала. Я ей просто объяснила, как трудно живется папе с его бессонницей и как он нуждается в отдельной комнате. Я объясняла ей все это, краснея, торопясь и волнуясь, а она слушала, понурив ярко-седую кудрявую голову и перебирая оборки своей старинной кофточки маленькими сморщенными пальцами. Когда я закончила, она крепко поцеловала меня и сказала, что, конечно, в первую очередь, нужно думать о папином здоровье и о том, чтобы мне было где делать уроки, так что она уедет.

В конце лета она уехала, а через полгода умерла.

О, стыд мой! Подлый грех мой, от которого не отмыться! Я знаю, отчего Нюра, и не слышавшая ничего об этой истории, меня ненавидит! Вот за эту самую старуху, давшую жизнь моему отцу, и, стало быть, мне, и, стало быть, моей дочери. Я предала родную плоть и кровь, и мне воздалось, мне отомстилось от моей же родной плоти и крови.

Кто это сказал — Достоевский, что ли? — про закон крови на земле? Есть такой закон, точно.

Феликс меня, конечно, бросит, я это давно чувствую, особенно после вчерашнего грудного голоса в телефоне. Сколько ей лет? Тридцать?

24 апреля. Мы расстались с Феликсом. Он ушел. Я гляжу в одну точку и вою. Спокойно, спокойно, пиши дальше. Тебя бросил муж, с которым вы прожили 26 лет.

Случилось это в среду.

Я уже спала, и довольно крепко, так что даже видела сон.

Мне снилось, что я молода и на мне ситцевый сарафан, похожий на те, что носили в пятидесятые. Живу я в каком-то чуть ли не средневековом городе, обнесенном стеной. Город стоит высоко над морем, и на него постоянно нападают соседи. Чтобы обороняться от соседей, жители разводят в море особых змей — плоских и прозрачных, так что их не видно в воде. В городе запрет: несмотря на то, что все — от глубоких стариков до грудных младенцев — знают о змеях, признать даже самому себе, что ты о них знаешь, нельзя. Всякий, кто нарушает запрет, сразу умирает. И вот я — молодая, веселая, в ситцевом сарафане — срываюсь с берега и падаю в море. Змеи окружают меня и обматывают своими волокнами так, что я не могу шевельнуться. Я чувствую, что это конец, знаю, но не кричу и не зову на помощь. Напротив: я изображаю, что мне было жарко и я решила искупаться.

Проснулась — в холодном поту. Феликс стоял в дверях. Плащ и клетчатая кепочка были насквозь мокрыми, значит, шел дождь.

— Мне нужно поговорить с тобой, — сказал он. — Очень нужно поговорить.

И тут — о Господи, вот оно, наступило! — я повела себя, как во сне, от которого едва опомнилась. Я забормотала о какой-то ерунде, быстро-быстро и очень дружелюбно, лишь бы не дать ему произнести, лишь бы протянуть время до смертного приговора. Я бормотала о том, что наш отдел вот-вот откроют, мне уже звонили, и скоро я выйду на работу, так что он сможет плюнуть на свои халтуры и заняться любимым делом, я сетовала на то, что Ньюра так редко бывает дома и мы почти перестали проводить время втроем, а это — согласись! — так важно, чтобы семья проводила время вместе, и пусть дочь давно выросла, все равно ей нужны родители, и мама, и папа, — папа, может быть, чуточку больше, так как девочки вообще сильнее привязываются к отцам, отцовское влияние крепче... Я остановилась наконец, потому что мне не хватило воздуха.

— Наталья, — сказал он в крошечной тишине. — Я встретил другую женщину...

— О, какая дешевка! — завопила я. — Фраза из бульварного романа!

— Фразу я не буду с тобой обсуждать. — Он испуганно взглянул на меня. — Давай поговорим о деле.

Но я уже опомнилась. Надо было немедленно что-то предпринять. Нельзя отпускать его, нельзя!

— Послушай! — пролепетала я. — Зачем же так?

— Как — так? — спросил он.

— Зачем так жестоко? Не бросишь же ты нас в конце концов! Мало ли что бывает у мужчин на стороне!

— Наталья, — сказал он глупым просящим голосом, — пойми, у меня другая женщина. Я ее люблю, вот в чем дело.

Кровь бросилась мне в голову.

— Какой же ты... — У меня тряслись губы и слова застревали в горле. — Подонок ты — вот что! Грязный лысый подонок!

— А ты! — Вдруг словно бы опомнился он и закричал так громко, что бедный Троль выскочил из-под стола и уставился на нас. — А ты! Что я видел от тебя? Одни муки!

— Муки? — переспросила я.— Это ты-то говоришь про муки? Да вспомни хоть, сколько абортотвор я сделала, вспомни, через что я прошла! Муки!

— Мне,— закричал он еще громче,— мне твои аборты стоили не меньше, чем тебе! Я этот кошмар вспоминать боюсь! Когда бы я до тебя ни дотронулся, ты тут же начинала причитать, что опять залетела! И потом я вместе с тобой ждал этих чертовых месячных! Всю нашу жизнь я ждал твоих месячных!

— А кто виноват? — Я тоже кричала.— Кто виноват? Я что, от соседа залетала? Это были твои дети! Ты их делал, а потом требовал, чтобы их убивали! И платил за это! Да! Семьдесят рублей в конверте!

— Я ухожу,— сказал он.— Чего-то самого главного нет в нашей жизни. Мы с тобой не договорились.

О, это было наше слово! Вернее, мое, которое он потом тоже начал трепать направо-налево! Я ему всегда говорила: «Мы с тобой договоримся» или (в хорошие минуты!) «Договорились?». Это было слово-пароль, и вот он теперь его вспомнил!

— Уходи,— сказала я и сползла на пол, туда, к Тролю, к его родному теплу.— Уходи, пока я тебя не убила. Ненавижу и желаю тебе смерти.

От отшатнулся от меня.

— Смотри,— сказал он,— себе не накаркай. Знаешь ведь, как это бывает?

— А ты меня не пугай,— ответила я, изо всей силы прижимая к себе собачью голову (а Троль, любимый, все понимал и только переводил глаза с Феликса на меня). — Не пугай меня, голубчик, поздно...

Он, видимо, взял себя в руки. Все-таки он бросал меня, да еще старую, безработную, выпотрошенную. И уходил к другой, с красивым грудным голосом, наверное, молодой и привлекательной.

— Я оставляю тебе квартиру,— сказал он.— Можешь делать с ней что хочешь.

— Что? — взвизгнула я.— Ты мне оставляешь квартиру? А что я буду есть в этой квартире? Нашу кровать? Тумбочку?

— У меня нет денег,— ответил он.— Я отдаю тебе все, что у меня есть.— Он вынул из кармана плаща конверт и положил его на стол.— Тебе должно хватить на пару месяцев. А там посмотрим.

— Ты сказал Нюре? — спросила я.

— Нет еще,— ответил он и понурил голову.

Он понурил голову, как мальчик! Как провинившийся мальчишка!

— Я тебе не говорю,— сказал он, не поднимая головы (ах, какой гадкий спектакль!),— я не говорю тебе: «Прости меня», потому что... Потому что мы сильно виноваты друг перед другом и вряд ли сумеем друг друга простить...

— Да,— сказала я, глядя на него снизу вверх (по-прежнему обнимала Троля на полу).— Ты сильно виноват передо мной. И я тебя не прощаю.

Он криво усмехнулся:

— Меня прощать... Я с тобой хлебнул — во!

И сделал резкое движение ладонью по шее, словно отсекая собственную голову.

Повернулся и ушел в кабинет, закрыл дверь.

Я не могла шевельнуться (точно, как во сне со змеями!).

Минут через пятнадцать он вернулся, но уже с сумкой.

— Я сам поговорю с Нюрой,— сказал он.— Прошу тебя не вмешиваться.

Вот и все. «Жизнь моя,— как сказал поэт,— иль ты приснилась мне?»

Сказал и повесился. Значит, не приснилась.

Теперь о дочери.

Она странно отнеслась к отцовскому поступку. Через два дня после нашего «развода» (интересно, кстати, собирается ли он оформлять его юридически?) Нюра спросила меня:

— Мама, а вы с папой хоть когда-нибудь, хоть раз были счастливы?

— Конечно,— возмущилась я.— Очень были.

— Врешь,— жестко сказала она.— Не были. Я помню, что вы никогда не хотели больше детей. Я просила братика, а вы отмахивались.

— Не знаю,— сказала я.— Жизнь была непростая, вот и не хотели. Не знаю, не помню.

Все я помнила! Она, маленькая, кудрявая, требовала: «У Оли есть братик, почему у меня нет?»

А мы действительно отмахивались. У нас был формальный предлог: моя первая беременность (не хочу о ней сейчас!) так ужасно закончилась из-за предлежания плода. С Нюрой случилось бы то же самое, если бы это предлежание не обнаружили на третьем месяце и не положили меня на сохранение до самых родов. Потом сделали кесарево. Врачи говорили, что такая аномалия может повториться, раз она уже два раза имела место.

Но ведь не боли я боялась! И даже не потери ребенка! Я боялась, что ребенок родится уродом — и в отличие от того, первого — выживет! С каким ужасом взгляд мой выхватывал в метро или на улице детей-уродов!

Как сейчас помню: зима. Из шестого подъезда выходит тихая пожилая женщина (а может, и не пожилая, горе старит), рядом с ней — девушка в меховой ушанке. У девушки бессмысленное лицо, широко разинутый рот, тонюсенькие ноги и такие же тонюсенькие, дергающиеся руки в варежках. Она что-то мычит, выпуская струйку слюны на подбородок, и мать терпеливо останавливается, вынимает носовой платок, вытирает струйку... Идут дальше. По снегу, по холоду, среди торопливых пешеходов, которым до этой несчастной, зачем-то родившейся, зачем-то живущей — нет никакого дела!

Всякий раз, увидев их, я думала: «А если бы это случилось со мной? О, ужас!»

Слава Богу, я здорова и молода. Моя Нюра спит на балконе в коляске. У нее не щеки, а яблоки, и ресницы такие густые, что на них, как говорят старухи во дворе, «спичку ложи — не упадет». Зачем же мне рисковать? Чтобы всю оставшуюся жизнь умыться слезами да еще потерять Феликса?

Ах, я не сомневалась, что он сбежит при первом же испытании! Он всегда был предателем, и я всегда боялась, что он меня обманывает, с самого первого дня! Одна моя ревность чего стоила! От ревности мне даже хотелось убить себя, лишь бы сделать ему больно! И один раз — страшный, один-единственный раз! — я действительно обезумела. Мы жили на даче: Нюра девяти-месячная, и я, а Феликс — молодой папаша, великий театральный художник! — бывал там наездами. Мне было скучно с грудным ребенком, был — тяжелый, однообразный, лето дождливое. Вечерами приходилось топить печку на кухне, чтобы купать Нюру и успеть до утра высушить пеленки. Я просила Феликса как можно чаще приезжать к нам и по возможности ночевать здесь, а не в городской квартире. Он уклонялся и выполнял мою просьбу с большой неохотой.

Я ждала его во вторник, но во вторник он не приехал. Не приехал и в среду. В четверг утром я решила позвонить ему в город и поплелась на станцию под проливным дождем, толкая перед собой громоздкую коляску со спящей Нюрой. Его не было в театре, и я испугалась. Дозвонилась его тогдашнему приятелю, быстро набирающему славу поэту, и спросила, не знает ли он случайно, где мой Феликс. Поэт весело ответил, что Феликс уехал на дачу еще во вторник и собирался пробыть в кругу семьи до пятницы. Я ахнула и тут же набрала наш домашний телефон, хотя никакой надежды застать его дома, разумеется, не было.

— Слушаю,— сказал он.

— Почему ты не на работе? — закричала я. (Было очень плохо слышно.)

— Я зашел на пять минут,— соврал он.— Мне нужно было взять один набросок.

Это, конечно, ложь. Он был в нашей пустой квартире с какой-то бабой, он жил там с нею все эти три дня — вторник, среду и четверг,— понимая, что я не потащусь на электричке с грудным ребенком проверять его, он был абсолютно уверен в себе и в своей власти надо мной, нисколько не любил меня, а женился только потому, что я умоляла.

Заливаясь слезами и толкая перед собою коляску, я вернулась домой, зажгла лампу — о, как неуютно было на этом сыром, сером свете! — покормила Ньюру и принялась ждать пяти часов вечера. Я знала, что он непременно придет с пятичасовой электричкой, и, хотя не представляла себе, что именно сделаю, чувствовала приближение катастрофы. Вместо меня — рук, ног, головы, глаз — полыхала одна раскаленная злоба. В четыре тридцать выглянуло солнце, потеплело, заблестели мокрые деревья, небо стало голубым и доверчивым, в деревне за мостиком заголосил петух, и я — помню отчетливо! — посмотрела в зеркало, прежде чем идти на станцию. Из зеркала на меня сверкнули чужие дикие глаза, насаженные над искаженной, совершенно неуместной улыбкой. Я взяла Ньюру на руки и заторопилась. Через десять минут подошла электричка — я услышала, как она прогудела и прогрохотала,— а еще через пять минут на тропинке, ведущей к дачам через мокрый луг, показались первые пассажиры, торопливо размахивающие своими портфелями и авоськами.

Он увидел, что я иду ему навстречу с Ньюрой на руках, и приветственно поднял руку. Я остановилась, не дойдя до него, и со словами «получай!» бросила ему под ноги ребенка. До сих пор не понимаю, что это было со мной. В глазах сразу почернело, я опустилась на землю. Через секунду зрение вернулось, я увидела, как очень бледный, трясущийся Феликс держит на руках зашедшую в беззвучном крике Ньюру, а вокруг стоят люди. Еще через несколько секунд Ньюрино беззвучие разрешилось непрерывным «а-а-а-а!», и Феликс побежал куда-то, даже не оглянувшись.

Незнакомая женщина в косынке наклонилась надо мной и заорала:

— Пададь, блядь! Ты чего с ребенком сделала? Убить тебя мало, пададь!

Я встала с земли и пошла домой. Я уже не думала и не помнила ни о себе, ни о нем. Я была уверена, что дочь моя умерла, и шла домой только, чтобы убедиться в этом. Я знала, что ни на секунду не останусь жить после ее смерти. Как это произойдет — не важно. Боль была такая, что казалось, будто я не дышу, а глотаю стекло.

Феликс сидел на крыльце, прижимая к себе тихо всхлипывающую Ньюру. На меня он не смотрел.

Впоследствии мы никогда не вспоминали об этом. Очевидно, потрясение было настолько глубоким, а взаимный ужас настолько острым, что нужно было или немедленно расстаться, или сделать вид, что этого не было.

Точно знаю — он меня не простил. Но вот рассказал ли он Ньюре, как я бросила ее, девятимесячную, с размаху на землю?

28 апреля. Ньюра вышла замуж. Я не шучу. Вчера вечером она позвонила и сказала так:

— Мама, не удивляйся, я приду не одна.

Как будто я еще могу чему-то удивиться!

Через полчаса явилась с худым, высоким парнем. На вид лет тридцать. Глаза — мрачные. Густая черная борода, бритый череп. В руках чемодан и гитара.

— Мама,— сухо сказала Ньюра, зрочки ее бегали.— Это Ян. Он будет жить с нами. Считай, что мы поженились.

Я прислонилась к стене, ноги подкосились. Парень угрюмо сказал «приветствую» и прошел на кухню, словно меня и не было. Она собралась последовать за ним, но я прошипела «иди сюда», и она подчинилась. Не потому, что боялась

меня, а потому, что не хотела начинать со скандала. Я втокнула ее в бывший кабинет бывшего мужа и закрыла дверь.

— Это что значит?

— Ничего, — небрежно сказала она. — Что именно тебя интересует?

— Как ты посмела? — задыхнулась я. — Немедленно выгони отсюда эту шваль, сию минуту!

— Не подумаю, — громко сказала она. — И не смей со мной говорить в таком тоне.

Я смотрела на нее, она на меня. Лицо ее было похоже на лицо Феликса и так же дышало ненавистью ко мне, жуткой непонятной ненавистью!

— Ты не должна ни обслуживать нас, ни содержать, — сказала она. — Ян — музыкант, он хорошо зарабатывает. Квартира большая. Папа сюда не вернется.

Последнюю фразу она произнесла с каким-то даже сладострастием, другого слова не подберу. Она отчеканила каждый слог, сделав ударение на «не», словно уход своего отца от меня она, моя дочь, торжествовала как победу.

Тогда я распахнула дверь в столовую и закричала: «Троль!» Он тут же подбежал ко мне, виляя хвостом.

Собака, ты спасаешь меня. Кроме тебя, никого нет.

Нюра вдруг покраснела и погладила Троля (обычно она не обращает на него внимания! Это — мое, а стало быть, многого не заслуживает!).

— Успокойся, — примирительно сказала она. — Я не обещаю тебе, что мы заживем, как в раю. Но можно обойтись без ада.

4 мая. Без ада — не получилось. Мой зять, кажется, ненормален. Они с Нюрой ночи напролет занимаются любовью с таким треском, звоном и шумом, что притвориться, будто не слышишь, довольно трудно. Что он с ней делает, не представляю. Потом они оба спят до двенадцати. Музыкант он, как я понимаю, аховый: играет на ударных инструментах. Я сказала, что дома прошу не репетировать, так как соседи заявят в милицию и правильно сделают. Нюра тут же возразила, что до десяти часов вечера можно хоть на голове ходить, никто не смеет и пикнуть. Хозяйничаем мы теперь порознь: у нее свое хозяйство, у меня свое. У меня овсянка, компотик какой-нибудь, омлет из одного яйца с помидором. У нее — зеленые супы, не поймешь из чего, и окровавленные ростбифы. Сексуальный маньяк ест, как слон, не смотря на свою худобу. Глисты, наверное. Солитеры. Откуда у «молодоженов» деньги, я тоже не понимаю. Вполне возможно, что он и зарезал кого-нибудь, ударник этот. В лице у него, кстати, есть что-то от нового русского, только разорившегося, ушедшего в подполье. Новый русский из неудачников. Неврастеник.

Что мне до него? Ведь это временная история. Поживут месяц-другой и разбегутся. Любовью от этого союза не пахнет. А чем пахнет? Ах, Боже мой, опасностью — вот чем! Хмельными деньгами, нечистой совестью. Муть, муть и муть. А может быть, у моей дочери просто бешенство матки? Иначе зачем ей эта горилла?

8 мая. Вчера мы с Тролем сбежали на дачу. Я думала провести там праздники, но вечером начался такой дождь и холод, что пришлось вернуться. Печка барахлит, тепла не держит. Несмотря на отвратительную погоду, народ хлынул за город. Все возятся на огородах. Все, кроме меня. Я никогда ничего не умела, никогда моя земля ничего не рожала.

Утром заметила через забор Платонова. Он истощал и зарос.

Сколько лет мы знаем друг друга? Сто лет, с детства. Помню, как он заболел полиомиелитом и у нас в доме началась паника: боялись, что я заразюсь. Потом боялись, что он умрет. Но я не заразилась, а он поправился. Одна нога у него так и осталась короче другой. Платонов — фантастический человек, невероятный. Считается, что он математик, но я не уверена, чтобы

математика хоть когда-нибудь приносила ему деньги. Окончив университет, Платонов какое-то время работал в школе, но вместе с теоремами преподнес детям несколько уроков опасного вольнолюбия, и его тут же уволили. Потом я надолго потеряла эту семью из виду, дача их стояла пустая, так как родители Платонова одновременно заболели, за городом жить не могли, и он ходил за ними как нянька. Работал по ночам каким-то обходчиком, а днем ухаживал за двумя лежащими стариками. Распродавал семейную библиотеку, чтобы кормить их рыночными овощами и фруктами. Один раз я увидела его в букинистическом магазине с авоськой книг. Принес на комиссию. Заметил меня и огненно покраснел от стыда. Потом справился со смущением, обнял меня, обрадовался. У меня уже была пятилетняя Нюра, и жили мы с Феликсом сравнительно мирно, хотя без большой радости. Я спросила Платонова, отчего он не женится. Он усмехнулся, сверкнув золотым зубом сбоку (я тогда первый раз увидела у него этот золотой зуб и поразилась: как старик!).

«Не могу, — сказал он серьезно. — Родители».

Родители вскоре умерли. Один за другим, но каждый на руках у сына. Платонов бросил работу и начал читать. Кроме всего прочего, углубился в эзотерическую литературу и целыми днями просиживал в Ленинке. Жить ему стало абсолютно не на что, и кто-то из друзей посоветовал продать либо дачу, либо квартиру. От продажи дачи Платонов категорически отказался («Трогать нельзя, — сказал он, — детство!»), а квартиру продал. Его, разумеется, надули, да и квартира была средняя, так что деньги оказались маленькими, и он тут же перевел половину этих денег двоюродной сестре в Архангельск.

Платонов увидел меня, просиял своими наивными косыми глазами и подошел к забору.

— Ната, — сказал он, — солнышко, ты приехала?

— Ты почему так похудел? — спросила я. — Не жрешь ничего?

— Болею, — грустно ответил Платонов. — Давно, с осени.

— Чем? — спросила я.

— Да не важно, — отмахнулся он. — Идем ко мне чай пить.

В доме у него было тепло, перед иконой горела свечка, книги лежали повсюду, одна даже на плите, правда, незажженной. Он поспешно убрал книгу, поставил чайник, нарезал сыр, хлеб, переложил повидло из банки в стеклянную вазочку и начал нас с Тролем угощать. Троль деликатно съел хлеб с повидлом из платоновской ладони и тщательно вылизал ладонь в знак благодарности.

— Чудо! — сказал Платонов и радостно засмеялся. — Собака — чудо! Я бы тоже завел, да боюсь...

Он перестал смеяться и удивленно приподнял брови.

— Чего ты боишься? — спросила я. (На душе у меня стало светло и тихо, словно и там зажгли свечку!)

— Боюсь, что некому будет за моей собакой ухаживать, — сказал Платонов. — Мало ли как...

— Да что ты, ей-богу! — воскликнула я. — Что ты все намекаешь? Что с тобой?

— Ничего, ничего, солнышко, — смутился он. — Показать тебе картинки?

Платонов всю жизнь любил рисовать, хотя никогда не мнил себя художником и никогда никому свои работы не показывал. Исключение он сделал только однажды для нас с Феликсом. Было это лет двадцать назад, когда Феликс очень удачно оформил пару балетов и ходил с задранным носом. Помню, как молодой, долговязый и нескладный Платонов, с круглым лицом и добрыми глазами, пришел к нам в какой-то гуцульской войлочной шапочке, долго хвалил Феликсовы декорации, а потом смущенно сказал, что хотел бы

посоветоваться насчет своих картинок. Феликс накинул на левое плечо замшевую куртку (привез из Болгарии!), закурил трубку, и мы пошли смотреть картинки.

Я, конечно, сразу увидела, что Платонов не большой мастер. Писал он в основном пейзажи, но не реалистические, не с натуры, а то, что представлялось воображению. На пейзажах были диковинной синевы моря, причудливые горы с освещенными солнцем вершинами, розовые фламинго, желтые, как хорошо заваренный чай, пустыни. И все же мне было приятно смотреть на эти полотна, потому что они напоминали самого Платонова.

Но Феликс! Он его уничтожил. Правда, дружески и от чистого сердца.

— Коля,— сказал Феликс, пыхтя трубкой, как Гайавата.— Ты хочешь, чтобы я тебе подпевал, или ты хочешь правду?

Платонов смутился до того, что на глазах его выступили слезы.

— Так вот,— продолжал мой безжалостный муж,— с точки зрения живописи — это мазня.

— Я понимаю,— поспешно сказал Платонов,— но я думал, что с точки зрения...

— Другой точки зрения нет! — отрезал Феликс.— Вопрос лишь в том, предрасположен ли человек к тому, чтобы писать маслом на холсте. Или ему лучше заняться чем-то еще...

— Я понял,— пробормотал Платонов.— Это ведь для себя...

— Для себя — пожалуйста,— смиловался Феликс.— Для себя это совсем неплохо, особенно морские куски...

Троль, Платонов и я поднялись на второй этаж по темной скользкой лестнице и вошли в комнату, которую Платонов называет «мастерской». Все ее стены завешаны картинами. Не берусь судить с «точки зрения живописи», как говорил мой бывший, но, кажется, одна вещь точно удалась. Ни гор, ни морей на ней не было, а было семь всадников в черных капюшонах. Всадники медленно двигались, но не по ровной поверхности, а словно бы забирая вверх, к невидимому небу. И люди, и лошади были почти бесплотны. За спинами у всадников торчали приклады, головы в черных капюшонах были низко опущены, а лошадиные морды, напротив, высоко и тревожно задраны, словно лошади чуяли впереди опасность.

— Молодец! — сказала я.— Как называется?

— Это называется,— замаялся Платонов,— «Дорога на Страшный суд».

— Так это — мертвые? — спросила я.— Дорога-то после смерти?

— В общем, да,— сказал он.— Я, собственно, это имел в виду.

И тут я разрыдалась и закашлялась.

— Коля,— сказала я.— Миленький! Я с ума схожу.

Платонов покраснел и испугался. Первым движением его было прижать меня к груди, но он остановился на полдороге.

— Ната,— спросил он осторожно,— что с тобой?

— Да что! — Слова давили друг друга, царапали горло.— Что со мной? Никого нет — раз, старость пришла — два, смерть не за горами — три! Мало?

Он хотел что-то сказать, но не решился.

— Если ты мне посоветуешь верить в Бога, или надеяться на лучшее, или еще что-то в этом роде,— я повысила голос, словно Платонов был виноват в моих несчастьях,— если ты мне что-то подобное скажешь, я сейчас же уйду!

— Но в Бога действительно нужно верить,— прощептал Платонов.— Иначе что же?

— Ах, я не знаю! — закричала я.— Только ты мне не устраивай сцену из романа «Братья Карамазовы»!

— Когда писались «Братья Карамазовы»,— сказал он,— овец не клонировали и младенцев не выводили в пробирках. Времена были невинными...

— Каких овец? — не поняла я.

— Ну как? — задумчиво сказал он. — Тех, которые тоже будут на Страшном суде. Вместе с экспериментаторами. Ната! Ты что, не видишь, какое подходит Время?

(Пишу слово «Время» с большой буквы, именно так он произнес!)

— Время — чего? — спросила я.

— Я думаю, конца света, — ответил Платонов. — А как же иначе понять эти приметы?

— Коля! — вздохнула я. — Что ты, ей-богу! Поговори со мной просто!

— Но, Наточка! — испугался он и затряс бородой. — Куда уж проще! Вот ты говоришь: «Моя жизнь» или «Его жизнь», а ведь отдельно от общей жизни ничего нет! А скажи мне: что произошло с общей жизнью в нашем веке и почему я лично думаю, что скоро конец?

— Что произошло? — спросила я.

— В нашем веке впервые появилась цена... — Он ярко покраснел и запнулся. — Цена на человека.

— Не поняла, — удивилась я. — А во времена крепостничества?

Платонов замахал руками.

— Да при чем здесь деньги! Это другая цена! В нашем веке впервые пришлось в голову использовать человека как материал, понимаешь? Использовать его телесно, извлекать пользу из его кожи, волос, костей! Вот я о чем! Ведь что делали немцы в лагерях? Ты скажешь: массовые убийства, камеры, холокост! Да, да, да! Но ужас в другом! Массовые убийства были и до немецких лагерей! Но посмотреть на человеческую кожу, как на кожу крокодила, из которой можно сделать сумку, — вот этого не было! Вот куда пробрался дьявол!

Платонова колотила дрожь.

— Ната, — простонал он и схватился обеими руками за голову, — Ната! Он подбирался к нам долго-долго, то с одного боку, то с другого, но никогда, ни в одной цивилизации ему не удавалось того, что нынче!

Я уже жалела, что начала этот разговор. У меня на него нет ни сил, ни здоровья. Троль уловил мое настроение и посмотрел вопросительно. «Уходим? — сказал его взгляд. — Или еще побудем?»

— Все! — кричал седой и заросший друг моего детства, с которым мы лет пятьдесят назад ели незрелый крыжовник и играли в прятки. — Они скоро начнут выводить людей! Я читал, что в одном корейском университете уже начали такое клонирование! Они уже поместили человеческую клетку в пробирку, и она принялась развиваться! Тогда они ее уничтожили, потому что еще не знают, что с этим делать! Но скоро они узнают, скоро они узнают! Хотят отнять у человечества самую великую тайну! Тайну жизни и смерти! Но без этой тайны мир перестанет существовать! Он рухнет! Ты понимаешь? Любой идиот, у которого есть деньги и который больше всего на свете боится физической смерти, сможет заплатить, и для него выведут живое существо, в точности его повторяющее!

— И что? — спросила я.

— Как — что? — расширил глаза Платонов. — Как — что, Ната? Ты понимаешь, как это делается? Берут одну клетку и удаляют из нее всю генетическую информацию, потом берут другую — сохраняя информацию — и соединяют их! И вживляют это соединение куда угодно: в женщину, в пробирку! Получается существо! Человек! Но он заказан другим человеком на случай пересадки сердца, например! Или почек! Потому что его генетика точно повторяет генетику заказчика! Ты чувствуешь идею?

— Ну? — спросила я. — Чем это отличается от опытов доктора Фауста?

— По большому счету — ничем, — ответил Платонов. — Но ты ведь помнишь, кто к нему пришел?

— Ах, Коля! — усмехнулась я (мне хотелось свести все к шутке!). — Я, например, к тебе пришла чаю попить, а ты меня пугаешь...

— Ничего нет,— умоляюще сказал Платонов, не слушая.— Солнышко мое! Ничего нет дороже жизни! Маленькой жизни! Не только человеческой, а вообще! Вот ты посмотри на него,— и он быстро дотронулся до головы Троля дрожащей ладонью,— ведь тебе не важно, как он называется: «собака», «кошка», «хорек»! Ведь ты любишь конкретно его! И ты не допустишь, чтобы из него сделали шапку!

...Мне вдруг вспомнился летний день. На ладони у меня неподвижно лежит толстая, словно бы меховая, серая бабочка. Мы с Платоновым — оба семилетние — смотрим на эту бабочку и ждем, пока она оживет. Но бабочка не шевелится, значит, умерла.

— Положи ее сюда, под дерево,— просит Платонов.— Здесь будет ее могила. Жаль, она была совсем молодой.

Я кладу мертвую меховую бабочку под дерево, и Платонов накрывает ее листиком. Потом мы забираемся в недостроенный сарай, где темно и прохладно, стоит верстак, с которого свисают локоны вкусно пахнущей стружки. Издалека доносится голос точильщика: «Точить ножи-ножницы! Точить ножи-ножницы!» Я боюсь этого точильщика, худого старика с тяжеленным колесом на плече, из которого сыплются искры.

— Мы не вернемся домой,— вдруг говорит мне маленький Платонов,— если они не дадут нам честного слова никогда никого не обижать. Ни детей! Ни кошек, ни мух, ни гусениц, ни вообще! Никого!

10 мая. Вчера был День Победы.

Нюра не предупредила меня, что к нам, вернее, к ним, собираются гости. Я была в своей комнате, как вдруг до меня начали доноситься запахи жареного мяса и каких-то специй. Я вышла на кухню. Ян стоял в черной майке — глаза окровавлены, сосуды от страсти лопнули — и что-то помешивал в большом котле, которого у нас отродясь не было. Дочь моя крутилась тут же, в кокетливом фартучке, напяленном поверх трусиков и лифчика. Мулен Руж.

Я решила не вмешиваться и отозвала Троля. Каково ему было дышать этими парами! Не успела я закрыть дверь, как Ян прорычал:

— Эй, псина, давай сюда!

И Троль радостно побежал к ним на кухню, а через пять минут вернулся, счастливый, облизываясь.

— Кости ему нельзя! — крикнула я на всякий случай, просто чтобы напомнить о себе.— От костей собака может погибнуть!

Никто мне не ответил.

А вечером! Господи, что творилось у нас вечером!

На этот самый плов привалила целая орда. Один страшней другого. Пришли двое в черных свитерах с мощными бицепсами, похожие, как сямские близнецы, узкоглазые, с высокими скулами. Пришел какой-то расслабленный, старообразный, с большим синим камнем на указательном пальце, пришли несколько музыкантов, и каждый принес с собой по музыкальному инструменту, потом, очень торжественно, с большим букетом, ввалилась страшно знакомая физиономия, но я никак не могла вспомнить, актер он или еще кто.

О женщинах лучше не упоминать вовсе. Приличной ни одной. Одеты, как шлюхи. Юбки короче трусов. В конце кошмара, правда, появилась белозубая красotka, настоящая красotka — горбоносая, высокая, с тонкой талией,— но так быстро, так безобразно напилась, что какая уж там красота!

Не знаю, что они все-таки отмечали? Нюрину свадьбу? День Победы? Я сидела в своей комнате и плакала, а в доме у меня стоял страшный грохот по полам с музыкой, выкриками, тостами, топотом каблуков по полу. Троль сначала лаял, набрасывался на дверь (мы с ним заперлись!), потом сник и начал поскуливать. В десять я решила вывести его погулять и осторожно выглянула в

коридор. Расслабленный, с синим камнем, прижимал к вешалке толстую блондинку и что-то икал ей в шею, а блондинка закатывала глаза и шарила жадными пальцами по его ширинке. Поскольку они не обратили на меня ни малейшего внимания, я тоже решила сделать вид, что мне наплевать, и, прошла мимо них в ванную, думая умыться. Но там рвало лысого музыканта, который, очевидно, перепутал ванну с унитазом! Дверь в большую комнату была настежь, и я увидела свою дочь — красную, хорошенькую, — сидящую на коленях одного из сиамцев и слившуюся с ним в поцелуе! А зять мой, абсолютно пьяный, наигрывал в углу на гитаре. В комнате, кстати, странно пахло: вроде бы сигаретами, только странными.

— Мама! — закричала дочь, увидев меня, застывшую с собакой на поводке. — Будешь ужинать? Иди к нам!

Мне хотелось провалиться сквозь землю. Мне хотелось завьить, зарыдать, избить ее до крови, выброситься в окно... В висках у меня застучали молотки, перед глазами поплыла красная жижа.

— Дрянь! — закричала я, трясаясь. — Вон из моего дома! Проститутка!

— Ну, ну, ну, — сказал пьяный зять, отбрасывая гитару и делая шаг по направлению ко мне. — Нехорошо, девочку обижаете. Я не позволю.

— Уйди! — закричала я так громко, что голос мой сразу сорвался. — Уйди от меня, подонок!

Глаза его стали щелочками.

— Придется успокоить женщину, — пробормотал он и вдруг скрутил мне руки за спиной. Троль бросился на него, но он отбил его ногой в живот, и Троль завизжал от боли.

— Ян! — заорала Нюра, вскакивая с коленей сиамца. — Прекрати! Прекрати немедленно!

— Цыц! — не повышая голоса, сказал зять и отпустил мои руки. — Успокоилась?

Дальше я ничего не помню, потому что, наверное, со мной случился короткий обморок, от которого я очнулась на диване в кабинете Феликса. Кабинет был полон того же странного дыма. Нюра прикладывала к моему лицу мокрое полотенце.

— Ты стукнулась головой, — сказала она миролюбиво. — Теперь у тебя на затылке шишка.

— Чем от тебя пахнет? — спросила я. — Что это за сигареты?

— Это ликер, — соврала она. — Принести тебе?

— Доченька! — Я опять зарыдала. — Ну что же это такое? Что у нас происходит, Господи Боже мой!

Нюра пожала плечами, лицо ее потемнело.

— Это я могу спросить тебя, что у нас происходит, — сухо сказала она. — Врываешься к моим гостям, черт знает что себе позволяешь! А потом удивляешься, что я не хочу иметь с тобой никакого дела!

Рыдания душили меня.

— Но как же? — давилась я. — Ты же у меня одна! Одна на всем свете! Ты же мое дитя! Хочешь, я покажу тебе шов от кесарева?

Она сморщилась и встала с дивана.

— Мама, — сказала она и сделала гримасу, будто ее сейчас стошнит. — Давай без анатомии. Противно!

— Что тебе противно? — обомлела я. — То, что ты моя дочь, моя плоть и кровь?

— Ненавижу я эти разговоры о плоти и крови, — скривилась она. — Ладно, хватит.

Она ушла. Я услышала ее громкий смех, потом опять включили музыку — и пошло! Я добрела до своей спальни и рухнула на кровать, не раздеваясь. Засыпая, я вспомнила, что ничего не ела сегодня, кроме чая с хлебом, да и то рано утром.

15 мая. Все кончено. Моя дочь — наркоманка. Этот странный запах, который я тогда унюхала, был запахом марихуаны. Ян служил в Средней Азии и там привык. Он — наркоман со стажем, она — начинающая.

Я жить не могу, конец, конец. Узнала случайно, подслушала, как она спросила кого-то по телефону: «Покурим травку?»

Я стала трясти ее за плечи: «Говори, какую травку, говори сейчас!» Она меня оттолкнула. Я ударила ее по щеке. Она схватилась за щеку, и глаза ее стали ярко-розовыми. Так же бывало у Феликса, когда он выходил из себя. Она оттолкнула меня еще раз, сильнее. Тогда я вцепилась в нее и выдрала кусок воротника. Она бросилась в коридор и оттуда на меня плюнула! Она, кстати, часто плевалась, когда была маленькой, я хорошо помню, потому что из-за этих плевков нас с Феликсом вызывали в школу. В четвертом классе Феликс сводил ее к психотерапевту, и тот дал справку, что у нее невроз.

Я побежала за ней, она закричала:

— Не смей!

Тогда я упала перед ней на колени. Не знаю, как это произошло, что со мной случилось — почему я упала на колени перед ней, девчонкой, мерзавкой, только что поднявшей на меня руку?

Кажется, она дико испугалась. Она не бросилась меня поднимать, но прижалась затылком к зеркалу и смотрела на меня с ужасом. А я стояла на коленях и говорить уже не могла, задыхалась.

Это была сцена! Слава Богу, ее никто никогда не увидит, слава Богу — это останется между нами.

— Мама, если ты не встанешь, — сказала она, — я вызову «скорую» из психбольницы. Они тебя заберут.

— Вызывай, — прошептала я и встала. — Еще что?

— Ничего, — звонким голосом ответила она. — Мы так больше жить не можем.

— Какую травку? — спросила я. — Скажи правду, и я уйду. Какую ты куришь травку?

— Господи, — сморщилась она, — да никакую! В Голландии марихуану продают в аптеках! Если мы один раз, в шутку, покурили с ребятами, это значит, что мы наркоманы?

— Значит, да, — сказала я. — Значит, с вами все кончено.

— Господи, дичь какая! — пробормотала она. — Судись о вещах, в которых ничего не понимаешь!

— Что мне понимать? — закричала я. — Ты не знаешь, что принят закон против наркомании? Ты не знаешь, что наркоманов сажают в тюрьмы, что их ссылают? Ты не знаешь, идиотка, чем это кончается? Ты думаешь, что из тюрьмы возвращаются?

Она зажала уши ладонями.

— Я найду на тебя управу, — прорыдала я и, кажется (совсем глупо!), погрозила ей пальцем. — Ты у меня попрыгаешь!

— Ой, Боже мой! — захохотала она. Щека, которую я ударила, была ярко-малиновой. — Ой, как страшно! Да я тебя завтра упеку в сумасшедший дом! Ты хулиганка и шизофреничка! Не зря папа ушел! Намучился!

20 мая. Мне нужно искать работу. Деньги кончатся — чем я буду кормить Троля? Феликс не появляется, с Нюрой мы не разговариваем. Сегодня мне показалось, что кто-то шарил у меня на столе, пока я была в магазине. Интересно: кто и зачем? Нужно проверить, не ошибаюсь ли я.

22 мая. Я не ошиблась. Проверить, что у меня в комнате был гость, оказалось проще простого. Старый испытанный метод: взяла волосок и положила его на одиннадцатую страницу. Потом засунула книгу с волоском под

несколько других толстых книг. Вечером открыла: волосок оказался на шестой! Теперь нужно выяснить самое главное: кто этот гость и зачем ему мои книги?

23 мая. Слава Богу, это не Нюра. Более того, это не Ян. Это тот тип, который был на вечеринке. Один из сиамских. Нюра сидела у него на коленях, и он ее целовал. Он к ним заходит. Я подслушала телефонный разговор, в котором Нюра сказала кому-то, что Сеня (это он!) живет между Израилем и Бронксом. Я думаю, что за ним и его братом стоит крупная мафия. Просто уверена. Что-то очень страшное, темное. Я ведь ничего не знаю о жизни своей дочери. Откуда, например, у Яна деньги на ростбифы, марихуану и тряпки? Он подарил Нюре кожаные брюки. Ужасные, вульгарные, но, наверное, очень дорогие. Сидят, как перчатки. А Ян ведь не из самых богатых. Это ясно, иначе не стали бы они у меня ютиться, сняли бы квартиру — и дело с концом! Сиамские гораздо богаче, так я думаю. Сеня ни разу не приехал к нам на метро, все время на машине. Мне с шестого этажа не разобрать, какая марка, но судя по всему — хорошая. Что за бизнес у него в Израиле и Бронксе?

Как мне пробиться через этот ужас?

24 мая. Снился отвратительный сон. Как будто у меня начались месячные (а у меня их уже года четыре как нет!), и я плыву на пароходе вместе со своей служанкой. Да, со служанкой, может быть, даже с горбатой Тоней, которая меня вырастила. Хотя никто и никогда не применял к ней слова «служанка». Говорили только «няня» или «домработница». Короче, я плыла на пароходе, и вдруг из меня хлынуло. Я испугалась и показала свои пропитанные кровью трусы служанке, лица которой не помню. И она говорит мне: «Будет встреча. Увидишь родного». И языком пробует мою кровь на вкус.

Я проснулась с криком!

Боюсь открыть глаза и кричу, а потом чувствую — Троль лижет мне руку.

Как она страшно сказала: «Увидишь родного». Что такое есть в этих словах, от чего мне опять хочется кричать? Кто этот «родной»?

1 июня. Сиамец хочет продать Нюру за границу в качестве проститутки. Я много читала и слышала об этих делах. наших дурочек приманивают и потом как живой товар сбывают в Израиль, Грецию, Турцию. В Америку, наверное, тоже, я точно не знаю. Вчера он был у них в гостях. Ян ушел за сигаретами, и я услышала, как сиамец сказал ей: «С твоим телом в этой дыре делать нечего! Только время зря тратишь!» Она спросила: «Ты мне что-нибудь можешь предложить?» Но я не разобрала ответа, потому что он засмеялся и отвечал, смеясь и понизив голос.

Что он ищет на моем столе? Может быть, ее фотографии или какие-нибудь документы? Да, скорее всего именно так. Ему нужно разослать ее фотографии по всему свету, по всем своим агентствам. Наверное, у него агентства в разных местах и он хочет понять, где ему за нее больше дадут. У меня паника в душе, голая постоянная паника. Дышать нечем.

Надо дозвониться Феликсу и сообщить ему. Он должен знать, она — его единственная дочь, он ее любит. Не мог же он перестать заботиться о ней только потому, что у него появилась какая-то сучка!

Скорее бы прошла ночь. Завтра утром я буду звонить Феликсу в мастерскую.

2 июня. На удивление быстро дозвонилась. У него был кроткий голос, вежливый, словно я не жена его, а добрая знакомая или соседка по этажу.

— Как дела? — спросил он.

— Феликс, — сказала я, стараясь быть очень спокойной. — Нюра в беде. Я должна тебе все рассказать.

— Нюра? — удивился он. — Я вчера видел ее, она ни на что не жаловалась.

— Ты что! — закричала я. — Ты думаешь, я сочиняю? Или мне нужен предлог, чтобы с тобой встретиться?

— Успокойся, — кротко сказал он. — Давай встретимся и поговорим. Зайди в мастерскую.

Испытание: зайти в мастерскую! От нашего дома до мастерской — два шага пешком. Но тяжело мне это так, как будто он сказал: «Зайди в морг». Плохо, ужасно. Вся моя жизнь была связана с этой мастерской. Я пошла.

Взяла Троля, с ним мне легче. Пахнет сиренью. Вся Москва полна сиренью, лето наступило, а я сижу в городе! Но сейчас мне нельзя уезжать. Я должна быть рядом со своей непутевой дочерью.

Странно путаются мысли... От голода, что ли? Я боюсь — из-за Троля, конечно, — проесть последние деньги и поэтому экономлю: ем по чуть-чуть. Да и не хочется уже, отвыкла.

Феликс открыл мне дверь. В прихожей темно, как всегда. Лампочка, как всегда, перегорела. Мне показалось, что он похудел.

— Проходи, Наташа, — сказал он. (Ну, точно, как соседке по этажу!)

Я вошла в комнату, где раньше было много моих изображений: фотографии с Нюрой и без, мой портрет, дипломная работа одного его приятеля, другой портрет — карандашом, выполненный самим Феликсом, чьи-то шаржи на всех нас: меня, Феликса, Нюру...

Ничего не осталось. Он все убрал. Кроме детской фотографии Нюры, ничто не напоминает о том, что мы прожили вместе двадцать шесть лет.

— Наташа, — сказал он, пока я озиралась, — что у тебя с деньгами?

Ну это по-королевски! Ни слова об уходе, зато подчеркнуто, что он не подонок: бросить — бросил, но не на голодную смерть, что вы...

Я кивнула на Троля:

— Раз он сыт, значит — в порядке.

— Нет, — сказал он, — я понимаю, что оставил тебе ерунду. В конце месяца получу некую сумму и тогда дам, сколько смогу. А пока вот...

И он вытащил из кармана конверт. Опять конверт! Как на почте!

Мне показалось, что внутри у меня, там, где сердце, налился огромный волдырь.

Феликс протянул мне деньги. Я хотела сказать ему что-то откровенно нелепое, вроде «благодарствуйте» или «как это мило с вашей стороны», но у меня задрожал подбородок, и я ничего не сказала.

Он откашлялся, избегая моего взгляда.

— Так что с Нюрой? — сказал он.

— Она попала в ужасную компанию, — ответила я. — С тех пор как ты ушел, у нас в доме поселился мафиозник.

— Ян? Ну это мне известно, — сказал Феликс.

Я ждала чего угодно, только не этого! Ему известно! Они все заодно! Значит, я не ошиблась: это заговор против меня.

Может быть, Феликс даже специально ушел из дому, чтобы не присутствовать при том, как этот козел в черной майке начнет сживать меня со свету?

— Так что с Нюрой? — повторил он.

Меня тошнило от страха, и больше всего хотелось убежать из этой комнаты, никогда не видеть его больше, спрятаться ото всех, спрятать от них свою собаку!

Но я сдержалась. Теперь надо было разыграть дурочку.

— Ты не хуже меня понимаешь, в каком мире мы живем, — холодно сказала я. — И в какое время.

— Знаю, — раздраженно ответил он. — Можешь конкретнее?

— Люди, которые приходят в гости к нашей дочери, — еще холоднее сказала я, — не соответствуют ее интеллектуальному и культурному уровню.

Он дико посмотрел на меня.

— Я бы хотела, чтобы она нашла себе других друзей и перестала бы валяться со всякой шпаной.

— Что значит «валяться»? — пробормотал он. — Они жениться собираются.

— Неужели? — захохотала я. — Это кто тебе сообщил? Ян?

— Наташа! — перебил меня Феликс. — Ты сгущаешь краски. Никакой катастрофы пока — я подчеркиваю: пока! — не происходит. Тебе надо присмотреться к этому парню. Привыкнуть. Может быть, он и не так плох...

— Ну, знаешь! — Я продолжала хохотать. — Ну, знаешь! Ты, значит, дожив до благородных седин, сам начал валяться (что это слово прицепилось ко мне, не понимаю, само выскакивает!), ты, значит, начал валяться с какой-то... — Я остановилась, подыскивая эпитет...

— Хватит! — сказал он ледяным тоном. — Все. Мы расстались. Я не хочу ничего слушать. У меня нормальные отношения с дочерью, ясно тебе? Ты всегда нам мешала! Ты всегда хотела перетянуть ее на свою сторону!

— А ты выгони меня! — прошептала я и близко подошла к нему. (О Господи! Двадцать шесть лет!) — А ты спусти меня с лестницы! Что со мной церемониться?

Он схватился за остатки своих седых волос, и я вдруг увидела, как он постарел, какая у него морщинистая шея и старые уши.

— Наташа, — сказал он громко, как глухой, — я не знаю, чего ты требуешь от меня. Вернуться я не могу. Постарайся справиться со своей жизнью сама. Я много лет брал на себя все, что мог. Это время кончилось, ты не девочка...

Домой возвращалась по Никитскому. Мне казалось, что даже земля пахнет сиренью, даже скамейки!

Когда моя Нюра была маленькой, мы гуляли с ней на этом бульваре. Вон там, на детской площадке...

Кто такой сиамец?

6 июня. Ночью я ворочалась без сна, все прикидывала: что же делать? Поняла, что делать нечего. Мир распадается. Вот я смотрю на людей: разве они нормальные? Да нисколько! Помню, несколько дней назад мы с Тролем вышли на Тверскую. И тут же все загрохотало, почернело, засверкало. Ливень обрушился, как стена. Мы спрятались под козырек дома, а мимо по улице бежали люди, перепрыгивая через потоки. Мне показалось, что прежде чем Тверская опустела и целиком перешла во власть урагана, по ней — с визгами, криками — пронесли несколько тысяч человек.

Больше всего оказалось проституток. Они высыпали, как горошины, и покатились, сверкая ногами. Полуголые женщины, ярко окрашенные, с облепившими их длинными волосами, бегущие по воде в поисках пристанища! Библейская картина. Грешницы, бегущие гнева Господня. А потом я увидела, как в двух шагах от нас, из двери ресторана, куда официанты торопливо затаскивали столики с улицы, появился Молох — огромный, заросший густой черной шерстью. Рубашка его была расстегнута, и через всю грудь сверкала тяжелая золотая цепь с массивным кулоном. Молох подставил под грозу жирное тело, раскинул руки, закинул голову и захохотал, зарычал!

О, он не был человеком, не был, мы с Тролем это сразу учуяли, нас не обманешь!

8 июня. Нюра поругалась с Яном, и он ушел.

Я проснулась в гробовой тишине, удивительной, потому что вчера наша квартира буквально сотрясалась — так они оба кричали!

— Ты, ты, ты сволочь, бездарность, ты предал меня, предал! — надрывалась моя дочь.

— Сука! — орал он. — Да скажи спасибо за все, что я сделал! Ты бы сейчас знаешь где была? Сука вонючая!

«Концерт» продолжался до глубокой ночи, потом они оба затихли, и я заснула. Проснулась поздно. Такое впечатление, что дома никого. Вышла с собакой во двор, вернулась. Открываю дверь — Нюра стоит в дверях. Глаза — широко открыты, но меня не видят, тушь размазана по всему лицу. Сначала мне показалось, что она пьяна, но я ошиблась. Она была какая-то мутная, невменяемая, но не пьяная, потому что я подошла близко и принохалась: спиртным не пахло.

— Что случилось? — спросила я.

Она не ответила.

— Нюра! — Я повысила голос и легонько тряхнула ее за плечо. Она смотрела и не видела меня. — Нюра!

Она отвернулась и пошла в комнату. Я бросилась за ней. В комнате — все вверх дном. Шкаф нараспашку, одеяло на полу, грязь, окурки, гадость! Она тихо легла на кровать и натянула на себя простыню. Я заметила на ее шее что-то вроде кровавого подтека.

— Что это? — Я дотронулась до подтека пальцем, и она вздрогнула, словно я ее ударила. — Мама, — вдруг сказала она, — полежи со мной.

Полежи со мной! Так она просила, когда была маленькой! Когда у нее болело что-нибудь и она не могла заснуть, или боялась темноты, или была разбужена плохим сном... Слезы хлынули из меня, словно кто-то открыл кран, и они вырвались на волю.

Я осторожно сбросила туфли, легла рядом с ней.

Нюра прижалась ко мне и закрыла глаза.

— Спи, спи, спи, — забормотала я. — Спи, моя маленькая, радость моя...

Я обняла ее и начала убаюкивать.

— Спи, спи, деточка, — шептала я. — Ты устала. Мама с тобой, мама тебя не оставит...

Волосы ее пахли дымом, тело — чужим мужчиной. Я чувствовала эти запахи не хуже собаки, но они не мешали мне.

Я укладывала спать своего ребенка, свою единственную дочку, и ждала, чтобы она успокоилась.

Наконец она действительно успокоилась и заснула. Я лежала рядом, боялась шевельнуться. Слезы продолжали течь, но я их не вытирала, потому что руки были заняты — обнимали и гладили ее голову.

О, если бы Бог пожалел меня и остановил мгновение! Если бы мне оставили только это: загаженную комнату, развороченную постель, на которой она спит, прижавшись ко мне! И больше ничего! Я ведь ничего не прошу, кроме этого!

Через час она вскочила, бросилась к телефону, набрала номер. По всей вероятности, ей не ответили. Тогда она начала лихорадочно листать записную книжку. Неужели разыскивает его?

— Нюра! — Я уже была в кухне и оттуда наблюдала за ней (жарила оладьи, хотела ее покормить!) — Нюра! Кому ты звонишь?

— Перестань шпионить! — крикнула она и изо всей силы захлопнула дверь. Вот тебе и «полежи со мной»!

Потом я услышала, как она заискивающе спросила кого-то: «У вас Ян случайно не появлялся?» Потом еще кого-то, еще... Мне кажется, она обзвонила всю Москву! Его нигде не было. Или он прятался от нее, мерзавец! Когда она принялась за институт Склифосовского, я не выдержала:

— Нюра! — закричала я из кухни. — Где твоя гордость? Что ты, с ума сошла?

— Отстань! — завопила она. — Сию минуту оставь меня в покое! Добилась своего, да? Добилась?

Она зарыдала, потом опять начала звонить. И вдруг — я уж не знаю, куда она прорвалась, но он ответил!

— Ян! — громким детским голосом (наверное, от испуга!) сказала она. — Пожалуйста, прости меня!

Чтобы так унизиться, дура! Он, наверное, бросил трубку. Она выждала десять секунд и опять позвонила.

— Ян, — зашелестела она, — Януш! Ну прошу тебя! Ну хочешь, я все-все сделаю?!

Нет, это просто черт знает что! Я стиснула зубы и решила не вмешиваться. Сейчас он ее пошлет окончательно.

Она вбежала ко мне на кухню — сама не своя: во рту незажженная сигарета, глаза — блестят, щеки — огненные.

— Мама, сделай для меня одну вещь, одну очень, очень важную вещь!

— Какую вещь? — говорю я. — Что с тобой происходит, ты что?

— Мама, позвони вот по этому телефону, — сует мне в нос какую-то бумажку, — и попроси его. И он подойдет. Тогда скажи, что меня забрали в больницу, потому что я выпила упаковку снотворных таблеток. Но не говори, в какую больницу, скажи, что я не велела, и положи трубку!

— Ненормальная! — закричала я. — Ты не-нор-маль-на-я! Я тебе сейчас «неотложку» вызову!

— Мама! — шепчет она и даже протягивает ко мне руки, как бы умоляя (у нее и в детстве был этот жест, помню!). — Мама! Если ты не сделаешь этого, ты будешь моим врагом, слышишь? Самым страшным моим врагом! Я тебе клянусь!

У нее было такое лицо, что я перепугалась.

— Подожди, — говорю, положим, я скажу? Он же поймет, что ты наврала!

— Не поймет, не поймет, — забормотала она, — вот этого он никогда не поймет! Как только ты ему скажешь, я уйду к Маринке и буду там сидеть два-три дня! А он пусть ищет меня по всем больницам!

— Не хочу я звонить! — заявила я решительно. — Я не могу потакать твоим идиотствам! Слава Богу, что мы от него избавились! Я ему готова в ноги поклониться за то, что он тебя бросил!

— Я без него не буду, — раздельно и внятно сказала она, раздувая ноздри и бледнея. — Я не буду без него!

— Что? — испугалась я. — Что «не буду»?

— Жить, — ответила она. — Вот что!

— У тебя сексуальное помешательство! — заорала я. — Тебе надо бром давать! Дают же солдатам в армии!

— А мне наплевать, как это называется. — Она понизила голос, но произнесла это очень отчетливо. — Сексуальное? Тем лучше! Да, сексуальное! У меня вот здесь — болит!

И показала мне пальцем, где именно...

Я набрала номер, написанный на бумажке. Никто не ответил.

— Ну? — спросила я. — Еще что прикажешь?

Она помотала головой и ушла к себе. Наверное, опять легла. А вечером, уже часов в десять, явился сиамец! Я увидела в глазок, что это он, и первым моим побуждением было — не впускать! Но она выскочила в коридор и сказала мне: «Я сама».

Я подслушала их разговор. Что еще оставалось?

— Сеня, — сказала моя дочь, — сделай, пожалуйста, чтобы он вернулся! Умоляю тебя!

Сиамец захохотал. Она всхлипнула.

— А может, мы его того? — спросил он. — На запчасти пустим?

Я помертвела. Стало быть! Стало быть! Подтвердилось!

«На запчасти» — значит «на органы», вот что! Я-то думала, что Ньюру хотят отправить за границу в публичный дом, но я их недооценила! Они вынимают из живых людей почки, сердце, легкие и продают их! Я же читала, что существует такой бизнес. Об этом даже говорили по телевизору.

Господи, помоги нам. Господи, если Ты есть (о, я кощунствую, Ты есть!), Господи, услышь меня и помоги нам!

«Надо молиться, молиться, просить Его!» — думала я, а сердце стучало так, что было слышно на улице.

Сиамец вскоре ушел, Нюра долго плескалась в ванне и, кажется, плакала. Потом погасила свет. Я не спала всю ночь.

9 июня. Страшно было оставлять ее одну в таком состоянии. Но в одиннадцатый к ней пришла Марина, ближайшая подруга, они заперлись и начали шушукаться.

— Марина! — крикнула я через дверь. — Ты у нас долго пробудешь?

— Весь день! — бодро ответила она.

Мне нужно было срочно увидеть Платонова и посоветоваться с ним. Больше довериться некому. Ни единому человеку.

Троля оставила дома. Лето, электрички переполнены, зачем его таскать? Подхожу к платоновской даче. В сторону своей даже не смотрю, не до того. На террасе у Платонова какая-то девочка лет четырнадцати варит в тазу варенье. Я поздоровалась и спросила, где Николай Константинович.

— Я Нина, — говорит девочка и разглядывает меня выпуклыми глазами. — Дядя в больнице. Маму к нему вызвали.

Тогда я поняла, что это дочка его двоюродной сестры из Архангельска.

— А что случилось? — испугалась я. — Заболел?

— А вы, — удивилась она, — ничего не знали? У дяди же рак, он умирает! Мама там с ним, мы уже неделю как приехали.

Я спросила, в какой больнице. В Первой Градской. Поехала туда.

Пока ждала электричку, вспомнила, как на этой самой станции мы с Платоновым, молоденькие, ели пирожки с капустой.

Неужели это все еще я? И тогда, с пирожком во рту, пятнадцатилетняя, веселая, была я, и сейчас, старая, страшная, тоже я?

Платонов лежал в десятиместной палате на третьем этаже. Его кровать была у самого окна. Рядом, на стуле, сидела женщина — двоюродная сестра из Архангельска.

Изменился он до неузнаваемости. И не в том даже дело, что вместо крупного, полного Платонова передо мной был скелет, обтянутый кожей, а в том, что вместо старого человека (а Платонов всегда казался старше, чем был!) лежал юноша — смуглый, с прекрасным длинным лицом, редкой бородкой и бескровными губами, которыми он что-то шептал. Когда я подошла, глаза его были полузакрыты, и сестра сказала, что он почти без сознания. У него боли, ему дают наркотики.

Я опустила на корточки перед кроватью.

— Коля! — сказала я. — Узнаешь?

Платонов открыл мутные глаза, которые косили сильнее прежнего, и поэтому казалось, что смотрит он не на нас, а внутрь собственного лица.

— Солнышко! — сказал он еле слышно. — Где собака?

— Бредит, — вздохнула двоюродная. — Весь в метастазах.

— Да, — прошептал Платонов и сделал недоумевающее движение прозрачными пальцами. — Они вот везде. Они вот уже отсюда идут, метастазы...

Он дотронулся до своего смуглого помолодевшего лба.

— Вот, солнышко, — вздохнул он. — Вот они. Видишь? И идут, идут. Не могу остановить. — И добавил с удивленной почтительностью, словно чью-то знаменитую фамилию: — Метастазы...

Ни боли, ни страха не было на его лице. Только это настороженное внимание к тому, что с ним происходит.

— Родной мой! — сказала сестра, и я обратила внимание, что они с Платоновым слегка похожи (она была замечательной красоты женщина, несмотря на возраст). — Родной мой! Хочешь попить? Водички хочешь?

— Водички? — эхом отозвался Платонов. — Хорошо, водички...

Она попоила его через трубочку. Он попытался приподняться на подушках, но не смог, тяжело задышал и опять откинулся. Косящий взгляд его еще больше затуманился, веки опустились.

— Спит? — спросила я.

— Да не поймешь, — ответила двоюродная. — То так, то этак. Через пять минут проснется. Вчера вот тоже: мы думали, он спит, а он вдруг заговорил!

— О чем? — спросила я.

— Да о многом, — ответила она. — Он ведь чудной. И здоровым-то был, о простых вещах не думал. А уж сейчас! О зверях говорил. О птицах. Потом сказал: «Хочу две формулы вывести». Или не формулы, я не поняла. Другое какое-то слово.

— Две? — спросила я.

— Две, — усмехнулась она и провела ладонью по щеке Платонова. — Одну, говорит, яблока, а другую — судьбы. Не поймешь, бредит или на самом деле...

— Коля! — сказала я. — Слышишь меня?

Платонов прерывисто дышал. Глаза его совсем закатились, из-под век было видно только узкую полоску белков. Рот открылся. Я вдруг испугалась, что он сейчас, при мне умрет...

— Родной мой! Смотри, кто к тебе пришел! Поговори с Наташей! — попросила сестра.

Он открыл глаза, и я почувствовала, как к нему медленно возвращается сознание. Я взяла его истаявшую руку, пожалала и слегка приподняла ее над одеялом. Рука была невесомой, прозрачной. И тут же он слабо и ласково ответил на мое пожатие.

— Коляша, — прошептала я, — спасибо тебе.

— Хорошо, хорошо, солнышко, — торопливо забормотал он. — Скоро увидимся, солнышко. Приходи ко мне.

(Где — увидимся!)

— Не бойся, солнышко, — шептал Платонов. — Не бойся, не бойся. Тебе все было некогда... — Он сделал паузу, словно вспоминал что-то: — Тебе было некогда, а теперь у нас с тобой... будет... время...

— Пусть поспит, — прошептала сестра. — Мы его утомляем. Видите, как ему трудно говорить. Пусть отдохнет.

Я встала, взяла со стула свою сумку.

— Пойдемте, — сказала она. — Я вас провожу и заодно покурю там, во дворике.

В дверях я оглянулась. Платонов смотрел мне вслед светлым спокойным взглядом. Видел ли он меня, не знаю.

10 июня. Ян вернулся. Я присутствовала при этом событии. Она лежала у себя (три дня маковой росинки во рту не было, одни сигареты). Звонок в дверь. Я открыла. Он кивнул мне и прошел прямо к ней в комнату. Она закричала.

Да, я не преувеличиваю: она закричала, словно ее поезд переехал. Он, по моему, не произнес ни слова. Дверь захлопнулась, и о том, что за нею происходило, я могу только догадываться. Наверное, он сразу же лег, не раздеваясь. Дальше я слышала только свистящее дыхание.

Ни один из них не вышел из комнаты до самого вечера. Что было вечером, не знаю, я заснула.

12 июня. Пытка моя продолжается. Сегодня утром они уехали — как сказала Нюра: «На дачу к друзьям».

— Надолго? — спросила я.

— Дня на три, — неохотно ответила она. — Будем кататься на яхте.

Господи, на какой еще яхте! Где у нас тут кататься на яхтах! Нашли себе Ниццу! Я знаю, что все самые страшные мафиозные разборки происходят на таких вот дачах. Оттуда-то и спускают трупы в речку!

Вчера к нам ввалились сиамские. Долго что-то втолковывали Яну. К чему-то, как я поняла, склоняли, а он не соглашался. Говорили они совсем тихо, но я расслышала несколько раз произнесенное слово «баксы».

У Нюры бессмысленное лицо.

Звонил Феликс, просит подождать с деньгами.

13 июня. Утром поехала на Ваганьково навестить родителей. Давно не была, стыдно. С утра накрапывал дождик, но к полудню прояснилось.

Могила моих рядом с высоким черным обелиском. Посреди обелиска — имя: Евграфов Антон Васильевич (1864—1903). И чуть пониже наклонными буквами: «Врачу-человеку от товарищей».

Девочкой я придумала себе целую легенду об этом Евграфове. Ему было тридцать девять лет, когда он умер. Скорее всего он умер от какого-то несчастного случая, может быть, как чеховский Дымов. Или работал на холерной эпидемии и заразился. Иначе зачем ему написали эти слова: «врачу-человеку»?

Сколько я себя помню, никто никогда не приходил на эту могилу. Зимой снег доходил до середины памятника, а потом медленно таял, оставляя грязные подтеки на мраморе.

Сегодня я увидела, что на скамеечке за оградой сидит женщина. Меня это удивило и даже испугало немножко. Кто вспомнит о человеке через девяносто с лишним лет после его смерти?

Я протерла мокрой тряпкой мамин камень, выгребла сгнившие листья. Женщина на скамеечке сидела неподвижно, словно застыла. Средних лет, бледная, худая, гладко причесанная, вся в черном. Выщипанные брови, руки в кольцах. Мы встретились глазами, и вдруг она кивнула мне как знакомой. Я почему-то вся похолодела.

Она говорит:

— Спасибо, что вы за ним присматривали.

И указывает на памятник «врачу-человеку».

— Я не присматривала, — ответила я. — Когда я присматривала?

— Ну! — усмехнулась она. — Вы еще девочкой, когда навещали свою мать, клали ему на могилу цветок или ветку, забыли?

— Ах, это! — сказала я. — Да, действительно...

Мы помолчали. Потом я спросила:

— А вы что, родственница? А то странно как-то: старое захоронение, тысяча девятьсот третий год, и вдруг вы пришли...

— Что же тут странного? — сказала она. — Можно и через сто лет прийти. Время мы сами выдумываем...

Я удивилась, не нашлась, что сказать.

— У меня к вам есть разговор, — сказала она и поднялась со скамеечки. — Приходите завтра.

— Куда? — не поняла я. — Сюда, на кладбище?

— А что? — У нее вдруг стало презрительное лицо, словно я сказала глупость. — Что вам здесь мешает? Смерти боитесь? Так ведь смерть-то не здесь. Она там, в городе.

У меня вдруг начала болеть голова, и эту женщину с выщипанными бровями я видела словно в тумане.

— Приходите, приходите, — повторила она. — Я хочу вас поблагодарить за него.

И опять кивнула на черный памятник.

— Вы меня знаете? — спросила я. — Вы меня раньше видели?

— Завтра, завтра, — заторопилась она. — Все завтра.

Встала и двинулась по дорожке, не оглядываясь.

Я вернулась домой — разбитая. Мигрень прошла, но в голове стоит какой-то звон, и я плохо понимаю, что происходит. Нюры нет, она «на даче».

На какой даче? Что с ней там делают? Позвонить, может быть, Феликсу? А где гарантия, что он скажет мне правду?

Сейчас уже поздно, темно. Мой Феликс, наверное, лежит в постели с той женщиной, из-за которой он нас бросил. Мне безразлично. Даже если бы я была там, в той же комнате, и видела, как он обнимает ее, мне и тогда было бы безразлично.

Куда-то я собиралась пойти завтра... Ах, да! На кладбище. Нет, не пойду. У этой, бледной, в кольцах, кстати, знакомое лицо. Я ее уже видела...

14 июня. Сегодня весь день лежу. Троля выпустила на улицу и сказала: «Поешь и погуляй». Кормить его нечем. Но у меня еще остались деньги, завтра я встану и куплю ему яиц и овсянки. Он очень умный. Если я сказала: «Поешь и погуляй», он и поест (найдет что-нибудь!), и погуляет. Счастье мое.

Через час я (как была в халате!) спустилась вниз, открыла подъездную дверь и впустила его. Потом опять легла.

Где моя доченька? Ау!

15 июня. Утром позвонила двоюродная сестра Платонова. Он умер ночью. Похороны послезавтра. Говорит: «Слава Богу, что мы не успели проесть все квартирные деньги, а то не на что было бы хоронить».

Хоронить будут на Ваганькове в родительскую могилу. Я, конечно, пойду. Отпевание в десять.

Вечером приехала Нюра со своим. Она заглянула ко мне в комнату. Слава Богу, жива. Но лицо тревожное. Что-то, наверное, случилось. Может быть, сиамец?

— Мама, — сказала она, — Ян там мясо жарит. Принести тебе?

Еще чего! Чтобы я из его рук хоть крошку взяла! Лучше сдохну!

Надеюсь, они накормят собаку.

17 июня. В церкви было душно, работал вентилятор. Батюшка все время вытирал пот с лица. Батюшка молодой, но красный и толстый, как женщина. Пели хорошо, только — мне кажется — немножко торопились. Никто не плакал. Народу мало. Увидела нескольких знакомых. Все постарели, не узнать.

Меня поразило то, что Платонова в гробу не было. Лежащий там покойник не имел с ним общего ровно ничего. Это был просто какой-то умерший, я бы сказала: условный умерший, с восковым, как у всех умерших, лицом, с восковыми руками. Ни одной платоновской черты! Ничего, что напоминало бы полно-го, кудрявого Колю!

Прощаясь, я наклонилась, поцеловала ледяной лоб, перекрестила его.

Ко мне подошла двоюродная со своей дочкой, и я сказала:

— Все, кого мне доводилось провожать, были похожи на себя, а он — насколько.

— Да, — быстро ответила она. — Так бывает. Душа покидает тело по-разному. Одна быстрее, другая медленнее. Чем она, знаете, меньше привязана к земному, тем ей легче. Некоторые — ох, как мучаются, пока оторвутся! А наш — сразу ушел.

Ну вот. Платонов ушел, а я с ним ни о чем не успела поговорить. А он совсем ушел. Сразу. Ах, какая пустота, Господи!

20 июня. 6 часов вечера. Этого не было, это неправда.

По порядку. Тихо, по порядку! Я должна записать.

Сегодня опять поехала на кладбище. Думала: к Коле зайду, цветы на родителех полью. Поехала. На докторской могиле сидит та же самая женщина в кольцах.

Приветливая, спокойная. Всё как тогда. Выщипанные брови.

— Вот хорошо,— говорит,— что вы пришли. Мне вам нужно кое-что рассказать.

Меня как ударили: про Ньюру!

— Нет,— говорит.— Не про Ньюру, про вашего сына.

— У меня нет сына,— говорю я.

— Разве? — спрашивает она.— Нет, он у вас есть.

Я подскочила.

— Слушайте,— кричу,— бросьте мне голову морочить! Нет у меня никакого сына!

— Ну тогда давайте вспоминать вместе,— говорит она.— Май семьдесят четвертого года помните? Роддом на Первомайской? Вас привезла «скорая», так? Рано утром, в четыре? Вспомнили?

У меня опять в голове зазвенело.

Прошу ее:

— Молчите, не надо...

Она отмахнулась:

— Слушай меня. Муж тебя вынес на руках, помнишь? Потому что тебе нельзя было двигаться, а ни носилок, ни санитаров не было. Из тебя хлестала кровь. И тут ты взяла да пошутила от страха, помнишь? Что ты сказала?

— Не помню, — бормочу я, а в голове — звон, звон, сейчас разорвется!

— Ты сказала: «Несешь меня, как Пушкина после дуэли».

— Кажется, да. Пошутила...

— Тебя осмотрели и велели мужу ехать домой. А тебя — на стол. Помнишь?

...Господи!

— Повезли в операционную. Ты спросила: «Что будет с ребенком?» Помнишь, что тебе ответили?

...да, я помню!

— Тебе ответили: «О ребенке забудь». Ввели наркоз. И ты провалилась.

...помню, помню... Я провалилась в голубую воду и поплыла в ней...

— А когда ты очнулась, все уже было позади, ты лежала в палате и была не одна...

...я была не одна. Рядом с кроватью стоял хирург, который делал мне кесарево...

— И что он сказал тебе? Ну, вспоминай!

...помню... я помню...

— Он сказал: «Молодец, поздравляю, мальчик у тебя!» И ты заплакала...

...отпусти меня, хватит!

Она сделала паузу, словно что-то мешало ей...

— Вечером,— тихо заговорила она опять,— в твою палату вошла врач-педиатр. Она была высокая, красивая блондинка. Назвала тебя «мамочкой». Помнишь, что она сказала?

«...посмотрим, мамочка, куда ваш ребенок повернет... Очень слаб, весь в отеках. С большими проблемами. И мозг, и легкие. Так что, мамочка, особенно не надейтесь...»

— Ты не спала всю ночь. Просила дежурную няньку принести ребенка...

...не надо!

— Утром опять пришла блондинка и сказала: «Возьмите себя в руки, не отчаивайтесь, вы молодая, здоровая... У вас еще будут дети». Помнишь, что ты сделала?

...я вскочила с кровати, чтобы побежать туда, к нему. Я кричала: «Неправда! Покажите мне его!» Да, я кричала...

— Блондинка не смогла с тобой справиться, ты вырвалась. Она испугалась, что ты сорвешь повязку, и позвала няньку — огромную мускулистую бабу... Нянька схватила тебя за руки, а врача за ноги. Ты рыдала на всю больницу...

«...пожалуйста, пожалуйста, покажите мне его! Пожалуйста! Ну что вам стоит! Я же только посмотрю!»

— В палату начали заглядывать другие больные, и тогда нянька гаркнула, обрызгав слюною твое лицо. Помнишь?

...помню, помню... Она обрызгала меня слюной и проорала: «Свяжем тебя сейчас, хулиганка! Доиграешься!»

— Потом пришел еще один врач, пожилой, седой. Приказал сделать укол. Тебе сделали укол, ты затихла. И он сказал: «Я с ней посижу...»

...он пододвинул стул и сел рядом с кроватью. Он почти ничего не сказал мне, так, общие слова, но я его не забуду...

— Тебя выписали на восьмой день, помнишь! Феликс встретил тебя с цветами.

...ужасно! Он стоял в раздевалке — подтянутый, красивый, с большим букетом сирени. Вот почему меня преследует этот запах! Нянька — не та, страшная, а другая, молоденькая, — поддерживала меня под руку. Я увидела его с этим букетом, и что-то оторвалось внутри.

— Ты подошла к нему. И он — помнишь? — обнял тебя и сказал: «Ну ладно. Все будет хорошо. Первый блин...»

...я чуть не ударила его, но сдержалась. В конце концов, кроме него, у меня не было ни одного человека...

На Ваганьковском кладбище, кроме нас двоих, тоже никого не было. Я сказала себе: нет, это не так. Рядом лежат мои родители, в двух шагах — Платонов. У меня есть близкие люди, я не одна. Эта мысль принесла неожиданное облегчение.

— Вот, — сказала она, и я увидела себя, отраженную в ее зрачке. — Все, что могла, ты вспомнила. Остального ты просто не знаешь.

— Чего «остального»? — спросила я.

— Ребенок-то жив, — сказала она. — Тебя обманули.

Я не закричала, нет, это точно. Я, кажется, решила убежать от нее, но оталась. Обхватила черный камень «врача-человека» и поползла на землю.

— Ты мне лжешь, — сказала я, вжимая в камень лицо. — Признайся, ты лжешь! Кто ты?

Она усмехнулась:

— Не узнала меня? Я ассистировала при твоей операции.

Да, лицо ее было мне знакомо, но ассистентка? Не было там никакой ассистентки!

— Я принимала твоего сына. Он родился очень слабым. Но дело в том, что...

— В чем? — спросила я.

— Он был больным ребенком, неполноценным.

— Почему мне его не показали? Кто его хоронил?

— Он не умер, говорю тебе! — В голосе ее послышалось раздражение. — Его перевезли в специальный детдом. Твой муж подписал отказ.

— Что? — спросила я. — Какой отказ?

— Ну он же всегда был предателем! — сказала она (где я слышала именно эти слова?). — Он предал тебя при первом же испытании. Решил за вас обоих.

— Что решил?

— Отказаться от родительских прав. Он обошел все законы. Тебе сказали, что ребенок умер. И ты поверила.

У меня почернело в глазах. Я поверила!

— Врешь! — сказала я ей. — Врешь, гадина!

— Ищи, ищи, — ответила она. — Ищи сыночка, ищи! Я же нашла своего. — И показывает на черный памятник. — Но опоздала, видишь? Опоздала, не спасла. Без меня закопали, ищи.

И смотрю: опять, как тогда, — встает и уходит, торопится.

— Подожди! — кричу я ей. — Стой! Подожди!

Она не оглядывается. Я вскакиваю с земли, бегу за ней. Оборачивается. Страшные у нее эти брови, красные, вспухшие, зачем она их выщипывает?

— Завтра приходи, — говорит она. — Завтра поговорим.

— Подожди! — умоляю я. — Где он, ты знаешь?

Она не отвечает, уходит. Гадина! Гадина!

21 июня. 6 часов утра. Сегодня моему сыну исполняется двадцать пять лет. Он родился 21 июня 1974 года.

Я все продумала, все восстановила. Эта женщина не врет. Она сказала мне правду. Потому что все, что она сказала, — было. Так и было.

Значит, вот что: Феликс меня обманул, потому что не хотел быть отцом слабого, больного ребенка (что значит «неполноценного»? Чушь!).

Он предал нас: меня и моего сына. Моего единственного сына.

Я всегда чувствовала, что он жив, сыночек, я знала! А Феликс старался, чтобы я ничего не поняла. Он думает, что я ему поверила! Ха! Феликс! Я тебя разоблачила! Напрасно ты встречал меня с сиренью, напрасно! И напрасно ты вилял ужом в первые дни, после больницы. «Наташечка, Натулечка! Что тебе принести? Хочешь ягодку? Клубнику?»

Принеси мне моего сына, Феликс.

Теперь самое главное. Я должна сосредоточиться и не терять головы. Главное — он жив. Господи, благодарю Тебя! Сын мой жив.

Буду его искать. Не думаю, что это так уж трудно. Куда они сдают больных детей? Москва невелика. Сколько в ней подобных домов? День и час его рождения знаю точно: 5 часов 30 минут утра, июнь, 21-е, год — 1974-й. Фамилию мы не меняли. Имя? Как же его там, без меня, назвали? Сергеем? Может быть, Александром?

Искать, искать, искать, Наталья!

План мой таков: разыскиваю сына и немедленно забираю его домой. Феликсу даже ничего не говорю, пусть потом удивляется! Они думают, что меня хоронить пора, что я тень, а вот вам! У меня сын есть, и этому сыну нужна мать. И мать для него костями ляжет. Нюру я должна буду поставить перед фактом: так и так, девочка, вот твой брат, познакомьтесь. Папочка, правда, посчитал, что тебе лучше одной, но ты ведь хотела братика, так? Вот тебе братик. И придется вам с Яном потесниться. Моему сыну нужна отдельная комната, он уже намыкался по детдомам!

О, я буду вести себя решительно, они меня еще узнают! С чем я воевала-то прежде, чего я добивалась? Чтобы Феликс, лысый старикашка, мне не изменял? Да на здоровье! Чтобы Нюра перестала спать с кем попало? Ах, это же ее жизнь, не моя! Пусть себе спит, лишь бы не убили, в Турцию не продали.

А у меня — свет появился в жизни, свет.

Тороплюсь на кладбище. Она должна там быть. У меня к ней много вопросов.

21 июня. Весь день прождала ее на могиле «врача-человека». Не пришла. Забыла, что ли? Или она меня нарочно мучает? Неужели не понимает, что мне каждый час дорог? Я решила, кстати, изменить тактику: нужно постараться расположить к себе Нюру, ее бородатого и даже сямца. Потому что сейчас, когда самое главное — это разыскать сына, я должна беречь силы для него. Не распускаться по мелочам, копить энергию.

Вчера вечером позвонил Феликс. Спрашивает, как у меня с деньгами. Я услышала его голос и захохоталась от ненависти. Но ничего не поделаешь. Деньги нужны для сына. Плюс собака. О себе не думаю, не пропаду.

Феликс спросил, может ли он «заглянуть» завтра, занести мне «пособие». Сказала: «Да, но только после семи». (Кладбище в шесть закрывают, а мне еще добираться.) Он удивился: «У тебя что, дела?» (Привыкли, что я сижу дома, небо копчу!) «Да, — говорю, — у меня дела».

21 июня. 6 часов вечера. Умираю со смеху, просто катаюсь. Пришел мой благоверный. А я причесалась, кофточку надела, щеки напудрила. Посмотрелась в зеркало: что надо! Пришел. Смутился. Замаялся в прихожей. Я ему говорю спокойно:

— Проходи, дорогой, кофе выпьешь?

Он глаза выпучил, снял кепку.

— Когда ты так приглашаешь, с удовольствием.

— Но мы же, — говорю, — друзья? Ведь друзья?

Пошла к плите, вильнув бедрами. Он покраснел, начал смотреть в окно. Конечно, ему неловко: пожилая женщина — и вдруг такие сигналы! Думаю: что бы еще? Как мне его добить? Чем?

У меня прекрасный голос. Я в детстве училась петь. Феликс всегда любил, когда я пела.

И вот я вожусь с кофейником, а сама напеваю: «Песнь моя летит с мольбою...» Он совсем растерялся. Смотрит не в окно, а на меня, прямо в мой поющий рот.

— Песнь моя, о песнь с мольбою... (Я уж и слов-то не помню, бедный Шуберт!)

Сервировала кофеек. Ничего лишнего: две лазоревые чашечки (от балерины-покойницы, свекрови моей), сахарный песок, лимончик.

— Что-то с тобой произошло, Наталья? — говорит он полувопросительно. — Произошло что-то?

Я кивнула. Он сделал слишком большой глоток и закашлялся.

— Можно узнать, что именно?

— Именно — нельзя.

— Уж не влюбилась ли?

(Краснеет, как петушиный гребень! Ах ты, подлец! Тебе, значит, можно на старости лет спать с молоденькой, бросить жену-старуху, дочь-идиотку, дом, собаку, — все бросить, все растоптать, когда вокруг и так все растоптано, а ты, скотина, образина лысая, что ты на меня выпучился, ты лучше скажи, где ребенок мой!)

«Песнь моя летит с мольбою...» — пою из последних сил, пока кофе горячий. Феликс на меня странно смотрит.

— Как ты себя чувствуешь, Наташа?

— Прекрасно, — говорю, — а что?

— Нет, — бормочет, — я просто так спросил.

«Пора сменить пластинку, — подумала я, — не в оперу пришел!» Перестая петь и спрашиваю:

— Любви все возрасты покорны? Все-все?

Он закашлялся. Я смеюсь-заливаюсь:

— Феличка! — (Когда я его так последний раз называла?) — Фелюша! Просрали мы с тобой жизнь, а?

Он подавился. Наверное, на мою изящную речь (он очень изящно выражается, никогда ни одного грубого слова. Мама — балерина!).

— Надо было, — продолжаю я, — хотя бы детей побольше сделать! Нюркато, может, оттого эгоисткой выросла, что одна!

Молчит, удивляется. Подхожу к нему вплотную, расстегиваю на себе верхнюю пуговку и шепчу — низко так, сексуально:

— Дорогой, а может быть, еще не все потеряно? Где двое деток, там и третий уместится...

Он вскочил и даже рукой меня отодвинул.

— С ума сошла! — говорит он испуганно. — Разыгрываешь ты меня, что ли?

— Почему разыгрываю? — удивляюсь я. — Я тебя люблю, всю жизнь, двадцать шесть лет с копейками, люблю, при чем тут розыгрыш?

— Какая любовь? — бормочет он и покрывается испариной. — Какие детки?

Ага! Наконец-то! Услышал меня!

— Феличка,— говорю я (а кофточку не застегиваю, смотри, смотри, сволочь, у меня грудь — четвертый номер, а форма, как у кинозвезды, забыл, наверное? Я тебе напомню!).— Феличка, мне только одно нужно: адрес детского дома или — как его там? — приюта. Скажи адрес.

Он опустил на стул и смотрит на меня с ужасом. Конечно, решил, что я сошла с ума: откуда ему догадаться, что я все знаю?

— Феличка! — Я прижалась к его лицу сосками (надушены «Шанелью № 5», взяла у Нюры, полфлакона вылила!).— Ведь не все еще потеряно, правда? Я ни на что не сержусь, только адрес! Адрес, и объясни, почему ты так поступил? Тебе разве не жалко меня было? А ребенка? Младенца?

Я думала, он разрыдается и все скажет, потому что — истеричный, мужчина ведь. Но он не разрыдался, а, наоборот, встал со своего стула, крепко взял меня за руки, словно мы с ним танцевать собираемся, отодвинул на шаг и говорит:

— Наташа, у тебя какая-то фантазия. Я ничего не понимаю. Что за ребенок? Какой приют?

Слава Богу, что я сдержалась! Не закричала, не выплонула ему все в лицо! Тайну свою, нашу с сыном тайну, не выдала! Высвободила руки, положила ему на плечи и головой прижалась к его груди.

Странно — ничего! А ведь как на меня раньше действовало! Короткое замыкание!

Он меня осторожно обнял, словно боялся обжечься, жалостливо погладил по голове. Тогда я прижалась крепче, оплелась вокруг него, раскрыла губы и раскрытыми губами плюс языком — не целуя — провела по его горлу.

Реагирует или нет? С ума я схожу! Что я делаю?..

Он замер. Напрягся! Ответил на мой поцелуй. Испуганно, но ответил. Чмокнул меня в щеку. Я закрыла глаза, вернее, сделала вид, что закрыла, а сама из-под ресниц вижу, как он бледнеет. Нет, это никакие не эмоции, ему просто не по себе.

— Милый,— говорю я ему,— это была наша единственная ошибка, единственная. Дети. Люди детьми связываются, а мы — развязались.

Тут он опять отпрянул от меня.

— Наташа, тебе надо проконсультироваться с доктором. Что-то тебя тревожит, я чувствую.

Ты чувствуешь! А я чувствую, что тебе наплевать на меня, и ты рад-раदेशенек убежать и бросить меня здесь не-про-кон-суль-ти-ро-ван-ную! Но я тебя обманула. Ты не понял. Ни про приют, ни про детей, ты ничего не понял!

Вслух же говорю:

— Не обращайтесь вниманья, маэстро! У меня большая любовь. Вот так. А все остальное, конечно, шуточки.

— Неправда! — кричит он и вдруг грозит мне пальцем, как учитель арифметики (совсем с ума сошел!).— Ты меня обманываешь! Тебе нужен врач!

— Читателя,— пою я низким, сексуальным, и подхожу к нему, танцую танго,— читателя! Советчика! Врача! На лестнице колючей разговора б!

Он схватился за голову, бросил на стол свой проклятый конверт и выскочил. Наутек! Причем не к лифту, а по лестнице! Я перегнулась через перила и кричу (а у нас подъезд гулкий, как колодец, сталинская постройка!):

— Я влюблена, шептала снова Фелюше с горечью она! Сердечный друг, ты нездорова!

Но тут за ним захлопнулась подъездная дверь. Я упала на диван, свалилась, словно меня заставили площадь вымыть. Голова гудит, как лес перед грозой.

Итак — хладнокровно: я ничего не выиграла, но ничего и не проиграла. Феликс не раскололся. Почему? Врал, врет и будет врать? Или он так спрятал все это от самого себя, что ему действительно кажется, будто ничего не было: ни сына, ни детского дома, ни обмана. Не было — и все!

Вообще я давно убедилась, что человек есть набор химических элементов. К сожалению, я не психиатр и не могу объяснить это с медицинской точки зрения. Все эти сложные движения души только кажутся плодами высшего происхождения. А на самом деле — химия, одна химия! И страхи, и страсти, а главное — объяснения, которые дают люди. Никакой одной-единственной правды нет и быть не может, всегда и во всем — минус объективность! Гениальный это был фильм — «Расемон», просто гениальный. Пять версий одного и того же события. Кто говорит правду? Где она? Лжем мы, все мы лжем! А я? И я лгу.

Феликс, конечно, мерзавец, в аду будет гореть за моего ребенка, но в то, что он выдал этот кошмар из памяти, перечеркнул, я могу поверить. Химическая реакция.

Что это я так разболталась?

21 июня. 11 часов вечера. Я отпраздновала твой день рождения, сыночек мой. Двадцать пять лет. Отпраздновала. Папашу твоего в гости пригласила. Видишь, что вышло? Папаша у нас неудачный, не обижайся. Завтра пойду тебя искать. Сегодня напрасно прождала весь день, не вышло.

22 июня. 3 часа утра. Тебе двадцать пять лет, сыночек. У тебя кудрявые волосы, как у Феликса, но похож ты на меня. Плечики у тебя широкие, как у моего отца, и такая же, как у моего отца, косолапая походка. Ты краснеешь так же, как я, — не только от слов, но и просто от мыслей. Ты моя копия, ребрышко мое, косточка. Потерпи, мальчик, потерпи, мама тебя найдет, мама все сделает, следующий твой день рождения мы проведем вместе, поедем на дачу, я ее вымою, позовем твоих друзей, я всего наготовлю, у нас будут деньги, я устроюсь на работу, так что о деньгах не беспокойся, мама все сделает, и напеку, и наварю, сыночек, ты понимаешь, им этого не надо, Нюра меня никогда ни о чем не попросит, чужая совсем, а с тобой у нас все будет иначе, я буду готовить тебе, выжимать морковный сок, у нас сломалась соковыжималка, купим новую, только ты подожди меня, подожди, не плачь, деточка моя...

22 июня. Вечер. Я провела весь день на кладбище, ее нет. Хотя она оставила знак — на могиле моих родителей стоит стакан, обыкновенный граненый стакан, пустой и чистый. Что она хотела этим сказать? Что скоро наступит праздник? Сын найдется? Но почему тогда стакан пустой? Налила бы туда хоть каплю чего-нибудь, вина, чая. А то пустой стакан — это страшно. Я боюсь пустоты. Мой ад — пустота. Если Бог захочет наказать меня за грехи, он пошлет меня в ад. Но там — я это знаю — никакого огня, никаких сковородок. Одна пустота. НИЧЕГО нет.

26 июня. Я напрасно ждала ее на могиле несколько дней подряд. Она не приходит, хотя — мне кажется — вчера я увидела ее на автобусной остановке. Она тоже заметила меня, подняла руку, остановила такси и уехала. Значит, она не хочет помочь мне и надо добиваться всего самой. С чего же мне начать? Завтра поеду в роддом на Первомайскую, может быть, там сохранились какие-то бумаги.

27 июня. Сегодня утром ко мне в комнату вошла Нюра — никогда она не встает так рано! — и села напротив меня в кресло. Розовая, щеки горят. Ночи любви! Как бы не забеременела! Пусть, пусть, мне не до того!

— Мама, — говорит моя дочь. — У Яна есть друг, он очень хороший врач. И, между прочим, учился в Англии. Мы хотим пригласить его в гости. Ты согласишься с ним побеседовать?

— Я? — говорю я. — С чего бы это?

— Ну, — говорит она, а глаза становятся злые, как у волка, желтые (сейчас она мне покажет!), — мы думаем, что у тебя начинается депрессия...

— У меня? — ахаю. — Депрессия? Да ты что? Я отлично себя чувствую!

— Это не важно,— шипит она (вот-вот кинется и разорвет!),— тебе нужно — слышишь? — тебе нужно поговорить с врачом!

Я посмотрела на нее, и вдруг меня стукнуло: неужели эта растрепанная злая баба лежала у меня внутри? И сосала мое молоко?

Она приподнялась с кресла и двинулась ко мне. Я зажмурилась.

— Ты что? — закричала она.— Ты думаешь, мы слепые? Мы же тебе помочь хотим! Ты обязана поговорить с врачом, обязана!

Я улынулась прямо в ее красное, раздувшееся от ненависти ко мне лицо.

— Хорошо,— говорю я тихонечко.— С врачом? А кто ему будет платить? У меня ведь денег-то — кот наплакал!

— Не бойся,— говорит она.— Это дружеский визит, это бесплатно.

Как бы они меня не упекли куда-нибудь! А что? Тогда им достается вся квартира! Все четыре комнаты! А-а, вот в чем дело! Как же я сразу-то не догадалась? Вот вам и диагноз! Депрессия, шизофрения, невменяемость какую-нибудь отыщут. Делать нечего, придется маскироваться. Хотите мне врача из Англии? Да ради бога! Хоть из Африки!

Я быстренько выпроводила ее из комнаты, даже по плечу похлопала (горячая она какая-то, вся пылает!), собралась, напудрилась и поеду сейчас на Первомайскую, в роддом, где родился мой олененок.

Хорошо, что я взяла себе за правило все записывать. Так у меня в мыслях появляется порядок. Я ничего не упускаю. Еду сейчас на Первомайскую.

27 июня, полночь. Никто ничего не знает. Даже и разговаривать не захотели. Я просила, умоляла: «Посмотрите свои архивы! У вас же должны быть документы!» Послали меня почему-то в бухгалтерию. Я туда и не пошла, а разыскала-таки главного врача. Мальчишка совсем молодой, чуть старше моего. Глаза наглые, губы порочные. С такими губами только женщин осматривать. Сказал, что подобного «эпизода» просто не могло быть. Не бывает — и все. Если матери сказали, что ребенок умер, значит, ребенок умер. Я ему говорю: «У вас, наверное, тоже есть мама?» «Нет,— говорит,— я сирота. У дяди воспитывался». Прикусила язык. Сирота! Поэтому он меня и не понимает! Спрашиваю его: «Вы врач, у вас в руках человеческие жизни (польстила сосунку!), помогите мне. Я мать. Сердце мне подсказывает, что ребенок жив. А сердце не ошибается. Куда мне теперь обращаться? Как его искать?» «Подождите,— он весь сморщился,— подождите! А кроме сердца, у вас есть основания так думать?»

Тут я замаялась. Сказать, что у меня все сведения от их бывшей медсестры? И пусть тогда ищут в своих архивах, кто у них ассистировал на операциях двадцать пять лет назад! Или не говорить, не впутывать чужого человека? Хотя мне ведь так нужно ее найти, хоть бы фамилию узнать!

Я все-таки решила не говорить. Уехала домой. В метро рыдала. Никто на мои рыдания внимания не обратил. Да и то сказать: одна я, что ли, рыдаю? Придумала вот что: утром на кладбище, а вечером, попозже, опять в роддом. Найду там самую старую няньку, которая в этом роддоме всю жизнь прогорбатила (должна же быть такая!), и попробую ее разговорить. Опишу, как выглядит ассистентка. И вдруг мне повезет? На всё деньги нужны. Эти старухи — они же нищие. Что она там получает?

28 июня. На кладбище — никого. Приехала опять в роддом. Няньки — ведьмы. Наконец нашла одну, самую старую. Она гладила «пеленки». Подумать только — ничего не изменилось! Такие же вот «пеленки» — застиранные, в бурых пятнах, выдавали, по две на день — женщинам после родов, чтобы подкладывали в промежности. Неужели им до сих пор не разрешают белье в больницах? Наверное, нет.

Подхожу к этой бабке:

— Вы здесь сколько лет работаете?

— Да всю жись!

У меня сердце подпрыгнуло.

— Я разыскиваю подругу. Она была медсестрой в этой больнице.

— Ну? — рычит ведьма. — А мне чего?

— Помогите мне ее найти! Вы ведь, наверное, всех помните! Я вам ее опишу.

— Делов у меня других нет — подружку тебе искать!

Достаю бумажку, сую ей в карман халата.

— Помогите, в долгу не останусь!

У нее сразу другое лицо.

— Ну какая она у тебя?

— Я ее молодой не знала, так получилось. Расскажу, какая она сейчас. По виду лет пятьдесят восемь — шестьдесят. Узкие глаза, брови она выщипывает, росту среднего, волосы негустые. Голос хрипловатый. Нос широкий, прямой. Ходит очень быстро, почти бегаёт.

— Не знаю, не знаю, — говорит нянька. — Как ты описываешь, так это Лена Потапова должна быть. Но она померла.

— Да вы что! — кричу. — Какое померла? Я ее неделю назад видела!

— Видела, — говорит, — так чего опять ищешь?

— Это, — отвечаю, — долго объяснять. А, кроме Лены, кто еще?

— Глаза, — спрашивает, — узкие? И сама такая юркая?

— Да, да!

— Ох, — тужится она, — голову ты мне, женщина, ломаешь! Стара я для таких загадок!

Опять сую бумажку.

— Погоди, погоди, — говорит она. — Так тогда это Антонина. Точно! И голос хриплый, как у мужика! Ну? Антонина!

— А где она теперь?

— Теперь-то? Да она на пенсии. Мужа схоронила, в лифтершах сидит.

— Как мне ее найти?

— Не знаю, не знаю, — говорит нянька. — Она сама больная, людей боится, никого к себе не подпускает. Ей платить надо, чтоб она тебе дверь открыла.

— Я заплачу! Только отвезите меня к ней!

— Утром, в пять часов, у меня смена кончится, тогда поедем.

— Мне вас тут подождать можно?

— Где тут ждать? — Хмурится. — Главный увидит, шкуру с меня спустит!

— Да я тихо посижу, — говорю. — И вот вам...

Опять сую.

— Ладно, — говорит, — идите сюда.

Отводит меня в какой-то закуток возле ординаторской. Там кресло и пыльный стол. Больше ничего.

— Дремите, — говорит. — Чайку захотите, я принесу.

Я ведь целый день не ела! Забыла совсем.

— Спасибо, — говорю, — чаю очень хочется.

И тут меня как током ударило: Троль! Троль — не дай Бог — там один дома! Кто с ним погуляет? Кто ему воды нальет? Я уж не говорю — покормит!

— Можно, — спрашиваю няньку, — мне от вас позвонить?

Она заводит меня в ординаторскую.

— Быстро звони, а то мне за тебя голову оторвут!

Набираю номер. Нюра подходит.

— Слушай, — говорю я. — Я сегодня домой не приду. Погуляй с собакой.

— Что-о-о?

— Ничего. — Мне стало смешно, ясно, какая глупость ей пришла в голову. — Я имею право на свою жизнь?

— Ян! — кричит она (слышу, как он грохочет по коридору!). — Она с ума сошла. Она не придет ночевать!

— Ну, и ... с ней! — хрипит мой зятек. — Что ты бесишься?

— Мама! — говорит она в трубку. — Где ты?

— Я? — смеюсь. — В роддоме!

— Мама! — Она, кажется, испугалась не на шутку. — Я сейчас за тобой приеду!

— Роды принимать? — шучу я. — Не стоит. Ложись спать. Но погуляй с собакой. И покорми его. У меня там в холодильнике овсянка и две сосиски.

Она еще что-то лопотала, но я уже повесила трубку. Теперь она позвонит отцу, и они решат, что у меня завелся любовник. Пусть. Так даже лучше. Надежная отвлекающая пауза. Хорошо, что у меня с собой в сумке всегда эта тетрадка. Вот я и записала сегодняшние дела. Жду, пока у старухи кончится смена.

29 июня. Вчера был странный день. Каждый мой день теперь — странный.

...бабка закончила дежурство, и мы отправились. Ехали куда-то долго, с пересадками. Она дремала. Голова ее — растрепанная, с круглым гребнем, — болталась из стороны в сторону. Вышли из метро. Пасмурно, дождик накрапывает. Фонарь при выходе похож на волдырь. Прохожих немного. В подъезде зеленого дома, обвешанного костлявыми балконами, бабка мне говорит:

— Ждите меня тут. Я вам гаркну.

— Что вы мне гаркнете?

— Гаркну, пускает она или нет.

Стою, прислонившись к холодной батарее, жду. Через пять минут она мне кричит, перегнувшись через перила:

— Женщина! Подымайтесь! Можно!

Я бегом — по ступенькам. Дверь в квартиру открыта. На пороге стоит — не она! У меня голова закружилась. Не она, не она! Все напрасно. Я забормотала что-то, слезы хлынули. Хотела сразу уйти, ноги подкосились. Опустилась на грязный пол. Женщина в розовом капроновом халате надо мной наклонилась. Лицо блестит от крема. Глаз почти не видно, вся в складках, как бульдожка. Они вместе с бабкой меня подняли, повели в квартиру. Квартира — комната и кухня. По стенам — иконы. Бумажные цветы в пузатых бутылках — везде, даже на полу. Горят две свечи на трюмо и пахнет какими-то — не пойму — маслами, травами? Бабка шамкает:

— Ну чего вы так, женщина? В слезы-то сразу? Хочешь, Тоня вам погадает?

— Да, — говорит бульдожка. — Давай я тебе погадаю.

У меня зубы стучат, голова раскалывается, и еще что-то со мной... Да, я словно бы соскальзываю куда-то. Если меня не удержать, я соскользну, провалюсь в преисподню! Вцепилась в бабкин подол. Та вырвалась:

— Ты сдурела?

— погоди! — Это бульдожка в розовом. — Что с вами? Плохо вам?

— Держите меня, — шепчу, — держите, ради бога!

— Припадочная! — Это бабка. — Прости меня, Тоня, свалились мы тебе на голову!

Бульдожка вдруг взяла меня крепко за лицо, за обе щеки, приблизила ко мне свой глянцевый лоб, пористый нос и понюхала меня, как собака. Господи, да ведь она и есть собака! Ну, конечно, вон как хвостом виляет под халатом! А я не поняла сразу, отчего это у нее зад такой откляченный. Смешно.

— Гадай, — говорю. — Берешь-то сколько?

Она опять под халатом хвостом вильнула.

— Не трусь, — говорит. — Не ограбим.

И правда: взяла с полки колоду, начала раскладывать.

— Говори свое главное желание. Что у тебя на душе?

— Это ты мне говори, — отвечаю я. — Тебе виднее.

— Болезнь, — говорит она. — К святому угоднику тебя везти надо. Сглазили, порча на тебе.

— Ну нет! — говорю я. — Откуда на мне порча? Что я такого сделала?

— Этого не знаю, — отвечает она и шевелит своими бульдожьими складками. — А сглаз, вот он. Езжай к Сергию Радонежскому в Троицкую лавру.

Слушаю — и мне не страшно, только зло берет.

— Я, — говорю, — к святым не езжу! Язычники вы все! Чмок, чмок! Я с Ним в губы не целуюсь!

Чувствую, что на крик перехожу, и не могу остановиться.

— Да провалитесь вы все! — кричу. — Провалитесь! К угоднику! Не нужно мне вашего угодника!

Тут она размахнулась и ударила меня по щеке.

— Будешь хулиганить? — спрашивает она.

Я опомнилась. Словно бы и не кричала.

— Женщина, — говорит она вдруг, — я вас вылечу. Перебирайтесь ко мне.

— Антонина! — икает бабка. — Да ты что?

— Ладно, — говорит Антонина. — Что мы, некрещеные, что ли? Перебирайтесь ко мне, женщина.

У меня очень болит голова, очень.

— Я пойду, — говорю я. — Мне надо сына искать.

— Какого сына? — говорит она. — Нет никакого сына!

Я поняла, что они все между собою связаны: и Нюра, и Феликс, и эти старухи. А те, которые были за меня, те ушли. Все они там, где Платонов, здесь никого.

Антонина быстро переглянулась со старухой.

— Иди на кухню, — вздохнула она. — Чаю выпей...

Я пошла за ней в кухню, потому что почувствовала, что до дому после такой ночи не доеду. Она налила мне крепкого чаю, достала из хлебницы сдобную булочку — голубь с изюминками вместо глаз, — намазала маслом, и тут кто-то позвонил в дверь.

— Дима! — Она вся вспыхнула и быстро вытерла полотенцем крем с лица. — Что это он так рано?

В кухню вошел такой высокий молодой парень, что у меня заболели глаза, когда я подняла их, чтобы увидеть, где кончается его голова. Он был очень худой, с длинными, почти до самых плеч, светлыми волосами, перехваченными кожаной полоской поперек лба. Я уже давно заметила, что есть лица, которые по своему строению напоминают черепа умерших. Что-то такое в костях лба, в провале рта... У этого парня было именно такое лицо. Он поздоровался, пододвинул табуретку к столу, сел — стал немного ниже — и уставился на меня.

— Кто такая? — спросил он.

Антонина пожалала плечами, а бабка, торопливо евшая варенье с блюдечка, махнула рукой.

— Да мы сами не знаем! Пришла вчера в больницу, сына своего ищет.

— Где ваш сын? — спросил меня гость.

— Ну вот, — сказала я, улыбаясь, — я же у вас не спрашиваю, где ваша мама.

— Умерла, — отвечает он, но глаз не отводит.

Ах, как голова болит! Все сильнее, сильнее. Что же это такое!

— Женщина, — говорит между тем бульдожка, — вы лучше ему откройтесь.

Он — целитель.

А сама садится к нему вплотную и смотрит на него влюбленным взглядом.

— Да я и так все вижу, — произносит он. — И так все ясно.

— Не дается, — вздыхает бульдожка и — вижу — раздвигает колени под халатом. — Я уж, ты знаешь, к себе даже позвала, говорю: перебирайся, а то пропадешь! Не хочет!

— Ну что делать? — говорит он. — Насильно мил не будешь.

— Вы что, — спрашиваю, — врач?

— Лучше, — говорит он. — Лечу телесным электричеством.

Я ничего не ответила, даже не удивилась.

— Вы,— продолжает он,— очень одиноко живете... Ваше тело выпало из общего тепла. Так случается при одиночестве.

— Да какое одиночество? — смеюсь я.— У меня дочь дома! Зять вашего возраста! Собака! Муж был совсем недавно. Месяца полтора как сплыл. Какое одиночество?

Бабка доела варенье и встала, вытирая губы носовым платком.

— Ну, Тоня, у тебя хорошо, а домой пора. Вечером Машу привезут, надо готовить, прибраться надо.

Вижу, Тоня ей показывает глазами на меня: забирай, мол. Но я и сама поднялась.

— Спасибо,— говорю я весело,— хоть вы и не та, которая мне нужна, однако доброе слово, как известно, и от кошки, и от мышки, и даже от крокодила приятно. Так что будьте здоровы, всего вам самого...

Дима вдруг тоже вскочил.

— Вы где живете? Я вас провожу.

Бульдожка так и вскинулась:

— Как провожу? А что же я?

Господи, думаю, да ведь он тебе в сыновья годится! Ты посмотри на себя в зеркало! Что этому парню двадцатилетнему с тобой, старой бабой, делать? А она, бедная, забыв про стыд, надвигается на него своей капроновой грудью и шепчет:

— Я с тобой поеду. Или лучше — знаешь, что? — оставайся! Они и так доберутся!

— Нет! — Он отодвинул ее резко и решительно.— Сказал «нет» — и хватит!

Она заплакала — как припадочная, навзрыд, затряслась. А у меня так болит голова, что еще немного — и я упаду!

— Я тебе, Тоня, вчера сказал, что жить мы с тобой больше не будем.— Он нахмурился.— Сказал?

— Димочка! — простонала она и опустилась на стул, словно ноги ее не держали.— Да что же я тебе плохого сделала, любонька моя?

— Любонька! — передразнил он.— Ты когда со мной, пьяным, спать ложилась, ты соображала, что я тебе в сыновья гожусь? Любонька!

— Так ведь,— залепетала она,— ты ж моя сыночка: ты солнышко мое... Другого-то я не нажила...

Он промолчал. Бабка сидела — настороженная, поджатая, доскребывала из банки остатки варенья. Антонина продолжала плакать.

— Держите,— не обращая на нее внимания, сказал мне Дима и протянул бумажку с телефоном.— Захотите позвонить, звоните, не стесняйтесь. Я вам главного не сказал: мы моделируем людей. Вас как зовут?

— Наталья,— сказала я.

— А отчество? — спросил он.

— Николаевна,— усмехнулась я.

— Так,— сказал он,— так, Наталья Николаевна, я вас могу привести к полной гармонии по формуле «тело — дух — душа», хотите?

— Что? — ахнула я.— А какая же разница между душой и духом?

Он даже крикнул от досады:

— А какая разница между дьяволом и чертом? А между чертом и сатаной? Тоже не знаете?

Тут я не выдержала:

— Слушайте,— говорю.— Я в Бога верю (а сама вспоминаю: верю ли я?).— При чем здесь сатана?

— Во! — вскрикнул Дима.— В самую точку попали! В самую, Наталья Николаевна, точку! А с Господом Богом кто, по-вашему, борется? Он-то и борется, имени не называю, он и борется! За вашу, между прочим, бессмертную душу, он-то и борется!

Меня опять затошнило, голова закружилась.

— Молодой человек, — говорю я, — не надо меня моделировать. Что вы все, как сговорились, — моделировать, клонировать...

Он неистово замотал головой:

— Время подходит, Наталья Николаевна, время! Спасаться надо! Мы вывели формулу Бога. Дайте мне сюда хоть Папу Римского, хоть патриарха Алексия, и я ее им докажу. Как дважды два! Что такое душа, вы спрашиваете? А знаете, сколько миллиардеров велели себя заморозить после смерти?

— Заморозить? — повторила я.

Антонина громко, как вишневые косточки, сглатывала слезы. Старуха попилилась в сумке. Нужно было встать и уйти. Как я попала к этим мутным людям, зачем они мне? Куда я вообще попала, где я и что со мной? Тошнота стала сильнее.

— Заморозить! — вскричал он. — А потом разморозить! Тело тленное вернуть к жизни! Только ничего из этого не получится! Ничего! — Он погрозил пальцем. — Ничего! Потому что душа-то где? Нет ее! Улетела!

— Можно я полежу? — спросила я. — Полчаса полежу — и уйду. Будь добра.

— Иди ложись. — Антонина махнула рукой. — Там плед есть, укройся.

Я пошла в комнату, рухнула на кровать, завернулась в вытертый плед. Комната, отраженная в зеркале, плыла прямо по моим глазам, царапая их ножками стульев. Почему-то мне показалось, что за окном пошел снег и засверкали новогодние искры...

Сна не было. За стеклянной дверью, ведущей в кухню, двигались тени. Сначала их было три, потом осталось две: старуха ушла. Дима сидел, ссутулившись и уронив голову на стул. Антонина стояла перед ним на коленях, уткнув лицо в его живот.

— Миленький, — услышала я. — Не бросай меня, деточка!

— Да ты что, Тонь? — бормотал он. — Когда я тебя бросал, кто у меня ближе...

«Да как она смеет? — почему-то обомлела я. — Как она смеет?» Смеет — что? Я не могу выразить, не могу, но я же чувствую: что-то тут не так! Что-то ужасное я услышала! Что? Не знаю! И вдруг меня словно пропороли! Она сказала: «ДЕТОЧКА!»

Боже мой, ТЫ слышишь это? Да какая же он ей — ДЕТОЧКА? Это у меня — дети, деточки, а у нее?! Я провалилась. Проснулась через час, как мне кажется. Никакого снега за окном, снег мне померещился, но дождь льет как из ведра, и даже в комнате пахнет водой и деревьями. Надо мной стояла Антонина в хорошем белом платье, длинном, как у невесты, причесанная, подкрашенная.

— Я к подруге иду, — сказала она не своим, мужским каким-то голосом. — Ты оставайся, никто тебя не гонит.

— Ни-ни! — испугалась я. — Меня и так уж, наверное, разыскивают, беспокоятся...

— Кто тебя разыскивает? — вздохнула она. — Кому ты нужна?

Я вдруг обиделась до слез.

— Что значит: кому я нужна? А ты кому нужна?

— Я? — басом удивилась она. — А я нужна!

У нее побагровело толстое лицо.

— Ты думаешь, я не знала, что ты за нами подглядываешь? Подглядывай, мне не жалко! Думаешь, мы стесняемся? Да нам плевать!

— Стыда у тебя нет, — зачем-то сказала я.

— Стыда? — закричала она. — А кого мне стыдиться? Что я такого стыдного тебе сделала?

— Извращенка ты. — Я сжалась под одеялом. — С молокососом связалась. Он тебе в сыновья...

Она не дала мне договорить.

— Сыновья? — заорала она. — Не дал мне Бог сыновей! Муж от водки подох, три выкидыша — вот мои сыновья!

— Что ты кричишь? — сказала я. — Мне-то что? Я тебе не судья.

— И никто не судья! — Она вдруг перешла на шепот. — Я и объяснять никому не буду. А Дмитрий мне — все. И сын, и Бог, поняла? И отец, и муж, поняла? И Святой Дух! И любовник!

Она рывком стащила с меня одеяло.

— Проваливай отсюда, проваливай, чтоб ноги твоей! Не судья она мне! Да если он, не дай Господь, меня бросит, я на этом крюке через час повешусь!

Я не помню, как оделась, как вышла на улицу. Дождь льет, проливной, я без зонта, уже вечер, куда мне идти? Дотащилась до дому. Троль меня всю вылизал. Собака моя ненаглядная. Записываю все, что могу. Писать мне легче, чем не писать. Если не запишу — в голове паутина. Гадость. Тьма.

30 июня. Дочка моя. Она меня искала, оказывается. Они меня искали с Яном. Я такого не ждала! Вот как было: я спала, прижавшись к Тролю, который грел меня своим телом, в доме холодно, ни горячей воды, ни отопления — лето ведь, но дождливое, пасмурное, — спала, наверное, долго, и мне мерещилось (снилось?), будто на меня смотрит человек, весь спеленутый, с головы до ног, как египетская мумия, очень высокий. Похож на сегодняшнего Дмитрия. И я боюсь, что он откроет лицо, ужасно боюсь! Тяжелый сон. Смерть, наверное, приглядывается ко мне — у смерти ведь закрыто лицо. Проснулась в слезах. И тут же в комнату ворвалась фурия, гроза с молнией. Моя Нюра. Она была в своих несусветных кожаных штанах, тапочках на босу ногу и старой отцовской майке. Брови дико сведены, щеки пылают. Красавица моя.

— Мама, — кричит она и бросается ко мне. — Мама!

— Что ты? — пугаюсь я. — Что с тобой?

— Нет, это с тобой — что? — кричит она. — Где ты была, мама?

За спиной ее появился Ян — как всегда крокодил крокодилом, и лицо такое, что придушил бы меня, если бы не Нюра.

— Я думала, ты под машину попала! — кричит она. — Разве так можно?

И тут я стала просто счастливой. У меня все внутри залило светом, у меня просто крылья выросли. И я сделала глупость. Я от счастья вдруг потеряла всю осторожность.

— Я ишу твоего брата, — сказала я. — Твоего брата, моего сына.

Они переглянулись, и я заторопилась. Сказала, что пару недель назад встретила на кладбище одну женщину.

Нюра стала белой как снег.

— Ты что, — зашептала она, — ты что? Какую женщину?

Я сказала, что эта женщина присутствовала при моих родах (Нюра не знала ничего об этом и ахнула!), но ребенок не умер, как я думала, а был переведен в приют. Но тут Нюра замахала на меня руками, и я ужаснулась тому, что наделала. Как я могла так разболтаться при Яне?

— Где вы были всю ночь? — спросил меня Ян.

Слава Богу, что я все записываю. И вот почему. Я абсолютно не помню, как и почему я попала к старухе. Все это, к счастью, есть в моих записях, стало быть, я посмотрю и пойму. Но в тот момент, когда Ян задал мне этот вопрос и я решила быстро придумать что-то и быстро наврать, я вдруг поняла, что действительно не знаю, не помню! Откуда взялась старуха, которая утром отвела меня к Антонине? Это, конечно, мелочь, пустяк, простая перегрузка памяти, но то, что я запуталась и не знала, как ответить, меня спасло. Они решили, что все это галлюцинации или как там это называется и меня нужно лечить! Но они не поняли, насколько существенную информацию я им только что случайно доверила. И они не перенесут ее Феликсу, и он не успеет принять меры, чтобы от-

нять у меня сына! Значит, вот так и надо себя вести: путаться. Не знаю, не помню, не скажу. А если скажу, то полную чушь. Лучше пусть лечат, чем узнают правду.

— Вам следует побыть хотя бы несколько дней дома, — сказал Ян. — Иначе все это может плохо кончиться.

Я промолчала. Они вышли в коридор и закрыли за собой дверь. Я опустилась на подушку, закрыла глаза. «Если Бог захочет помочь, Он поможет, — вдруг подумала я, — все в Его власти».

Никогда эта мысль не приходила мне в голову. Я никогда не обращалась к Нему! Нет, неправда. Обращалась. Нюре было два года, у нее начался приступ ложного крупа. Мы жили на даче. Конец августа, холодно. Она задыхалась и кашляла. Я носила ее на руках, а Феликс на велосипеде под проливным дождем помчался на станцию вызывать «скорую». Телефона у нас на даче нет. И вот тогда — помню, как сейчас — я подошла к окну. Черный дождь, ночь, ни одной звездочки. Нюра хрипела и задыхалась, выгибаясь на моих руках. Я знала, что она умирает, я была уверена, что сейчас потеряю ее, и все во мне было стиснуто, словно меня связали в один узел — руки, ноги, глаза, волосы, все! Я смотрела на это черное, беспросветное, что было и небом, и водой, и шумящим садом одновременно, и молилась! Я смотрела в черноту и шептала Ему: «Помоги нам, Господи, помоги нам!» Потом я подумала, что нужно непременно попросить Богоматерь, и стала просить ее, потому что — это впервые осенило меня тогда — она ведь была матерью, Его матерью и, стало быть, должна была услышать меня.

Феликс приехал одновременно со «скорой», и нас с Нюрой забрали в больницу. Мы пролежали там неделю. Но я никогда не забуду эту ночь, когда ее спасли мне. Да, я уверена, что тогда меня услышали.

1 июля. Давно ничего не писала, вчера весь день проспала, не знаю даже, кто гулял с Тролем. У меня страшная слабость, ни рукой, ни ногой не могу шевельнуть. В среду они возили меня к врачу. Я решила не сопротивляться. Всю ночь мне снилась женщина с бородой и усами. И словно бы кто-то, дурачась, сказал мне, что теперь это разрешается. Женщинам — носить усы и бороду. Бред отчаянный — эти мои сны. Записываю их просто так, чтобы ничего, ничего не потерять. Так вот: поехали на сиамце, на его голубом «Вольво». Я смело села на заднее сиденье рядом с Нюрой, а Ян с ним, на переднее. Как у меня стучало сердце, как выпрыгивало! Я все-таки не была до конца уверена, что ничего ужасного не случится, но заставляла себя казаться спокойной. Никогда в жизни я столько не притворялась, даже с Феликсом. Я много притворялась с Феликсом, это правда. Я врала подругам, что у нас все в порядке, изображала счастливую семейную жизнь, хотя на самом деле мы иногда неделями не разговаривали, я заставляла его ходить со мной по гостям, хотя чувствовала, что он неверен мне и у него кто-то есть. Ах, сколько я притворялась, безобразно, безобразно! Теперь эта ложь, это притворство многолетнее меня теперь и доканывают! Хорошо. Задним умом крепка, как говорится. Я заметила, что сиамец быстро поймал в зеркальце Нюрины глаза, и она ему ответила таким же быстрым взглядом. Ох! А что если ее уже развернуло от бородатого к сиамцу? Она ведь у меня влюбчивая, как кошка! И потом — если Ян уже приручен и сидит тихо — зачем ей Ян? Ей новые ощущения нужны, новые победы! У нее — нельзя так говорить про своего ребенка, но я скажу — у нее ужасные задатки. Она любит мужчин, однако людей она не любит, она не умеет их «полюблять». Чье это слово? Не помню, кого-то знаменитого. Так вот: «полюблять» моя дочка не умеет, и, если она уже решила переспать с сиамцем, ее ничто не остановит, никакой морали у нее нет! А у меня какая мораль? Прожила двадцать шесть лет с мужем, который меня в первый же год предал! Пролгала всю жизнь!

Минут через сорок мы доехали. Институт Сербского. Знаю, много раз проходила мимо, хотя никогда не обращала внимания. Входим через какую-то зад-

нюю дверь, вроде проходной. Сидит страшная бабища, людоед в косынке. Ян ей называет фамилию, и нас пропускают. Специально пишу подробно, боюсь перепутать! Заходим в маленькую приемную. Я начинаю дрожать, мне холодно. Нюра держит меня под руку. Белая вся, волосы распущены. Девочка, как мы с тобой здесь оказались? Пожалей маму! Не пожалейте, наверное. Плоть и кровь моя... Но я ведь не знаю главного! Главного-то я не знаю! Чья душа в тебе, плоть моя? Кто в тебя вселился?

У меня паника, я чувствую, что схожу с ума, у меня путаница, паутина, не помню, почему мы здесь, кто это рядом с Нюрой...

Я взяла себя в руки и заставила — я заставила — себя успокоиться. Вошел длинный, смуглый, сутулый, с острой черной бородой. Черт в халате. Поздоровался со мной за руку. Имени я не запомнила. Начали беседовать. Я уже не дрожу, мне не холодно, мне почти не страшно. Он хотел побеседовать наедине, Нюра и Ян вышли, мы остались. Он какой-то странный, как загримированный, как из оперы, а вдруг он и не врач? А кто же? Он спросил, чувствую ли я подавленность. Чувствую, но тебе не скажу. Что такое — «подавленность»? Если у человека отняли одного ребенка и непонятно, что завтра случится с другим ребенком, и мужа нет, и работы нет, что прикажете чувствовать? Вдохновение? Я ему сказала, что у меня климакс. Он кивнул головой и поставил вопрос иначе: чувствую ли я себя хуже и беспокойнее, чем раньше, скажем, полгода назад? Мне опять страшно: а вдруг он меня не выпустит отсюда? Зачем они закрыли дверь? Почему он прогнал Нюру с Яном? А если это... Мне страшно, страшно, но я не должна кричать, я ничего не покажу, потому что тогда они меня точно не выпустят! Если бы только голова не болела так сильно! Он похлопал меня по руке. Поймал мою дрожь. Я стиснула зубы, чтобы не кричать.

— Давайте успокоимся, — сказал он, — я хочу вам только добра, у вас сильное нервное истощение... Скажите, вы читаете книги? Газеты? Ходите в гости? В театры?

Я поняла, что надо быстро и решительно лгать. Только это меня спасет! Какая попытка!

— Я очень много читаю, — сказала я, — я много смотрю телевизор. У меня много друзей, и я очень люблю театр.

— Я вам задам личный вопрос, но меня вы не должны стесняться, — сказал он. — Вы ведь расстались с мужем, как я слышал? Как давно прервались ваши интимные отношения?

— Не помню, — сказала я, стуча зубами (ничего не могу поделать!).

— Ну примерно? — спросил он.

— Год, — наврала я, — может быть, чуть-чуть меньше.

— Кто был инициатором, можно вас спросить? — сказал он.

— Я, — наврала я.

— Почему? — спросил он.

— Я перестала любить своего мужа, — наврала я.

— Вы увлеклись кем-то другим? — спросил он.

— Нет, — сказала я.

— Тогда почему вы?... — спросил он. — Вы не были удовлетворены своим мужем?

— Да, — наврала я. — Не была.

Он сверлил меня круглыми черными глазами. Страшно мне. Когда выпустят? Я сейчас закричу. Но они не выпустят меня, если я закричу. Терпи, терпи, Наталья.

— Бывают ли у вас, — он сделал паузу, — бывают ли у вас сексуальные фантазии?

— Нет, — сказала я.

— А вообще фантазии? — спросил он. — Сны? Представления?

— Нет, — наврала я. — Сплю как убитая.

— Как вам живется в семье?

— Я что, обязана отвечать на этот вопрос? — спросила я.

— Нет, — сказал он спокойно, — но я думал, что вам самой хочется поговорить об этом.

— Я не очень люблю разговаривать с незнакомыми людьми на подобные темы.

— Понимаю вас, — кивнул он, — конечно, конечно. Но если вы не хотите о семье, давайте...

— Давайте не будем, — попросила я.

— Давайте, — согласился он. — Я могу предложить вам попринимать кое-что... Но на один вопрос я все же попрошу вас ответить...

— Хорошо, — сказала я.

— Думаете ли вы о смерти, и если думаете, то кажется ли вам, что смерть была бы для вас...

Он на секунду запнулся, словно подыскивая слово.

— Выходом? — спросила я.

— Ну, если хотите, то да, выходом... — сказал он.

И тут я поняла, что нельзя говорить правду — совсем нельзя!

— Нет, — сказала я, — вот об этом не думаю. Никогда.

Он облегченно усмехнулся. Достал из кармашка рецепт, что-то на нем нацарапал, приоткрыл дверь в коридор, и тут же появились Нюра с Яном. Он протянул Яну рецепт, а Нюре сказал:

— Побеседовали мы с вашей матушкой. Ей нужна спокойная домашняя обстановка.

Она вспыхнула и разозлилась.

— Советую ей несколько дней побыть дома, не волноваться, не выезжать никуда и ни с кем посторонним не встречаться.

У меня было ощущение, что он чего-то не договаривает, но вот — чего? Он пожал нам руки, нахмурился и быстро ушел. Вернулись домой на сиамце. Я прошла в свою комнату и сразу легла. Троль завилял хвостом, но не поднялся мне навстречу. Что с ним? Нюра принесла мне таблетку и стакан воды. Ну уж дудки! Откуда я знаю, что это за таблетка? Все, что угодно, может быть! Нюра стояла надо мной в ожидании, брови сведены. Я положила таблетку под язык.

— Запей, — сказала она.

Я сделала вид, что глотнула. Она мне поверила и ушла. Кончаю записывать, голова.

4 июля. Боюсь, что мне что-то подмешивают в еду. Все время хочется спать. Вчера Нюра была целый день дома и сторожила меня. Сделала мне бутерброд и сварила манную кашу. Каша подгорела, готовить она не умеет. Я виновата — не научила. Я сказала, что хочу позвонить Адочке. Она сказала:

— Звони. — Но осталась стоять в столовой, где у нас телефон.

Никому я не собиралась звонить! Какие теперь подруги, зачем и откуда? Пришлось сделать вид, что набираю, а там занято. И вдруг мне пришла в голову другая мысль. Я позвонила в мастерскую. Подошла женщина. Я знала почему-то, что подойдет эта женщина, хотя раньше Феликс терпеть не мог, чтобы посторонние торчали в мастерской. На всякий случай изменила голос, это я умею.

— Будьте добры Феликса Алексеевича, — сказала я.

— Он занят, — сказала она.

— Занят? — удивилась я.

Нюра подскочила и хотела нажать на рычаг, я не дала.

— Пожалуйста, передайте ему, что звонила жена, — сказала я своим голосом и бросила трубку.

— Зачем тебе отец? — прошипела Нюра. — Мало тебе нас с Яном?

— Когда-то,— сказала я,— мы с твоим отцом составили завещание. Я хочу внести в него кое-какие изменения.

Она странно посмотрела на меня. Поверила! Я, кажется, додумалась до чего-то стоящего! Это отличный ход! Деньги! Заманить Феликса деньгами! Добром все равно ничего не получится, можно только силой или хитростью. Или страхом. Сделаю все, что смогу. Вечером опять обманула Нюру с таблеткой. Выбросила в уборную, спустила воду. В девять она ушла, сказала, что ненадолго, и закрыла дверь на ключ. Я не могу выйти, моего ключа нигде нет. Терпи, Наталья, терпи! Они с тобой не справятся. Завтра я покажу ей, как меня запирать!

Мне, кстати, вот что приходит в голову: для того, чтобы добиваться своего, нужно быть хорошо одетой и хорошо выглядеть, а у меня ничего нет. Все сносилось. И сама — вся в морщинах. По телевизору недавно показали, что морщины можно убрать с помощью лазера. Это очень дорого, но есть места, где это делают. Если бы мне вернуть мою молодость и мое лицо! Денег нет — это страшно. И носить нечего. Пересмотрела свой гардероб — ужасно. Раньше я не обращала на это такого внимания. Почему сейчас? Неужели эта история со старухой Антониной и мальчишкой?

Ян пришел вечером, Нюры еще не было. Я лежала с Тролем у себя. Ян заглянул и спросил, где Нюра. Мне захотелось сказать ему что-то очень насмешливое, но я испугалась. Я боюсь их всех, и Нюру боюсь, которая меня заперла. Надо сделать вид, что я ничего не заметила, или высмеять ее. Терпи, Наталья.

5 июля. Феликс позвонил и спросил, что случилось. Значит, эта его дамочка ему передала. Я сказала, что решила продать дачу. Он почти взвизгнул. Нервишки, старенький уже!

— Как дачу? — удивился он. — Ты же не собиралась?

— Я передумала,— сказала я. — Но если ты хочешь, ты можешь мне помочь в этом. И тогда я, конечно, отдам тебе часть денег. Процент отдам, как агенту.

— Наташа,— сказал он гневно,— я не ожидал от тебя! Это твоя дача и твои деньги! Но мне, конечно, было бы легче знать, что ты подстрахована, потому что тянуть две семьи...

О, мерзавец, мерзавец! Он говорит мне про две семьи! С каким удовольствием я убила бы его, если б могла! На кусочки бы разрезала!

— Да,— сказала я,— если бы у меня были эти деньги, я была бы подстрахована. Ты уже стар, Феликс, тебе трудно.

Он разозлился.

— Дело не в возрасте,— сказал он,— дело в обстоятельствах. Я не ворую и не торгую.

И тут я сказала то, что придумала.

— Феликс,— сказала я,— дача принадлежала моему отцу. Его нет в живых, но это не важно. Мне будет уютнее (я так и сказала: «уютнее!»), если мы встретимся с тобой на его могиле и я передам тебе все бумаги.

— Что за бред? — прошептал он. — При чем тут могила?

— При том,— сказала я.— Я уже давно чувствую, что мертвые мне ближе, чем живые. Мертвые меня не предадут.

Почувствовала, как он испугался там, на том конце провода.

— Наташа,— сказал он,— все это так странно. Ты слышишь себя?

— Это мое право,— сказала я,— пусть тебе оно и покажется странным, но иначе я не согласна. Я буду знать, что отец присутствует при нашем разговоре, что я делаю этот шаг с его согласия... Ты ведь помнишь, как он любил дачу.

Я знала, что Феликс пойдет на любое условие, каким бы диким оно ему ни показалось! Он хочет, чтобы я продала дом и обеспечила себя! Он мечтает, чтобы у меня появились деньги и я оставила его в покое! Но это не все. Я

знаю, что совесть его царапается и ему стыдно, что он бросил меня на старости лет, больную и нищую, со старой собакой! А тут деньги, и я останусь с деньгами, и он поможет мне получить эти деньги, и можно будет спокойно наслаждаться семейным счастьем с молоденькой. («Две семьи!» Никогда не забуду!)

— Ну? — спросила я (якобы нетерпеливо, а он-то на крючке, попался!).

— Хорошо, — он вздохнул тяжело, — хорошо. Если это каприз, мне стыдно за тебя.

— Как ни назови! — засмеялась я. — Пусть каприз. Так завтра? В десять? Ты помнишь, где наша могила?

— Думаю, что найду, — сказал он. — Но, может быть, я за тобой заеду?

— Нет, нет! — нарочно испугалась я. — Нюра дома, да и этого, лохматого, никакими силами не выкуришь. Лучше уж встретимся там, на месте. Да, кстати! — Сделала вид, что только что вспомнила. — Кстати! Скажи своей дочери, чтобы она меня не запирала.

— Запирала? — удивился он. (Значит, она ему ничего не рассказала ни про то, что я не ночевала дома, ни про поездку в сумасшедший дом. Стесняется она его, что ли?) — Почему Нюра тебя запирает? Зачем?

— Ну, Господи, — сказала я устало, — мало в ней дурости, что ли? Сегодня ей показалось, что будет лучше, если мать посидит взаперти. Чем бы дитя ни тешилось...

— И ты так спокойно говоришь об этом? — (Он ничего не понимал. Ура!)

— А как ты хочешь, чтобы я об этом говорила? На стену мне лезть, что ли?

Вот этим-то я его и провела! Он решил, что я понимаю Нюрины выкрутасы и реагирую на них спокойно, как разумный пожилой человек, который видит в своей дочери экзальтированного подростка. А раз так — значит, я здорова и можно поверить в то, что я продаю дачу. Ура!

— Я поговорю с Нюрой, — сказал он, — действительно, это нелепость...

Он не был уверен, что это так, но ему ужасно хотелось! Потому что — деньги! Деньги и спокойная совесть! А иначе — просто жуть малиновая: старуха, брошенная и вдобавок запертая! Ух!

7 июля. Утро. Пишу, как есть, спасаю от самой себя, от своей головы, больной, дырявой. Сейчас Нюра принесла мне таблетку. Я положила ее под язык и сделала глотательное движение. У Нюры глаза бегают, мне кажется — ей не до меня.

— Папа сказал, что вы хотели встретиться, — сказала она осторожно. — Он сказал, что у тебя к нему важное дело...

— Да, и оно имеет к тебе отношение, — кивнула я (таблетка кислая, боюсь случайно проглотить). — Я же упоминала про завещание...

— Мама, — перебила она нетерпеливо, — я ничего не понимаю в ваших с папой делах и, честно говоря, не хочу понимать!

— Напрасно, — говорю я, — напрасно. Не хочешь же ты весь век висеть на шее у Яна!

— При чем тут Ян? — вспыхнула она. — Ян здесь ни при чем!

Ах, вот как! Хорошо. Я так и думала: у нее другой на подходе. Или уже!

— Вы что, расстаетесь? — сказала я кротко.

— Почему расстаемся? — Глаза стали синими, как васильки, и забегали, забегали.

— У тебя нет денег, потому что ты ничего не зарабатываешь и зарабатывать не будешь. Тебя должен содержать мужчина. Но, поскольку ты не умеешь долго спать с одним и тем же мужчиной, а времена у нас непростые, я хотела бы, чтобы у тебя были свои деньги. Ты — мой единственный ребенок.

Она неотреагировала на это нелепое слово — единственный! Она забыла, что у меня есть сын, о котором я сказала ей! Она забыла! Никто не хочет помнить! Ну вы у меня попляшете!

— Откуда ты возьмешь деньги? — спросила она.

— Помнишь,— сказала я,— анекдот про нового русского? Новый русский спрашивает у мужичка: «Откуда, мужичок, у тебя деньги?» А тот ему отвечает: «Кроликов развожу». А новый русский спрашивает: «А у них откуда?»

Она даже не улыбнулась, вылупила на меня глаза и сильно покраснела. Она всегда краснеет, когда пытается понять что-то важное, а у нее не получается. Прекрасно, прекрасно! Запертая мать анекдоты рассказывает!

— Так откуда же? — повторила она упрямо.

— Я продаю дачу,— сказала я.

Она так и подпрыгнула. Дача — это же кость в горле у них с Феликсом! Это предмет наших самых жестоких споров! Ни одному из них не нужна дача, и сколько раз они давили на меня, чтобы я ее продала. И вдруг — держите! Деньги буквально плывут в руки. Она просияла, но недоверчиво, с оглядкой.

— Что так? — радостно спросила она.

— Я, кажется, объяснила: ты мой ребенок, тебе нужны деньги. Я старая женщина, но мне тоже нужны деньги, я нигде не работаю, а на твоего предателя-отца надежды слабые. Я могу заболеть, могу влюбиться — на все нужны деньги!

— Влюбиться? — Она опять вылупила глаза.

— А что? — надменно сказала я.— А вдруг я решусь на подтяжку? — И я двумя ладонями приподняла щеки.— Разницу видишь?

Она совершенно обомлела. Смотрит на меня, как на лунное затмение, открыв рот. Я засмеялась.

— Короче,— сказала я,— обсуждать тут нечего: дачу я продаю. Твой отец этим займется. Пусть хоть немножко посуетится, а то что же? На всё готовое? Мне нужно встретиться с ним сегодня и передать документы. Я ему доверяю. И доверенность дам. Вот так.

Она все не могла опомниться.

— Так что ты уж будь любезна: не запирай меня сегодня.— Я сказала это легко, небрежно. Прекрасно сказала! — Не запирай свою умалишенную мать, она тебе еще пригодится.

Она покраснела сильнее.

— Никто тебя не запирает,— сказала она.— Просто ключ завалился за зеркало. Можешь идти куда хочешь.

— Сейчас сколько? — спросила я.— Половина девятого? Чудно. Тогда я пошла. В десять у меня свидание.

— Свидание? — вскрикнула она.— С кем?

Я откинула голову, как в оперетте, и захохотала.

— С отцом моего ребенка! — захохотала я.— Пока что — только с ним!

Она выскочила, хлопнув дверью. Потом у них с Яном началось крикливое объяснение, но я не стала слушать и ушла к себе.

Теперь надо объяснить, откуда у меня возникла идея кладбища, а то забуду. Во-первых, я надеюсь, что опять увижу эту, с выщипанными бровями, и, если со мной рядом будет Феликс, устрою им очную ставку. Это первое и главное. Но, кроме того, на кладбище мне помогут МОИ, и Феликс уже не отвертится. Я в это верю. Ведь вот если человек осеняет себя крестным знаменем, нечистая сила сдается, верно? Так и здесь. Одна я с Феликсом не справлюсь, значит, надо привести его туда, где я не одна. ОНИ мне помогут. Я и так слишком долго тяну. Время будет упущено, не наверстаешь. Что с моим сыном?

Записала, что могу, еду на кладбище.

7 июля. 2 часа дня. Почему все время так темно? И в комнате темно, и на улице? Голова уже не болит, но в ней стоит постоянный мелодичный звон. Потрясешь ушами, как собака,— звон громче. И темно, все время темно. Что

было утром? Я все время боюсь сделать что-то не то, не туда поехать, не то надеть, перепутать, забыть. И все время куда-то выскальзываю, соскальзываю, шатаюсь. Никогда ничего подобного не было. Может быть, у меня давление? Не знаю. Итак, что было утром? Вот что: приехала, иду по главной аллее. Вижу ее спину на скамеечке. Сидит! Сидит, как всегда, на своем «враче-человеке»! Господи! Я заторопилась, бегу. И никак не могу найти свою тропинку. То в одну сторону подамся, то в другую — нет! Кресты и камни вокруг, не продерешься. Не наступать же мне на могилы! Спина у женщины неподвижна, сама как каменная. Я тороплюсь, чуть не падаю, а она сидит! И вдруг вижу: встала и уходит. Куда-то в другую сторону, прочь от меня. Я кричу: «Подождите!» Она — опять, как тогда, не оглядывается. Ушла, исчезла. И тут я — сама не знаю как — вышла прямо к могиле родителей. Вот папа, а вот — мама. Цветы засохли, давно я не была. Ее нет. На «враче-человеке» — свежие колокольчики, синие. Значит, она только что ушла. Земля теплая, пестрая и так спокойно пахнет. Я опустила руку на корточки, положила руку на отцовский бугорок. Совсем не страшно. МОИ рядом, смотря на меня. Слышу голос Феликса:

— Наталья!

Я обернулась: стоит. Послушался. Зачем я его вызвала? Ах, да! Деньги, дача! Сына надо спасать. На Феликсе — хороший серый свитер. Ботинки — старые, еще мной когда-то купленные. Вид потасканный, а в то же время заметно, что за собой следит, хорохорится. Убийца детей моих. Сыноубийца.

— Вот,— говорю я,— увиделись все-таки.

Он стал серым, как его свитер.

— Я так и знал,— шепчет,— ты больна, Наталья. Наталья...

Я глажу его по щеке грязной, в земле, рукой. Он отшатывается.

— Идем домой!

— Да что ты! — говорю.— Какой там дом! У меня к тебе дело.— И протягиваю ему доверенность: «Я, Мартынова Наталья Николаевна, проживающая по адресу: Никольский переулок, дом 7, квартира 310, доверяю продажу своей дачи и получение денег Мартынову Феликсу Алексеевичу и т. д.». Число и подпись.

Он молчит, смотрит на меня. Со страхом смотрит. Ноги меня не держат, опускаюсь на скамеечку. Он надо мной возвышается.

— Бери,— говорю я.— Бери и действуй. Деньги твои.

— Ничего я не возьму,— отвечает он.— Ты не отвечаешь за свои поступки.

— Ты возьмешь,— сморщилась я,— еще как возьмешь! Это же пятьдесят тысяч, не меньше! Вспомни, какой там дом! Папочка,— и глажу бугорок,— каждую половицу вылизал! Мне деньги не нужны.

— Что? — спрашивает он.— Что тебе нужно?

— Ты знаешь что,— говорю я.— Феликс! Все деньги — твои!

— Наташа,— он схватил меня за плечи,— что с тобой?

— Возьми, возьми деньги,— шепчу я,— мне ничего не нужно.

Я вдруг зарыдала. Он сел рядом. Щека, правая, повернутая ко мне, в земле. Я испачкала. Мой муж. Мой муж. Немой муж. Муж, не мой. Объялся груш. Висит груша — нельзя скушать. Скушно. Пиши, пиши. Что было потом?

— Я помогу тебе,— сказал он.— Но давай поговорим серьезно.

— О чем? — спрашиваю я.

— Наташа,— говорит он,— я не хочу тебя пугать, но как человек тебе не посторонний и отец твоей дочери...

Я опять сморщилась. Но тут же мне пришло в голову, что надо обязательно удержать его здесь, просидеть с ним здесь, на могиле, сколько можно, потому что — она вернется! Почему-то я была уверена, что она вернется.

— Ты видел нашего сына,— говорю я,— мертвым?

Он вскочил:

— Опять! — закричал он. (Разве можно так кричать на кладбище?)

— Что — опять? — говорю я. — Простой вопрос: смотри... — И достаю из сумки то, что мною было припасено: несколько фотографий из нашего семейного альбома (я ведь приготовилась к этой встрече!). — Смотри.

На первой фотографии — мы с ним в Сочи. Начало января. ТА моя беременность. Месяца четыре. Пляж, ни одного человека, я в плаще, со вздыбленными ветром волосами, он — в куртке-ветровке, брошенной на голову, обхватил мои плечи и состроил рожу тому, кто нас снимает. Кто нас снял — не помню. Кто-то третий был с нами. Если всмотреться, то уже видно, как плащ топорщится на моем животе, как мой живот натягивает ткань, и там, под тканью, дитя мое, наверное, шевелится, наверное, толкает меня изнутри своей горячей ножкой, и поэтому я так радостно и блаженно смеюсь, привалившись к своему мужу.

— Смотри, — говорю я и ногтем очерчиваю круг на фотографии, на своем выпуклом животе, — смотри, дорогой. Видишь? Это наш сын. Он ведь был. Ты видишь?

Смотрит на меня страдальчески. Смотри, смотри. Достаю следующую фотографию (как хорошо, что они сохранились!). К Феликсу в мастерскую привели какого-то француза или итальянца, не помню. Была небольшая вечеринка с русским угощением (я делала винегрет и пекла блины). И кто-то нас всех сфотографировал. В центре — француз (или итальянец), кудрявый, как овца, в маленьких очках, с хищным носом, а по бокам — четверо художников, приятелей Феликса, потом кто-то неизвестный, который и привел в мастерскую этого француза-итальянца, и я — с большим животом, который возвышается над кудрявой головой иностранца, как круглая диванная подушка. Итальянец и художники сидят на полу, а мы с Феликсом стоим, и потому мой живот оказался в самом центре фотографии и сразу же притягивает к себе внимание.

— Вот, — говорю я старому, лысому, страшному, бросившему меня Феликсу. — Это уже перед самыми родами, начало июня. Видишь, какой мальчик большой? — И опять обвожу ногтем свой живот на снимке. — Видишь, сколько его? Так где же?

Внимательно слежу за его лицом. У него дрожат губы. Помогите мне, мои родные, помогите мне, Платонов! Сейчас он должен сказать мне все, как было, он должен отдать мне ребенка.

— Ты помнишь, — говорю я, — что сына я все-таки родила, с кесаревым, но родила! Живот мой пуст, его там уже нет! Двадцать пять лет как нет!

Беру его руку и кладу на свой живот. Осторожно, но настойчиво. Руку не убирает, смотрит на меня со страхом, весь — серый.

— Так вот, — говорю я, — простой вопрос: где он?

Вдруг Феликс вскочил и рывком поднял меня со скамеечки.

— Наташа, — забормотал он, — пойдем домой. Тебе надо лечь, ты устала. Дома поговорим. Дома.

Я не стала сопротивляться, не стала. Почему? Стыдно произнести. Стыдно! У него были такие добрые, такие родные руки, и он так нежно, так крепко сжимал мои плечи, и так близко было его старое, ужасное, любимое лицо! Теперь я понимаю, что он опять обхитрил меня, опять обвел меня вокруг пальца, нас всех — моих родных и Платонова — всех обхитрил, всех!

Я что-то не помню, что было дальше... Что? Да, лавочка, с лавочки он меня поднял. Что потом? Он сказал: «Прошу тебя, пойдем домой...» Я замотала головой. Уперлась. Думала, он будет тащить меня насильно, но он был страшно нежен и заботлив. Он гладил меня по голове, по спине, он целовал мои руки. И весь дрожал, весь.

«Пойдем, пойдем, Наталья, — бормотал он, — ты устала, пойдем...»

Ах, вот оно что! Ему стало стыдно. Понимаю. Еще бы! Но ведь, чем тащить меня домой и причитать, сказал бы адрес детского дома — и дело с

концом! Ах, какой ты хитрый, Феликс! Хитрый, предатель. Хорошо, пойдем домой, голова кружится. Я и так очень многого добилась сегодня: у него проснулась совесть, значит, еще немного — и скажет. Я тоже должна быть похитрей. Нельзя настаивать. Пишу все это дома. Я у себя в комнате, они с Ньюрой в столовой. Говорят так тихо, что ничего не разберешь. Почему так темно? Дождь, наверное, будет. Мой муж дома, моя дочка дома. Моя собака дома. Странно. Еще недавно это было моей настоящей, совсем не счастливой, но все-таки жизнью. Сейчас я словно бы играю роль в спектакле, который идет на незнакомом языке. Кстати, Троль какой-то вялый, почти не лает, не прыгает. Жара, должно быть. И влажно, как в бане. Я записала, кажется, все.

8 июля. Я дома. Ньюра тоже дома. Она ходит по квартире, злая и встревоженная, в трусах и лифчике. Жара ужасная, как в Ашхабаде. Ньюру что-то беспокоит. Мне кажется, что она следит за мной. Она все время смотрит на телефон, потом на меня, словно мое присутствие мешает ей позвонить кому-то. Я сделаю вид, что сплю. Записывать буду потом, ночью. Кто-то стучит в дверь, звонок у нас сломан. Я знаю, что мне нужно быть ужасно осторожной, потому что они следят за каждым моим шагом. Для чего? Ах, как мне тяжело, как я путаюсь!

8 июля. Ночь. Все время молюсь. Странно, я раньше считала себя человеком, верящим стихийно и малоосмысленно, а сейчас из головы не выходит одно: «Помоги, Господи!» Вся надежда моя. Думаю, как же Его мать пережила такое? Знаю, знаю, что Бог и Сын Божий, знаю! Но ведь на кресте мучился — человеком! Ведь плотью мучился! А мать была женщиной и любила Его, как женщины любят детей. Как я люблю своего сына. Маленького, больного своего ребеночка, отнятого, потерянного. Помоги, Господи, Пресвятая Дева, помоги мне.

Я сегодня многое поняла. Ньюра думала, что я сплю, она несколько раз входила ко мне в комнату, я притворялась, даже похрапывала. Она поверила, ей не до меня. Пришел сиамец. У них был разговор, я подслушала. Вернее, так: дочь моя не умеет долго шептаться, она не из самых скрытных, не из самых терпеливых, она возвышает голос, крикунья, и очень избалована, ей на все плевать. Но я многое поняла, многое. Сейчас постараюсь записать. Сиамец колошматил в дверь, она открыла. Как была — в трусах и лифчике. Это страшный знак. Значит, они в отношениях. У нее фигура, как у Софи Лорен. Открыла дверь и повела его сразу в детскую. Но сначала посмотрела, сплю ли я. Я сплю. Детская у нас самая прохладная комната, в столовой невозможно находиться, она — на солнце, кухня тоже. Из детской доносился сначала их шепот, и я ничего не могла разобрать, потом слышу — повысили голоса, не выдержали! Он ей говорит: «Разберись уже, с кем ты! С ним или со мной!» Потом — она ему: «Я тебе то же самое могу сказать!» Он: «Я с ней не сплю!» С кем — с ней? Женат он, что ли? Она: «А этого я не знаю!» Он: «Зато ты меня знаешь!» Она: «Ты меня тоже!» Он: «Врунья! Ты мне наврала даже про то, как тебе целку разорвали! И хочешь, чтобы я после этого тебе верил? Ты еще две недели назад по нему с ума сходила! Куда все делось?» Она: «В другого вляпалась! Отмыться не могу!» Он: «Ни одному слову твоему не верю!» Она: «Ну и проваливай! Не заплачу!» Потом был какой-то грохот, стул упал, наверное; потом опять ее крик: «Не смей до меня дотрагиваться!» И его голос: «Блядь ты, вот что!» Потом все затихло, но через пять минут она выскочила проверить, сплю ли я. Я захрапела, и она вернулась в детскую. Я боялась шевельнуться. Потом сиамец сказал: «Давай отвалим». Меня холодный пот прошиб. Он: «В Штаты, к моим. Хватит говно месить». Она: «Ах, скажите! А там ты кем будешь?» Он: «Там ребята помогут. И поеду не с пустыми руками». Она ему: «Козел, ты хочешь посидеть в американской тюрьме?» Он: «Там тюрьмы не такие, как у нас. Там курорт, а не тюрьмы». Тут началось торопливое чмокание, кто кого

целовал, я не поняла. Потом она громко прошептала: «Подожди, ко мне деньги плывут, не хочу терять. Большие». И что-то сказала совсем тихо. Я знаю — что! Она сказала ему про дачу. Вот какие деньги она не хочет терять! Ну, конечно, про дачу, потому что он ответил: «Не смей меня, какие это деньги!» И она обиделась: «Для меня — большие, я наркотой не наживаюсь». Потом опять чмокание. Значит, это он ее зацеловывает. Она сказала: «Ты что, не видишь, что здесь творится? У матери крыша поехала». Он, наверное, что-то спросил, потому что она ответила полную чушь, что-то про маниакальную депрессию. Ага, вот и диагноз! Не дождетесь. «Так ты, — говорит он, — будешь теперь всю жизнь ждать, пока она копыта откинёт?» И тут — раздался звук! О, какой звук! Сладостный! Звук удара руки о щеку. Моя дочь дала ему по физиономии. И я еле удержалась, чтобы не закричать от радости. «Проваливай! — сказала она. — И больше не приходи». «Я его убью, — сказал он, — предупреждаю». Кого — его? Яна, что ли? «Испугались тебя, — сказала она, — проваливай». «А кто тебя трахать будет? — спросил он. — Не я, а кто?» «Проваливай! — закричала она, забыв про всякую осторожность. — Пошел вон, я кому сказала!» «Ну, считай, что ты его своими руками похоронила, девочка, — сказал он. — Будешь жалеть, учти!» И она испугалась, испугалась! Я была права, я же чувствовала, что она попала к уголовникам! Она вдруг сказала просительно: «Я надеюсь, ты шутишь?» «Это ты себя спроси, — ответил сиамец. — Шучу я или взаправду». «Я надеюсь, ты его не тронешь?» «Еще как трону! — сказал он. — Не сомневайтесь». «Но он же тебе друг!» — завопила она. «Ладно, — сказал он, — я тебя предупредил».

И ушел. Слышу — дверь хлопнула. Она закрылась в детской, ни звука. Я решила «проснуться», вышла, зеваю. Страшно мне, сил нет, кричать хочется. Постучалась к ней. Ни звука. Открываю дверь, она сидит перед зеркалом, красится. Уже одетая, в каком-то синем джинсовом сарафане.

— Ты уходишь? — спрашиваю я.

Она повернула голову. На лице густой слой белого грима, губы замазаны чем-то коричневым. Я вскрикнула. Не ее лицо, вампира.

— Слушай, — говорит она, — мама, слушай. Ты это пошутила, да? Про дачу?

О, вот оно! Ей нужны деньги! Она же без копейки, а тут этот кошмар! Ян, угрозы, наркота! Но ведь и мне нужны деньги! На того, брошенного, больного ребенка! Я сперва думала разыграть их с дачей, пообещать, чтобы только Феликс сказал мне, где сын, поманить, но не выполнить, но теперь поняла, что не имею на это права. Не смею я ее дурить, когда она на самом краю, когда у нее лицо вампира. Но несчастного вампира, дикого, глупого! Ребенок мой в вампировой маске!

— Я не шутила, — сказала я, — я тебе помогу, только обещай мне...

— Что? — вскинулась она. — Что «обещай»?

— Ты их выгонишь всех: и волосатого, и этого... Ты выгонишь их всех и останешься со мной и с...

Прикусила язык. Чуть было не произнесла, идиотка!

— Мама, — сказала она хрипло, — мне плохо. Мне очень нужны деньги. Продай дачу.

— Хорошо, хорошо, — заторопилась я, — это мы решили! Я хочу, чтобы твой отец этим занялся завтра же, я написала ему доверенность.

— А все остальное приложится, — сказала она, — мне нужны деньги, иначе... Иначе не знаю что...

И тут же она взглянула на меня подозрительно. Я увидела, как в глазах ее появился вопрос, потом сомнение, потом — пустота.

— Тебе пора таблетку пить, — сказала она брезгливо, — подожди, я тебе дам.

Вспомнила, что на идиотку-мать нельзя полагаться! Дура! А кто у тебя есть, кроме матери? И у тебя, и у твоего брата?

Я выплюнула таблетку, она не заметила, конечно.

— Покажи мне доверенность,— сказала она.

Я показала.

— Ты можешь дать ее мне, я сделаю копию? — спросила она осторожно.

Они у меня в руках! Они оба: и Нюра, и Феликс! Эти пятьдесят тысяч (дача меньше не стоит, прекрасная дача!), даже, может быть, больше, а они знают, что я никогда не цеплялась за деньги. Что я отдам — отдам, тридцать, сорок тысяч отдам им обоим и не оглянусь! Ах, как просто! Вот вы и попались! Как я раньше-то не догадалась, что за козырь у меня в руках!

21 июля. Я не притрагивалась к этой тетрадке тринадцать дней. Голова, но лучше. Не могу глотать, спазмы. Хорошо, что не надо есть. Насильно — не заставят, не буду, не могу. Я уйду. Ах, если бы это было так просто: ушла — и все. Ушла — и исчезла. А ведь тут-то только и начнется. Там, у ЕГО престола, меня ждет суд. Я к этому не готова, хочу еще побыть здесь.

Но хватит, хватит, пора.

Что я делаю? Зачем пишу? Допишу — и начну собираться. Почему мне хочется дописать? Кому я пишу? Душе, частью которой стану? Нет, другое что-то. Я хочу помочь. Я чувствую: помочь хочу, помочь. Сыну своему, дочери своей. Они — маленькие, слабые, им не справиться. Я помогу, допишу, договорю.

Тринадцать дней назад умер мой Троль. Вот и произнесла. Стало быть, приняла и поняла. А то один туман был во мне. Как вспомню, что он умер, так меня заволакивало, и сразу — эта боль. Через всю голову. Троль был моим последним детенышем. Я принесла его домой десять лет назад. Комочек шерсти, пахнувший сиренью. Да, сиренью. Я прижимала его к лицу, я помню этот запах. Сиренью и кислым молоком. Он был со мной все эти десять лет и любил меня больше всех на свете. Стало быть, не смею я жаловаться на нехватку любви. Не смею я никого укорять. Был Троль, любивший меня каждую минуту. Сколько минут пробежало за десять лет? Много! Вот сколько любви выпало мне. Все сбылось, все я получила.

Ночью, тринадцать дней назад, он подполз к моему изголовью и заскулил. Я не поняла, что с ним. Тогда он начал лизать мою голову, и боль, мучившая меня весь день, почти ушла. Но он опять заскулил, и я зажгла свет, чтобы посмотреть, что с ним. Он дрожал крупной тяжелой дрожью и прижимался мордой к моим рукам. Он надеялся, что я помогу ему.

— Хочешь пить? — спросила я.

И тут его вырвало прямо на мою постель. Он ужаснулся этому, он подумал, что я буду ругать его. Он еще успел ЛЮБИТЬ меня и тогда, когда пришел ко мне умирать, он успел испугаться, что огорчил меня! Собака моя. Родная собака моя, вернись ко мне. Ах, Господи, что я пишу? Его вырвало еще раз — чем-то желтым, и он начал ловить воздух открытым ртом и хрипеть. Тогда я бросилась к Нюре, распахнула дверь в ее комнату. Было очень душно, и я увидела их обоих — голых, спящих спинами друг к другу. Мне показалось, что теперь у них обоих такие же белые, мертвые лица, как у Нюры было днем, когда она просила меня продать дачу. Я закричала, и они вскочили.

— Иди сюда! — кричала я и цеплялась за них, горячих и голых, не проснувшихся до конца.— Скорее!

Ян завернулся в простыню, а она так и выскочила, не прикрывшись. Троль хрипел на ковре в моей комнате, изо рта его ползла пена.

— Дай воды,— сказала Нюра,— немедленно воды дай!

Ян принес воды, и они начали насильно поить его. Но он не мог пить, все выливалось. Тогда Нюра побежала куда-то звонить и стала объяснять по телефону, что у нас умирает собака. А я лежала рядом с ним на полу, и прижимала его к себе, и целовала его. И — вот, чего я никогда не забуду: он лизал мои руки. Хрипел, захлебывался, лапы дрожали, но продолжал горячим своим языком лизать мне руки, потому что всё еще чувствовал меня

и благодарил меня за то, что мы с ним прожили. Собака моя. Вернись ко мне, вернись ко мне, вернись ко мне. Не знаю, сколько прошло времени, час, может быть, или двадцать минут, не знаю. Приехала ветеринарная «неотложка». Нюра сказала, что это она упросила, потому что «неотложка» почти и не выезжает на вызовы, у них чего-то там нет — людей, бензина, не знаю. Они приехали и оттащили меня от него. Но он был теплым, он еще дышал!

Вижу все это, вижу. Он лежит — лапы вздрагивают, зрачки закачены, и на глазах моих становится все меньше и меньше, он уходит от меня! Исчезает! Врачиха в балахоне, сером или черном, как инквизитор, стоит на коленях и засовывает ему в рот трубку. Рядом Нюра и Ян, завернутые в купальные простыни. Два привидения. Держат меня за руки, хотя я не вырываюсь, я не вырываюсь, я просто прошу, чтобы врачиха перестала засовывать эту трубку в него, не надо его мучить, не надо. Что вы с ним делаете, оставьте его, я лягу рядом, прижму его к себе, мы заснем, отпустите. Потом черная поднялась и обернулась к двери. Вошли двое помощников с большим мешком. Да, синим, большим. И они взяли его и засунули в этот мешок. Я кричала, да, я помню. Я кричала, а Нюра зажимала мне рот, плакала:

— Мамочка, мамочка, не надо! Мамочка!

Они унесли его, черная похлопала меня по плечу и оставила в столовой какую-то бумагу. Зачем я все это так запомнила? Его унесли. Вернись ко мне, вернись ко мне. Деточка моя, деточка моя родная, вернись ко мне.

Тринадцать дней прошло. Я много думала, я все время лежала и думала. Нюра сидела у меня в ногах и рыдала. Что она рыдает так жадно? Словно дорвалась. Ян ушел. Сиамец не появляется. Я спросила, где они все. Она оскалилась, как ведьма, махнула рукой. Они ее выпотрошили, мою дочку, они ее выпили, обескровили. А мама твоя уходит, девочка, мама кончилась. Я была бы рада остаться, но чувствую — не могу. Пора мне. Так тихо у нас в доме без Троля. Тихо, беззвучно, телефон молчит, за окном — дождь и ветер, темно, сумрачно. Какое дождливое выдалось лето! Нюра принесла клубнику, попыталась накормить меня насильно. Я не стала есть, не могу. Посиди со мной. Вчера я видела сквозь сон, что приходил Феликс. Потоптался надо мной, потом сказал:

— Обещали через пару недель...

О, надо торопиться! Что-то ему обещали через пару недель! Что-то он предпримет по моему поводу! Ухожу. Моя дочка осиротеет, а мой сын так и не встретится с матерью. Подожди, Наталья, подожди. Ночью страшно важная мысль пришла мне в голову, самая важная, и надо напрячься, вспомнить ее и записать. Что это было?

Да, вот что: я наказана тем, что по сей день не знаю, где мой сын и что с ним. Но я заслужила это наказание. Я его не хотела, сына. Я все время лгала. Мальчика своего я не хотела. Я испугалась беременности, я испугалась — избалованная идиотка — своего собственного ребенка, мне нравилось играть в куклы. Феликс повез меня на аборт. У меня была записка к главврачу гинекологического отделения одной больницы, не помню номера, где-то на Войковской, и конверт с деньгами в сумке, и зубная щетка, потому что после аборта я должна была провести в больнице ночь. Это было в декабре, до Нового года. Мы шли по аллее больничного парка ранним утром, часов в восемь. Было темно и холодно, и я не догадывалась, что иду убивать, и мальчик мой не знал, что я задумала и куда я так тороплюсь. Или он знал? Ах, как страшно! Наверное, он плакал и просил меня не делать этого, а я скользила по снегу, вцепившись в руку Феликса, и ничего не слышала, торопилась, торопилась. Что он чувствовал тогда, мальчик мой? Что он думал тогда обо мне, своей матери? Вдруг пошел снег. Феликс сказал: «Беда, барин, буран». Мы искали корпус номер восемь, но не могли его найти. Никого не было в больничном парке, только два раза за голыми деревьями мелькнула

чья-то фигура в сером халате поверх пальто, толкающая перед собой нагруженную тележку. Что было в тележке, не знаю. Мертвый, которого перевозили в морг, котел с кашей? Не знаю, не знаю. Мы так долго искали корпус номер восемь и так заочечнели, что я вдруг сказала Феликсу: «Знаешь что? Хватит. Поехали домой». Он уставился на меня, не понял. Я ли это произнесла? Не знаю. Хранитель мой говорил моим голосом. Я вдруг стала непреклонной, не похожей на себя. Снег шел все сильнее и сильнее, уже ничего не было видно — ни корпусов, ни деревьев, одно белое сплошное месиво, словно там, наверху, делали все, чтобы я не нашла корпус номер восемь, не выполнила того, что хотела. «Хватит,— повторила я,— я передумала. Мы оставляем ребенка».

Мы вышли из парка, поймали такси и вернулись домой. Я успокоилась и больше никогда не вспоминала ни это утро, ни этот снег, ни фигуру в сером с нагруженной тележкой. А сейчас — вспомнила. Грех мой вернулся ко мне. Ничего случайного нет и не было. Бог лишил меня сына, потому что я не хотела его. Я сама навлекла на себя горе.

...если ты жив, дитя мое, прости меня за то, что я не сумела найти и спасти тебя. Женщина на могиле «врача-человека» пришла слишком поздно, у меня не хватило сил. Если же ты мертв, дитя мое, прими меня к себе, даже если грехи будут тянуть меня во тьму тьмушую. Возьми меня в свой свет, дитя мое, пожалей меня.

Я уйду. Нюра остается одна, в пустой квартире, без родителей и без собаки. Я буду помогать ей **оттуда** так же, как мои родные помогали мне. Я ее не оставлю.



Стихи после стихов

* * *

Стихи после стихов и на стихи похожи
и не похожи на стихи
от них исходит запах тертой кожи
нагретого металла — ну так что же

и вовсе не писать? Подохнешь от тоски!
Поставят камень с надписью: «Прохожий,
остановись у гробовой доски,
она гнилая вся, и к обращению «Боже»

ни крепкой рифмы нет, ни мастерской руки
ни рта раскрытого — прикрой хотя бы веки».
Вдали шумят чеченцы и ацтеки

а здесь бело и тихо, как в аптеке —
то звякнут о прилавок пузырьки,
то выскользнет монетка и покатит

по кафелю — куда?! Легла себе орлом
в углу где слава где победный гром
гремит в стихах и кстати и некстати

Хоть бы кто

хоть бы кто-нибудь хороший
к нам пришел бы и сказал:
жить не страшно жизнь короче
приснувшего от зеркал

зайца солнечного... что ж ты
поворачиваешь вспять?
Взяли банки взяли почты
взят вокзал — чего с них взять?

Пусть берут-перебирают
да только окна отворят —
сразу арфы заиграют
и гитары зазвенят

Хоть бы кто-нибудь

хоть бы кто-нибудь хороший
к нам пришел бы и сказал:
Жить не страшно... Жизнь, короче,
не дорога но вокзал

место где мы бомжевали
между теток меж колонн
музыка полуживая
в репродукторе колом

вставшая. Но — время! Время
устремляется стремглав
на разъезд забытый всеми
там один лишь величав

памятник под простынею —
то ли не открыт пока
то ли тучей снеговою
схвачен, взят под облака

и подлунные платформы
подле цоколя его
так пустынно так просторны
так лежат ни для кого

что продрогший страж порядка
под позорным фонарьком
обнаружится как взятка
всунутая нам тайком

Хоть бы кто-нибудь хороший

хоть бы кто-нибудь хороший
к нам пришел бы от господ
по его по сытой роже
кто псалтири не прочтет?

он бы стал перед народом
как бы ходит по водам
и приказывает водам
и пеняет неводам

я в толпе его улова
как бы на полях письма
неразборчивое слово
стих от первого псалма

о собраньи нечестивых
о блаженном мужике
в пальмах фигах и в оливах
в лоне правды как в мешке

Звезды — не предел

в темноте развороченной светом
разве нищенствуют глаза
разве голыми бродят по скользким предметам
натыкаясь на лица углы, образа

выпадая в мерцанье, какое не враз опознаем...
с опозданием спохватиться: трассер, пунктир световой
от зенитных разрывов над косовским краем
слава Богу не прямо над головой

А в ушах-то звенит... И в разрывах далекой сирены
как бы рэкет небесный запел
он берет за грудки он бросает затылком об стены —
только звезды из глаз. Но и звезды еще не предел

В руинах Гатчины

гатчина. мальтийская разруха.
было чудо — с юга дохлестнулись
волны каменные рыцарского духа
до болотных этих улиц

но тогда не зря, не зря его душили:
в тесной клетке вдоха крепостного
не хватило места средиземной шири
острову Меча и Слова

Балканский тополь

Балканский тополь. Карточный Восток
За горизонтом — взорванная впрок
Сначала церковь а затем мечеть —
Сейчас там госпиталь, пекарня, время печь
Армейский хлеб из кукурузной шелухи —
И в общем перспективы широки
А среди прочего не так уж там нелеп
Американец пишуший стихи
Суфийские — о Мельнице Судеб
Ты спрашиваешь: чья это земля?
Чей зелен виноград? чей горько-солон хлеб? —
Она ответит, чуть пошевеля
Плечом упертым в берега Босфора
Землетрясение — побочное дитя,
Резни и Распри, человеческого спора
О Боге и земле... Ребенок-щель
Этническую карусель
Он обожает и глазенками блестя
Следит как рушатся казармы и опоры
Как накренился тополь-минарет
Над пропастью неотомщенных лет

Первый гром

*Когда весенний первый гром,
Как бы резвяся и играя...*

Ф. Т.

все эти ваши тонкости и штучки
ну что они простому человеку
и можно ли рыдать при виде тучки
жемчужной отползающей за речку

когда из-за реки такие звуки —
тяжелый рок утюжит нашу скуку
и первый гром — как выстрел из базуки
отдача в грудь, чужая сила — в руку

Утро памяти

воды родниковой прозрачная горсть
над постелью прибита карта раннего утра
и сверкает шляпкой серебряный гвоздь
как четверичная драхма которая смутно
помнит черты богини, в кружке водяном
отраженные... отчего-то все реже
вспоминается греции явственно-режущий Дом
раннего детства храм, корабельная радость прибрежий

с памятью, не отягченной ничем,
спать-то сладко — а тут проснешься будто впервые:
радость какая! ни прошлого ни философских систем
разве что стены парят голубые
и ничего не понять и приходится вновь
оживлять пространство убитое за ночь
изобретать ремесла, топтать виноград, молодое вино
в удивленьи пригубить — оно действительно пьяно!

а потом до вечера как похмельный сократ
видеть вещей течение в сомнительном свете —
пока не заснешь и ясности не возвратят,
сомкнувшись, тяжелые веки

Петербургская святая

*И даже в имени Хвальинского
Живет доньне казнь Волынского.
В. Х.*

в преображенском — на голое тело — мундире
простоволоса душа но чего-то невнятного просит
то ли запойной игры на псалтири
то ли похмельную корочку кто сердобольный подбросит

тем и сыта и даже соседство Сытного рынка
не угнетает хотя очевидцы-то живы
помнят как лихо как с хрустом ломалась тростинка
жизни волынской — и разве что пес шелудивый
тихо скулил из-под новенького помоста
в море немотства

что ж удивляться когда в разговоре житейском
голос ей изменяет — звучит и звеняще и тонко
если, босая
полено прижав как ребенка
нянчит и согревает
на холоде адмиралтейском

Пирь в рай

Сантехники переодеваются в ванной, стягивают яркие майки с американскими орлами и предстают облаченными в негнущиеся брезентовые робы. Теперь их никто не называет водопроводчиками. Они — ангелы, в худшем случае — ангелоиды, это их профессиональное свойство. Они — самые необходимые сегодня существа. Перед ними заискивают, им приносят жертвы, подозреваю, что кое-кто, втайне,— человеческие. Всюду царит ремонтная лихорадка, пышет июльская духовка. Все мои знакомые почему-то сразу и вдруг взялись перестраивать жилье. Рушатся и воздвигаются стены. Пыль, мел, известка, куски гипса. Первые ласточки гражданского мира и грядущего благоденствия. Может быть, правда, уже только в той — в другой жизни

на фоне гор — текстильных гор Монтаны
сантехники пируют на траве
с газовщиками и шумят фонтаны
и бьют ключи и бродит в голове
первоначальный вешний хмель
и тяжелеет воздух полупьяный
как на цветке раскачиваясь шмель

вот рай наверное куда простые двери
не то чтобы всегда открыты
но аккуратно снятые с петель
лежат себе как памятные плиты
на кладбище где каждому — по вере
где люди краны звери — не отсель
и даже Пятница красна как Воскресенье

Будущее будет нашим

сколько неба в недрах башен
на сквозящем этаже!
будущее будет нашим
наше может быть уже

настоящее — но знаешь
не теплее от того
что в историю влипаешь
в зябнущее вещество

где от ветра золотого
пальцы синие насквозь
даже и немое слово
мне сложить не удалось

Текст

Текст говоривший мне: умри! —
Так тяжело теперь, так жалко умирает
А я живу еще. Я у него внутри
Живу и радуюсь — пока редактор правит,
Заглядывая в словари,
Нас не уравненных со Словом
Ни в пораженьи ни в правах...

Текст, притворявшийся готовым,
Законченным, на головах
Покоящимся до скончания века,—
Теперь поплыл... На берегах его
Что ни руины — то библиотека
Что ни жилище — пусто, никого

Народ сбежал за бессловесным хлебом
За горизонт где сходится земля —
Пусть не с тем, седьмым, последним небом —
Но с чем-то вроде задника на сцене:
Аляповато-яркая заря
Холодные косые тени...
Зато накормят и не спросят ни рубля

Ни даже полкопеечной цитаты
Из текста умирающего в нас
Как безымянные солдаты —
Под легкий веселящий газ

Миллениум на пересменке

кто пил из черепа отца
кто ел с чужой тарелки
но тоже не терял лица
не портил посиделки

и даже кто не ел не пил
а просто был допущен
стоять на стреме у перил
да кланяться идущим

на пир ли с пира ли где спирт
с бандитом жрал есенин
где мордою в салате спит
испытанный хозяин —

все, провожая каждый год
в небытие, к монахам,
как радовались мы что вот
живем под новым знаком

год уходил а век торчал
с новорожденным студнем
в обнимку, и мороз крепчал
и штамп стучал по судьбам

он пропуск выписал себе
в тысячелетье третье
по блату, по глухой алчбе
по страсти к малым детям

и, думаешь, после всего
что он сплясал на цырлах
отпустят беленьким его
с переговоров мирных?



К о р с а р

ПОВЕСТЬ

I

Самая обыкновенная жизнь полна необъяснимых тайн, и, наоборот, весьма неправдоподобные приключения могут на поверку оказаться довольно обычным делом. Старая, как мир, история путешествия, всякий раз новая, всякий раз одна и та же, заключает в себе ровно столько же неожиданного, сколько и тривиального: всё зависит от того, как на нее посмотреть. И, конечно, от того, кто ее рассказывает.

Мы же, со своей стороны, постараемся не злоупотреблять описаниями заморских чудес, не расцвечивать небылицами наш рассказ, но вести его с подобающей осмотрительностью, не спеша, как штурман ведет корабль по извилистому фарватеру.

Фрахтовый пароходик, перевозящий пассажиров, служит единственным средством сообщения между островком с красиво звучащим для европейского уха названием и главным, или Большим, островом, который не зря величают материком: он принадлежит к числу обширнейших в Южном полушарии. Желающим посетить островок приходится иногда несколько дней ожидать рейса. К счастью, это бывает нечасто, администрация отеля обыкновенно ставит в известность капитана (если он не в запое) о том, что ожидается прибытие туристов. Хотя, впрочем, и туристы здесь редкость.

Ранним утром рыбаки подплывают к низкому берегу в своих плоских лодках-однодерёвках, тащат по песку корзины со сверкающей на солнце добычей. Дети собирают на отмелях раков и ракушки, пока не начнет припекать и пляж не опустеет. Постепенно всё замирает. Солнце пылает с высот. Часам к пяти пополудни улицы городка заполняются людьми. Стройные черноволосые женщины с глазами, как сливы, в пестрых одеждах, встречают друг друга у дверей лавок и лавчонок. Огромный, напоминающий лоскутное одеяло стяг республики развевается над дворцом правителя. Столб дыма стоит вдали за бурыми холмами: это крестьяне сжигают остатки девственного леса. Таковы беглые наблюдения местной жизни, которые можно сделать в ожидании парохода. Самый же путь к островку через пролив занимает когда два, когда три часа, смотря по состоянию моря.

Несколько слов об островке: в путеводителях о нем приводятся противоречивые сведения либо он вовсе не упомянут. Вопреки географии, по причинам скорее ведомственным, почта на остров идет круглым путем через Реюньон и доходит из Европы за несколько месяцев, если вообще доходит. Похоже, что не все почтовые отделения осведомлены о его существовании.

Имя, которое дали этому клочку земли мореплаватели, Sancta Hilaria, в честь никому не известной святой, не удержалось. К моменту высадки португальцев (за ними последовали арабы, англичане, последние 250 лет островком владела Франция) здесь, вероятно, существовало туземное население. О его судьбе нет достоверных сведений. Следы языка аборигенов сохранились, как это часто бывает, в топонимике — названиях некоторых вершин, горных речек и т. п.; такого же происхождения, по-видимому, и второе, ставшее ныне офици-

альным наименованием острова, которое можно перевести как Жемчужный, Гиацинтовый, Чешуйчатый, а также Земля Зуба; точный смысл неизвестен, возможно, у него и не было точного смысла. Взобравшись на гору, гость, прибывший на отдых, нашел, что островок в самом деле имеет форму клыка, хотя его можно сравнить и с морским животным, например, креветкой. Пожалуй, ближе всего остров напоминал человеческое тело, свернувшуюся калачиком женщину. Но это наблюдение было сделано позже. А пока что курортник трясся в старом джипе с начертанным на дверце названием гостиницы, рядом со смуглым водителем. Ехали среди зарослей злака, похожего на кукурузу. «Sikr (сахар)», — сказал шофер по-креольски; пассажир, успевший в дороге приобрести с помощью туристических брошюр кое-какие познания в этом языке, догадался, что это сахарный тростник.

Затем снова показалась бухта, некоторое время джип тащился под сенью могучих кокосовых пальм вдоль пустынного, уходящего к горизонту пляжа. Не доехав до рыбацкой деревни, свернули в пальмовый лес. Мотор ревел, шофер бодро крутил баранку, извилистая дорога, усеянная твердыми, как камень, комьями красно-бурой земли, круто шла вверх, над верхушками деревьев на бледно-голубом небе рисовались туманные горы. Это сейчас, думал курортник, глина затвердела, а что будет, когда пойдут дожди? Что-то приторно-сладкое, вялое и мечтательное, запах цветов или самой земли, витало в воздухе. Этим пока и ограничивалась экзотика, но в конце концов всякая экзотика — вещь обоюдная. Он сам был экзотическим пришельцем на острове.

Курортника звали... позвольте, как же его звали? Кроме администратора гостиницы, никто так и не научился правильно произносить его имя. К тому же, по сведениям, которые удалось собрать, оно не было его настоящим именем. Теперь это имя стоит на круглом камне, какие встречаются на погостах в этой части океана, — если можно назвать погостом место, где чаще всего никто не лежит, — но опять-таки нужно сделать поправку на местный акцент и более чем сомнительную грамотность того, кто начертал имя и возраст усопшего. Надпись сделана краской, которую изготавливают из панциря буро-го скорпиона, чрезвычайно опасного; к счастью, это довольно редкий зверь.

Вообще что касается членистоногих (раз уж зашла об этом речь), как и некоторых других обитателей Жемчужного островка, то предлагались различные объяснения, почему многие из этих существ нигде больше не встречаются, даже на соседнем Большом острове. Например, считают, что много тысячелетий тому назад, когда взбунтовались воды (местная версия легенды о Великом потопе), вся эта живность нашла приют в лесах и на скалах маленького острова, который одиноко возвышался над гладью океана, поглотившего и Большой остров, и разбросанные вокруг коралловые рифы, и мелкие архипелаги. Но хватит отвлекаться. Пересказывание различных преданий (как уже говорилось, путеводители противоречат друг другу) увело бы нас далеко. Оно похоже на перелистывание растрепанной книги без начала и конца. Или на блуждание в зарослях, между которыми пробирался, приближаясь к месту назначения, джип со смуглым лиловоглазым шофером и седоком в соломенной шляпе. Остров только казался таким маленьким.

Несколько времени тому назад непредвиденное событие радикально изменило жизнь приезжего. Он получил письмо из провинции от бездетной тетки, которую никогда не любил, от которой много лет не имел вестей. Она известила его о своем решении; он не успел как следует поразмыслить над этой новостью, как вслед за письмом пришла телеграмма.

Первая мысль его была, что поездка в бретонскую глушь обойдется слишком дорого. Отказаться от привычек скромного существования так же трудно, как привыкнуть к роскошной жизни. Да и вряд ли он успел бы на похороны. Получив наследство, он по-прежнему жил в холостяцкой берлоге, в доме без лифта, видевшем Великую революцию. Но что-то сместилось, вроде того как цветные стеклышки перемещаются при повороте калейдоскопа, что-то было вырвано из души, и в ней образовалось полое пространство. Перемена существования,

даже счастливая, всегда оставляет чувство пустоты. Можно было бы сказать, что свалившееся на него состояние, не такое уж большое, но в сравнении с его доходами огромное, обернулось болезнью, не предусмотренной медицинской классификацией, — и, наоборот, можно было сказать, что он выздоровел.

Выздоровел — от чего? От жизни; другой ответ подыскать невозможно. Он почувствовал себя свободным, вернее, впервые в жизни понял, что это значит — быть свободным. словно вместе с уведомлением о смерти богатой родственницы в телеграмме стояло еще кое-что, а именно, что отныне ничто не имеет цены. Просыпаясь утром, он думал о том, что мог бы вообще не вставать. Днем, сидя в своем кабинете (ибо он все еще ходил на службу), он представлял себе, как он встанет из-за стола, и уйдет, и больше не вернется. Свобода состоит в том, что ничто не заслуживает внимания, так как ничто не имеет цены. Он сам больше не имеет цены — другими словами, он вознесен над шкалой ценностей. Человек чувствует себя ничьим — вот что такое свобода.

С этой минуты уже не важно, кем он был, не важно, где он жил. Прошлое не имеет значения. Хотя он всё еще притворялся перед самим собой, будто ничего не изменилось, привычно сэкономил на еде, по-прежнему как ни в чем не бывало перебрасываясь с коллегами словечком о разных пустяках и делал вид, что его интересуют их новости, что его заботят карьера и пенсия, хотя всё это продолжалось и он всё еще медлил на краю пропасти, которая называется свободой, на самом деле его уже ничто не интересовало: ни карьера, ни зарплата, ни служебные интриги, ни знакомые женщины, ни родственники, ни друзья. Баста — он свободен. Он шагает по улице, механически читает вывески, поглядывает на витрины. И думает: а мне всё это ни к чему. У меня на счете шестизначное число. Самое лучшее — вообще не вставать с постели. Вообще не выходить из дому. Или уехать — все равно куда.

II

Быть ничьим, думал курортник, глядя на показавшуюся над зеленой чащей башенку с флагом, не принадлежать ни к какому народу, не состоять ни в какой партии, не молиться ничьему богу; быть ничьим — это значит не числиться ни в чьих рядах и не маршировать ни в каких колоннах. Быть самим собой, думал он, только самим собой. Это то же самое, что быть никем: прочерк во всех пунктах анкеты. Подъехав ближе, он увидел, что на черном флаге гостиницы вышит стилизованный белый череп, под черепом — скрещенные кости.

Во дворе стояла пушка. Администратор, с черной шелковой повязкой на глазу, встретил курортника на пороге отеля. Администратор был малорослый, смуглый и широколицый человек, весьма модно одетый, с «кисой» на шее, с платочком в кармане пиджака. Он застыл в изящном поклоне, раскрыв объятия, между тем как служитель гостиницы, тоже с «кисой», и водитель джипа внесли в дом чемоданы гостя. Чемоданов было всего два, но и служитель, и шофер считывали на персональные чаевые. «Добро пожаловать на Святую Иларию!» — воскликнул администратор.

Приезжий выразил удивление, заметив, что такое название вышло из употребления. «Верно, — сказал администратор, — и мало кому оно вообще известно. Но я вижу, — добавил он, — что вы основательно подготовились к приезду». Курортник отвечал, что он проштудировал путеводитель. «Мои предки, — возразил администратор, положив перед гостем перо и придвинув чернильницу, — всегда называли свой остров только так».

«Свой — вы говорите: свой?» — рассеянно спросил гость, пробегая глазами формуляр. Он машинально взял ручку, взглянул на нее с некоторым недоумением и, окунув перо в чернила, принялся за дело.

Администратор снял со здорового глаза пиратскую повязку в знак того, что церемониал встречи исчерпан; после чего была произнесена речь на языке, который с некоторой натяжкой можно было считать французским.

«Да, ваша информация правильна, перед вами действительно бывшая цитадель пиратов. На этом острове они отдыхали от трудов... Вы удивлены, вы спросите: от каких трудов? О, пираты, уверяю вас, не бездельники!.. Правда, от крепости остались только стены. Это было двести лет назад, то есть я хочу сказать, двадцать лет. Ровно двадцать лет, как я выкупил участок. Земля моих предков! Меня отговаривали. Никто не мог понять, какие чувства мною руководили. А главное, главное — это я вам скажу по секрету — никто до сих пор не верит. Там, в Европе, все думают, что сокровища флибустьеров — это легенда. А я разыскал. Да, на дне бухты. А откуда же, вы думаете, взялись средства? Какой банк даст кредит под такое предприятие? Я всё вложил в эту гостиницу. Расспросил стариков. Южная оконечность острова — лучшее место в климатическом отношении. О, я уверен, что вы будете чувствовать себя у нас превосходно. Вам не захочется уезжать!»

Как уже было сказано, администратор гостиницы говорил с ошибками — воспроизводить их в переводе нет смысла, — тем не менее это был французский язык; во всяком случае, не креольский. Заметим, что креольский язык — некоторые не признают за ним этого статуса, называют его диалектом или даже говорят о двух диалектах, вест-индском и ост-индском, — заметим, что креольский, точнее, франко-креольский язык, который европейцу кажется примитивным жаргоном, кое-как приспособленным для общения туземцев с колонизаторами, в действительности представляет собой особый и полноценный язык с собственной грамматикой, правда, пока еще не кодифицированной; живой, гибкий, женственно-пластичный язык, без усилий всасывающий английские, французские, индийские слова; язык, который лингвист отнес бы к романской группе, отнюдь не считая его искаженным французским. И кто знает, быть может, креольский язык — это будущее французского языка, подобно тому как французский стал будущим великой умолкнувшей речи — латыни.

Говорят, что колонизаторы в свое время приложили старания к тому, чтобы воспрепятствовать невольникам, привезенным для заготовки черного дерева, общаться друг с другом на родном наречии. Их расселили так, чтобы не только одноплеменники, но и родственники не жили сообща. Осуществить это в те далекие времена было тем проще, что Чешуйчатый островок казался, а возможно, и был протяженней, чем ныне: девственная земля всегда обширней обжитой. Единственным средством общения оставался язык господ. Следствием столь предусмотрительной политики было чрезвычайно интересное с лингвистической точки зрения приспособление французского языка к образу мыслей эбеновых рабов, к унаследованным от предков мыслительным конструкциям и грамматическим формам былых наречий. Душа исчезнувшего языка живет в креольском, как души умерших живут — по местным поверьям — в их потомках.

«Надеюсь, вы привезли с собой всё необходимое, — продолжал администратор. — Как указано в нашем проспекте. У нас пока еще немного гостей. Я считаю это большой удачей. Для вас, разумеется. Что может быть ужасней этих заваленных потными телами пляжей, где — как это говорится в Писании? — сыну человеческому негде голову преклонить. Воистину негде! Ведь в наше время — впрочем, кому я это рассказываю? — в наше время буквально всё и везде затурищено!»

Произнеся со вкусом это слово (для которого мы постарались отыскать русский эквивалент), администратор отеля остановился. «Но позвольте... — пролепетал он, испуганно следя за рукой курортника, которая делала размашистые штрихи и небрежно подчеркивала “нет” везде, где надо было ответить “да” или “нет”. — Что вы делаете?»

«Я отвечаю на вопросы».

«Да, но...»

Гость покосился на администратора, отпил из стакана и продолжал заполнять формуляр.

«Но уж эта-то графа, я надеюсь...»

Гость перечеркнул целую страницу громадной буквой Z.

«Я извиняюсь!» — вскричал администратор.

Курортник что называется и ухом не повел.

«Порядок есть порядок, — меланхолически заметил администратор. — Или вы иного мнения?»

«О нет, что вы!» — возразил курортник.

«Н-да... У вас, можно сказать, идеальная анкета», — сказал администратор, не скрывая своего разочарования. Правда, впоследствии оказалось, что она была не лишена известных преимуществ. Но не стоит забегать вперед. Вздыхнув, администратор заметил, что вынужден напомнить о справках. Сделаны ли прививки? Против бильгарциоза, малярии, прекрасно. Сонная болезнь; тоже не помешает. Месье, наверное, не представляет себе, что такое сонная болезнь.

«Могу вас успокоить: я тоже не представляю. Ни одного случая, сколько я здесь живу. Справка об отсутствии СПИДа у вас есть? Как давно выдана? Виза вам как французскому гражданину не нужна, но с другой стороны... Нет, нет, заграничный паспорт меня не интересует, — прибавил он поспешно, к удовлетворению путешественника, который назвал себя в анкете вымышленным именем, сам не зная почему. — Я вам верю... Я хотел только спросить: не было ли у вас неприятностей на материке, при посадке на пароход? Ваше счастье. Усердие этих чиновников порой превосходит всякое воображение. И скажу откровенно: я даже рад. Благодаря этой бюрократии у нас ничего не случается. У нас нет преступности, этой чумы современного мира.

Мы, знаете ли, в особом положении. У нас не вполне определенный статус, это имеет свои преимущества. Могу сообщить вам по секрету, — зашептал он. — О нас там в Париже забыли. Забыли, ха-ха! У меня такое впечатление. Ничего удивительного: мало ли других дел? И к лучшему, уверяю вас. Parbleu! Формально мы относимся к Реюньону. То есть должны считаться заморским департаментом. Но сами понимаете: тут и французов-то настоящих нет. На материке, разумеется, не возражают, они считают, что мы относимся к ним. У них там какая-то собственная республика. Придумали себе гимн, герб... Можете себе представить. Еще заведут, чего доброго, собственную армию и полицию. Спрашивается: зачем? Кому нужна вся эта мишура, так называемая независимость? Только лишние заботы. Гм, покорнейше прошу извинить за нескромность: ваш банковский счет в порядке?.. Вопросов нет. Я занимаю вас своей болтовней, а вы, без сомнения, голодны. Я отнял у вас много времени. Вас удивляет, не правда ли, что в такой глуши, как наша, тоже существует бюрократия? Торжественно обещаю: это первый и последний раз, когда я мучаю вас формальностями. Ничего не поделаешь, я один, можно сказать, персонифицирую порядок. Я и владелец, я и бухгалтер, и кассир. Бесконечно доверяю вам, но порядок требует. Вынужден просить вас внести аванс. Предварительная плата за первые десять дней. О, я более чем уверен, что вы пробудете у нас дольше, я не сомневаюсь в том, что вам здесь понравится. Вам отведена лучшая комната, с балкона открывается сказочный вид. Ну-с, и последнее. На этой карточке перечислены виды услуг. Полупансион входит в стоимость отеля. Я имею в виду завтрак и ужин. Большинство наших гостей вообще не обедает, завтрак достаточно плотный, да и климат не располагает... Вам, вероятно, захочется днем отдохнуть. У нас обычно все соблюдают сиесту. Но если вы привыкли, можно получить обед на берегу, там есть ресторанчик рядом с деревней. Неплохая рыба и так далее. Советую вам заказывать без соли, не доверять повару. В наших широтах принято солить больше, чем вы привыкли. Здесь ведь даже фрукты солят. Зрелые манго с солью — советую попробовать. А как вы смотрите на яблочки любви? Petites pommes d'amour. Обязательно надо попробовать. Это такие томаты. Считается, что укрепляют мужскую силу... и форма, знаете ли, не случайная. Туземный фольклор. Хотя, впрочем, не стал бы вам особенно рекомендовать этот ресторан. Народ у нас бедный, грязновато. Я хочу сказать, если вы захотите получить обед в отеле, пожалуйста. Только отметьте в карточке. Это относится и к напиткам... Здесь предусмотрено — позвольте, что же здесь предусмотрено? Экскурсия в горы, катание по морю, осмотр отеля. А также специальный

вид обслуживания: надеюсь, вы меня понимаете. Кров и женщина — старинный обычай нашего острова. К завтраку вы опоздали, я распоряжусь, чтобы принесли в номер. Итак, — воскликнул администратор, поспешно натягивая черную повязку и вновь картинно раскрыв объятия, — разрешите мне еще раз приветствовать вас в этом гостеприимном доме, в этом земном раю, на берегах Святой Иларии!»

III

«Всё болтовня», — сказал курортник, входя в номер. Его чемоданы стояли посреди комнаты. Времени у них тут много, скучища, вот они и рады каждому новому человеку. Он жалел о том, что притащился сюда. Идея возникла в один скучный дождливый вечер, он увидел в газете фотографию, прочел статью, полную всяких небылиц. Девушка в bureau de voyages на улице Нотр-Дам-де-Назарет была вынуждена призвать из соседней комнаты на помощь заведующего, турист показал газету, причем заведующий осторожно выразил сомнение в подлинности фотографии. «Такие трюки нам известны», — сказал он. Листали справочники, водили пальцем по большому светящемуся глобусу, точно плыли на корабле. Трехмачтовый бриг «Антилопа» вышел в Южный океан.

«Нет такого океана, вы что-то путаете», — сказал заведующий бюро путешествий. Клиент напомнил, что так начинаются «Путешествия Гулливера, сначала судового врача, а затем капитана многих кораблей». — «Ну разве что путешествия Гулливера, — усмехнулся заведующий. — Где-то здесь, — бормотал он, — но где?» Девушка предложила поискать в Карибском море. «Да, но в газете...» — возразил клиент. Наконец, остров нашелся, он значился под другим названием. Сколько-то времени ушло на телефонные переговоры, попытки выяснить, есть ли там гостиница.

«Скоро будет двадцать лет, как я занимаю эту должность, и представьте себе, за всё время вы первый решили провести отпуск на этом острове, — заметил заведующий бюро. — Что ж, в добрый час. Или вы передумали?»

В самом деле, курортник засомневался, не оставить ли эту затею. Мир велик! Но почувствовал, что решение принято, и даже как будто не им самим. Словно он получил назначение. Словно там, на неведомом острове, его ждало сокровище. Были заказаны билеты, путеводители и проспект, тот самый, на который ссылался по прибытии гостя администратор-пират; проспект, кстати сказать, так и не пришел. Легкий бриз шевелил занавеску. Недели, размышлял курортник, оглядывая комнату, будет вполне достаточно. А там двинем еще куда-нибудь».

Он выглянул наружу: за стеклянной дверью находился балкон — бетонная плита и короткая приставная лестница, утонувшая в оранжево-сером песке. Сразу за домом начинался пляж. Темный стальной океан сверкал так, что больно было смотреть. Комната с выбеленными стенами гостю почти понравилась. Мебели не было. Для одежды была устроена ниша. Слева вдоль стены тянулся приступок, который мог служить столом или полкой, в уголке было сложено стопкой чистое постельное белье. Напротив, головой к стене, находилось ложе — широкое плоское возвышение, на котором лежали европейский матрац и валик. В небольшом углублении стояла лампа. На полу циновка. Он упал на матрац и заснул под шум моря.

День всё так же сиял и шевелилась занавеска, когда курортник открыл глаза. Смена географических поясов и знакомое путешествующим особое чувство невесомости во времени, похожее на физическую невесомость, сделали свое дело: он спал так крепко, что теперь ему казалось, будто он несколько минут назад вошел в номер. Зато беседа с администратором отступила куда-то далеко; да и вся долгая дорога: самолет, ожидание на Большом острове и переправа через пролив представлялись полуреальными. Гость увидел, что его чемоданы стоят в платяной нише, одежда висит на плечиках. Возле него на широком ложе разло-

жена пижама, приготовлены пляжные тапочки. Не забыты и очки для ныряния. С удивлением он обнаружил, что лежит на упругой, видимо резиновой, подушке в свежей крахмальной наволочке. Еще одна подушка лежала рядом. Он вскочил с постели, прислушался: в холле было тихо. И всё так же ухало, плескалось, чмокало и влажно шуршало снаружи, как будто кто-то без усталости полоскал белье.

Турист отправился на разведку, и каждое новое открытие подтверждало его догадку, что он единственный постоялец в отеле. На крыше, под волнующимся тентом, размещался ресторан. Судя по всему, он не работал. Холл был пуст, во дворе курортник погладил чугунную пушку по теплому стволу и вышел за ворота. Извилистая тропа среди зарослей бугенвиллеи вывела его снова на пляж, но довольно далеко от дома. Вокруг серебрился и темнел океан. Гость обернулся: башенка с черным флагом исчезла. Турист был один во всем мире.

Никакими словами не выразимый восторг одиночества, чувство свободы, счастья, тревоги! Он подумал, что никто не знает, куда он уехал: ни бывшие сослуживцы, ни те, кто по праву или обязанности родства известили его о кончине тетушки; случись с ним что-нибудь, его не сумели бы разыскать. Разве только в бюро путешесвий, жалкой конторе на улице Назаретской Божьей Матери, — как далеко все это отступило! — могли дать справку, да ведь и там, как выяснилось, не имели представления об этой крохотной земле. Само правительство, по уверению администратора, забыло об острове. Турист скрыл свое имя. Но кто его может хватиться? Кому ты нужен, спросил он себя, и рассмеялся. Если каждый имеет право на самоубийство, эту привилегию человека, которая ставит его выше богов, то кто посмеет лишить его права пропасть без вести? Ноги стали увязать в красно-буром песке, он опустилс я наземь и мог бы просидеть много часов, если бы не боязнь обгореть и внезапно пробудившийся голод...

Курортник долго спал и видел во сне облака, песок, пляшущие искры океана, трясся по окаменевшим глиняным колеям, разговаривал сам с собой или с шофером, который рассуждал о чем-то на креольском наречии; и, уже почти проснувшись, он догадался, что шофер говорит о сокровище на дне бухты и о том, что самые неправдоподобные события легко объяснимы, всё зависит от того, как на них посмотреть: объяснения важнее самих событий, потому что событие ставит тебя в тупик, а объяснение успокаивает. Несмотря на то, что курортник уже несколько дней находился на острове, он всё еще не мог преодолеть непривычную усталость, настигавшую его то и дело во время прогулок. Сказывалась перемена климата. На глубине локтя песок был уже не таким горячим, опустившись на колени, курортник вырыл яму и улегся там, как в прохладной могиле.

На обратном пути, в лесу, по странному совпадению ему повстречалось похоронное шествие. Он услышал монотонное пение, без конца повторялась одна и та же фраза, из-за угла дороги вышел темнолицый вожатый, весь в белом, он нес высокий тонкий крест с цветными лентами. Курортник где-то читал, что их должно быть столько, сколько лет было усопшему; на кресте развевались три ленточки. Позвякивал колокольчик. За священником шел, понурившись, молодой мужчина, босой, в колыхающихся бесформенных штанах до щиколоток, и нес на плече деревянный футляр, это был, очевидно, отец; сзади прилежно ступали крохотными шоколадными ступнями, опустив головы, одетые в белое женщины. Никто не плакал. В конце и несколько отстав от процессии, два подростка вели под руки древнюю сгорбленную старуху.

Администратор гостиницы утверждал, что ей не меньше ста двадцати лет. Все участники шествия, а может быть, и все деревенские жители были ее потомками. «Чрезвычайно редкий случай, что она вышла из дому, — сказал администратор, — вам повезло». Они сидели на крыше отеля за кокосовым пуншем. Курортник спросил, отчего умер мальчик. «От лихорадки; здесь особенно не впадают в причины. Врачей на острове нет, да и к чему здесь врач? А что касается кюре, если, конечно, его можно так назвать...» — «Но ведь здешние жители — католики», — заметил гость. «Конечно, конечно, — сказал хозяин отеля. Они помолчали, администратор добавил: — Есть один лекарь или, вернее, тонтон».

Курортник перевел стрелки перед посадкой на фрахтовый пароход, но, приехав, перестал носить часы, перестал вообще следить за временем. К чему? Он смотрел на оранжевый, как желток, шар солнца в сером тумане.

«Тонтон?» — рассеянно спросил он.

«Это слово трудно перевести. Оно означает “колдун”, “злой человек”, а также “добрый человек”, — вообще может значить всё что угодно. Особенность здешнего языка, знаете ли. Слова могут иметь противоположный смысл. Здешняя мифология, если можно ее так назвать, не знает разницы между Богом и дьяволом. Может, в этом что-то и есть, p'est-ce pas?..»

Тонтон должен решить, стоит ли заниматься лечением заболевшего. Если он, например, возьмется лечить того, кто обречен, божества могут разгневаются. Лекарь проводит ночь перед хижиной, где лежит ребенок, и следит за созвездиями, чтобы не упустить момент, когда божества скажут, хотят ли они взять его к себе. Я не утомил вас этой маленькой лекцией? Не берусь судить, — промолвил администратор после некоторого молчания, — может, в этом действительно есть резон. Вам я тоже не советовал бы нарушать, э, некоторые правила. Не дразнить, так сказать, высшую силу...»

Какие же правила, спросил гость, он может нарушить. Администратор развел руками, как бы желая сказать: откуда я знаю? Или намекал на то, что правил много.

«Короче говоря, тонтона зовут к умирающему, и тонтон объявляет родителям и всей родне, когда придет смерть. Это очень важно знать. В этот момент родители обязаны зачать следующее дитя, чтобы душа умершего не покинула дом».

«Да, но если... жена не может?»

«Вы хотите сказать — если у жены регулы? Тогда приглашают другую женщину. Родственницу или просто соседку. Главное — успеть. Что же касается покойника, то похороны похоронами, как предписано католической верой. А на самом деле его просто сбрасывают в океан. Потому что тело уже не представляет ценности».

«Это что, — осведомился гость, выслушав всю эту галиматью, которую он не без основания считал блюдом для туристов, — учение вуду? Или как там называется ваша религия?»

«Я не говорил вам, что это моя религия, — холодно возразил администратор. Он добавил: — Здешние поверья ничего общего с культом вуду не имеют. А религия, как я уже имел честь вам доложить, на нашем острове римско-католическая. Осмелюсь спросить: вы тоже католик?»

Курортник пожал плечами. Желая сменить тему, хозяин отеля спросил, глядя в свой стакан: «Как вам Илария?» Оказалось, что так зовут горничную.

«Послушайте, вы когда-нибудь пробовали...» Парижанин услышал незнакомое слово. Он спросил, что это такое.

«О, сейчас увидите! Тем более что время ужинать, не так ли?»

Появилась горничная, она же кухарка, девушка лет пятнадцати.

«Ну-ка приготовь нам... — сказал администратор. — Она умеет, сейчас увидите. Это недолго... Она вообще всё умеет. И ведь, заметьте, никто не учил. Выросла без родителей, удивительное существо... Отведайте», — сказал он, когда юная повариха внесла большое плоское блюдо, распространявшее сильный и странный запах. Следом служитель нес жаровню со сковородой. На столике перед хозяином и гостем лежали толстые ломти кукурузного хлеба. Администратор потирал руки. Он взял хлеб, намазал его пахучей пастой с медом, схватил, обжигаясь, со сковороды то, что пеклось на ней, ловко шлепнул на ломоть хлеба и протянул гостю. Курортник с недоумением оглядывался. Девушка исчезла, он не заметил ее ухода. Администратор разлил вино, предварительно показав гостю этикетку. Курортник с опаской откусил от экзотического изделия — это были лепешки из мяса зебу со сложным набором трав.

«Ну как?» — спросил хозяин с торжеством.

«Превосходно».

«Нигде в мире вы не получите такое блюдо. Cheers!» — возгласил он. Курортник пробормотал ответный тост, вежливо похвалил вино.

«Оттуда. Мы получаем оттуда». — Многозначительно кивая, администратор указал через плечо большим пальцем. Подразумевал ли он Большую землю? Или Францию? Или известную одним пиратам отсутствующую землю за горизонтом? Приедем, оказалось, что сотрапезник угадал его мысли, когда после нескольких бокалов — оба слегка охмелели от выпитого и съеденного — хозяин спросил вкрадчиво:

«Поднимались ли вы к вулкану?»

«Да... то есть еще нет».

Администратор наклонился к нему: «Оттуда можно увидеть...»

«Что увидеть?»

«В ясную погоду», — пояснил хозяин.

«Вы не ответили».

«Ответа нет, — сказал администратор и откинулся в плетеном кресле. — Ответа нет — вот единственный ответ. Никто не знает, существует ли она на самом деле или это только мираж!»

IV

Осмотр отеля в качестве первой и главной местной достопримечательности убедил курортника в том, что у предприятия большое будущее; кое-что было еще не готово, кучи песка, бочки с известкой свидетельствовали о том, что работы продолжают. Со словами: «А вот тут у нас... не угодно ли?..» — администратор-экскурсовод ввел гостя в большую комнату.

«Не угодно ли взглянуть: конференц-зал».

Комната со свежепобеленными стенами и потолком была пуста, лишь у стены напротив двери находился крашеный невысокий помост, на помосте стояло круглое резное кресло с изогнутыми подлокотниками. По-видимому — причиной был своеобразный французский язык администратора, — выражение «конференц-зал» имело в его устах не совсем обычное значение.

Кресло было снято с португальского корабля лет триста тому назад. По обе стороны были прибиты к стене два флага: трехцветное знамя Французской республики и еще какое-то, с полосами всех цветов радуги, вероятно, флаг острова.

«Я принимаю здесь делегации из деревни», — сказал администратор. Он не мог скрыть некоторого смущения. — Видите ли, не надо придавать этому большого веса... То есть, конечно, всё это важно и необходимо, но в каком смысле? В чисто местном, уверяю вас. Мы ни в коей мере не посягаем на прерогативы метрополии... С другой стороны, приходится считаться с местными традициями. Нельзя игнорировать местную историю! Точно так же как нельзя выказывать презрение к местным верованиям. В этом состоит мудрая колониальная политика. Я убежден, что в Париже со мной согласятся, более того, в Париже только одобряют... если, конечно, — добавил он, усмехнувшись, — о нас там кто-нибудь еще помнит.

Все знают, что эта земля принадлежала моим предкам. Здесь умеют чтить преемственность и уважать права. Кто же, по-вашему, может быть лучшим кандидатом?»

Курортник был вынужден признать, что более законного претендента найти невозможно.

«Теперь вам понятно, — заключил свое пояснение хозяин отеля, — почему они провозгласили меня вождем племени и королем острова. У меня есть и корона — хотите, покажу?» И он весело подмигнул гостю.

Курортник решил обойти остров; путешествие, говорили ему, займет не больше полутора часов. Выйдя утром из дому, он двинулся вдоль песчаной отмели под навесом пальм. Впереди пенистый прибой разбивался о рифы и бурлил возле камней, вокруг, сколько мог охватить глаз, расстился сизый, белесый,

призрачно серебрищийся, далекий и в этой немислимой дали уже не отличимый от неба океан: горизонта более не существовало. Время от времени скалы преграждали путь, приходилось внимательно смотреть под ноги. «Берегитесь морских ежей», — сказал администратор, — главное — берегитесь ежей: наступите на иглу, придется целую неделю провалиться в постели». Путник вступил в лес, стараясь не потерять из виду берег, обогнул мыс, остров медленно поворачивался, кончился прилив, впереди рисовались новые отмели, где-то невдалеке должна была находиться деревня. Одно время ему казалось, что он видит вдали конусы хижин. Постепенно они растворились в дымке, словно ось земли незаметно перевернулась, и теперь он не приближался, а уходил всё дальше от цели. Поднимаясь по горячему склону, он добрал до каменистой площадки и снова увидел между зарослями встающий к небу океан. Сзади, над головой путника, на бледном от зноя, оловянном небе стояла курящаяся, со срезанной макушкой голова вулкана. Океан казался отсюда грифельным. Сколько ни вглядывайся в морскую даль, никакой земли не увидишь. «Никто не знает», — сказал администратор, — где она расположена, ее нет на картах». Но то, что ее невозможно было разглядеть, как будто подтверждало ее существование: если бы это был мираж, я бы видел его, рассуждал курортник. Некоторое время спустя он поднял отяжелевшую голову — гора была уже далеко, занятый своими мыслями, он не заметил, что оказался внизу. Ноги стали уходить в песок; разувшись, с палкой через плечо, на которой висела его одежда, голый и лоснящийся от мази путешественник всё глубже проваливался в песчаную постель.

Тем временем (турист брел к себе в гостиницу) кое-что изменилось. Солнце по-прежнему пылало в небесах, тускло блестело расплавленное серебро океана, и вокруг всё приобрело зловещий оттенок, зеленые заросли сделались жестче и еще зеленей. Что-то вздрагивало и горело перед глазами путника, он едва различал дорогу перед собой. Пошатываясь, он добрался до дома с башенкой; незамолый человек приблизился к нему; два человека; один из них был хозяин. «Что случилось? — спросил озабоченно хозяин гостиницы. — Где ваш головной убор?» Курортник потерял панаму. «Он наступил на иглу морского ежа», — сказал другой человек. «Нет, это не морской еж. Это бурый скорпион. Сделаны ли прививки? Где справка?» Курортник слышал этот разговор, но не мог понять, говорят ли с ним двое или он слышит один и тот же голос. Курортник покачал головой и почувствовал, как во лбу, позади глаз, колыхнулся расплавленный металл, серебро океана. «Немедленно в постель!» — скомандовал один, и эхо в мозгу повторило: «В постель». Постояльца повели в номер.

«Это бывает... перемена климата», — бормотал администратор, который снова стал одним человеком. — Вы слишком много времени провели на солнце. Слишком далеко ушли от отеля».

«Но вы сказали, — простонал курортник, — весь остров можно обойти за полтора часа».

«Мы примем меры», — сказал администратор. — Вы пошли не в ту сторону, это бывает. Немедленно ложиться и опустить шторы! О, как я вам сочувствую!» Он заботливо уложил курортника. Турист хотел сказать, что если хозяин отеля думает, что это солнечный удар, то ошибается: это мигрень, к которой он, к несчастью, имеет склонность. Но администратор уже направлялся к двери, он шел на цыпочках, полуобернувшись и делая успокоительные знаки больному. С мокрым полотенцем на лбу курортник, раздетый и прикрытый простыней, лежал на спине, отдавшись своему страданию.

По-видимому, не прошло и пяти минут, как дверь открылась. Больной не хотел никого видеть. Горничная вошла неслышным шагом, опустила бамбуковые жалюзи и задернула шторы. Она присела на постель, медленно водила пальцами по лбу и вискам больному. Курортник закрыл глаза. Она вытерла лоб полотенцем и возобновила движения. Ее пальцы всё сильнее вдавливались в кожу, словно втирая что-то, больной почувствовал электричество на кончиках пальцев, и стало как будто легче. «Еще», — попросил он. «Много нельзя», — прошептала служанка, она говорила с сильным местным акцентом, приезжий с трудом

ее понял. Она добавила: «Немножко отдохнуть». Больной поднял веки, ее не было в комнате. Боль сосредоточилась в половине головы и вокруг глаза, но ослепление прошло. Все предметы казались необыкновенно четкими. Он лежал неподвижно. Каждое движение шеи причиняло боль. Ему представилось, что боль, как собака, дремлет рядом с ним на подушке, и он боялся пошевелиться, чтобы не толкнуть ее. Курортник не слышал, как снова вошла служанка. Она склонилась над ним и поддерживала его голову. Он пил из широкой плоской чашки солоноватое питье, первые глотки показались ему приятными, но затем он почувствовал отвращение. «Надо всё»,— сказала она. Он сморщился. «Тут немного». Курортник подумал, что она скажет сейчас, как говорили в детстве: теперь за маму, за бабушку; он заставил себя сделать последний большой глоток, откинулся на подушку и начал медленно опускаться сквозь толщу мутно-зеленоватых вод на дно бухты.

Курортник очнулся, как ему показалось, через несколько часов. Он был укрыт одеялом; в комнате сумрачно, шевелился занавес — поднялся бриз. Горничная сидела возле его ложа, составив ноги и держа по-прежнему на коленях чашку. «Илария,— прошептал больной,— тебя ведь зовут Илария?»

Он вспомнил беседу с администратором, ленивое сидение на крыше отеля, рассказ о лекаре и больном ребенке. Курортник подумал о душе, вырвавшейся на волю и вновь плененной, о том, что хрип умирающего заглушается стонами наслаждения, и это не показалось ему неприличным и странным. Другая мысль его смутила. Он не мог выстроить события в их естественной последовательности. Сперва он встретил похоронное шествие, крест с разноцветными лентами, священника и отца, который нес на плече футляр. Потом выслушивал объяснения пирата. Или наоборот?

Очевидно, время, как банкомет, перетасовало свои карты.

Между тем в комнате как будто посветлело, курортник слегка потряс головой, чтобы убедиться, что он поправляется, и боль, замурованная в правом виске, отключилась издалека. Боль протискивалась в лабиринте мозга. Перемена климата, сказал хозяин... перелет из Северного полушария в Южное. Мысль о том, что существует связь между полушариями Земли и мозга, показалась любопытной. Больной скосил взгляд и убедился, что юная горничная всё так же терпеливо сидит возле постели; тотчас, спохватившись, она поднесла к его рту плоскую чашку. «Ну уж нет!» — возразил курортник.

«Надо пить».

«Ты хочешь сказать: допить? Сколько тебе лет?»

Она кивнула, как дети отвечают на любой вопрос знаком согласия. Ее глаза избегали прямого взгляда, они были устремлены на чашу. Лиловые глаза-сливы, блестящие и непроницаемые. На ней было шелковое голубое платье, вернее, кофточка, обтягивающая узкие плечи и бугорки грудей и завязанная узлом на голом животе; нижняя часть тела и ноги почти до ступней завернуты в желтую ткань. Круглый лоб, щеки, шея в вырезе кофты были чайного цвета, как ее сари. Волосы, черные с синеватым отливом, грубые и блестящие, как конский волос, туго заплетены и свернуты на затылке.

Вздыхнув, он допил питье. «Будем знакомы,— сказал он и назвал свое вымышленное имя.— Сколько тебе лет, Илария? Восемнадцать? Пятнадцать?» Она смотрела на его шевелящиеся губы, точно глухонемая. Курортник повторил вопрос, показал на пальцах, она кивнула. Он продолжал допытываться. «Ты его дочь?»

«Он меня взял»,— сказала она.

Курортник снова испустил вздох. Болезненно колыхалось в мозгу; он сдвинул пальцами висок.

«У меня это уже было — правда, не так сильно. Я не понимаю,— сказал он,— что значит взял? В приемные дочери? В жены?»

Она ответила: «Не хочу».

«Что ты не хочешь?»

«Не хочу сказать».

«Значит, ты ему не жена?»

«Да».

«А кто твои родители?»

«Нет».

«Что значит “нет”: умерли?»

Она не знала. Она происходила из деревни на берегу.

«Много нельзя»,— сказала Илария.

«Что много?»

«Много нельзя говорить. А то снова». Турист почувствовал бессмысленность своих расспросов. Одно и то же слово, сказал владелец гостиницы, может означать в этом языке противоположные вещи. Очевидно, богатство интонаций восполняло относительную бедность слов. Но не всё ли равно! Он знал, что мигрень — если это была мигрень — есть в некотором роде знамение, сигнал тревоги или недовольства, которое выражает организм: едой, погодой или полушарием Земли. Боль, как темное облако, вновь начала заволакивать зрение. В дверях администратор вполголоса что-то выговаривал горничной; у него был обескураженный вид. Он подошел к лежащему осведомиться о самочувствии.

Администратор подслеснул руками, услышав о том, что гость собрался прервать свой отдых на острове, не дожидаясь условленного срока. «Как, вы не успели насладиться всеми нашими красотами! — вскричал он.— Дорогой мой, это неразумно». «Увы»,— сказал курортник. Он заверил хозяина, что не видел в своей жизни более величественной природы. Это была правда: он всю жизнь прожил в большом городе. Хотя ему определенно полегчало, он всё еще не чувствовал себя здоровым. Некоторым людям противопоказан климат тропических островов. Курортник был в скромном, но элегантном дорожном костюме, в лакированных ботинках и при галстуке. Крутя шляпу на пальце, он окинул прощальным взором свою комнату, вышел в последний раз на балкон. Океан слегка штормил, этого мне еще не доставало, подумал он. Чемоданы стояли внизу в холле. Курортник медлил; как бывает при отъезде, ему казалось, что он что-то забыл. А к стати, где эта девочка, надо бы попрощаться. И снова забыл.

Он не жалел о том, что покидает островок, на котором прожил каких-нибудь десять дней, да и то чуть ли не половину времени провалялся в постели. Он уже строил новые планы. В Париже, разумеется, делать нечего, в Париже всё напоминает о прежней неволе; он поедет в Японию или в Россию. Морщась от тупой боли, представил себе, как он помчится на тройке оленей по сверкающим снежным равнинам в русских санях, с колокольчиком, в расшитой узорами шубе, лисьем шлеме и синих очках-консервах.

Убитый горем администратор ждал его внизу, по случаю проводов одетый, как в первый день: пиджак смелой расцветки, бабочка на шее. Пиратскую повязку на глазу хозяин крепости больше не носил, зато появилась новая колоритная деталь: он обзавелся черно-смоляными усиками. Джип стоял у подъезда. Оставалось уладить денежные дела. Турист не настаивал на возвращении непрожитых денег, в конце концов администрация отеля не виновата в том, что он съезжает раньше времени. Всё же его неприятно удивил счет, почтительно врученный администратором: помимо медицинской помощи и услуг сиделки ему предлагали уплатить за экскурсии, в которых он не участвовал, и пользование бассейном, которого не существовало. А что означает графа «специальные услуги»?

Хозяин принял достойный вид. Месье, очевидно, забыл: об этом деликатном пункте говорилось при заполнении въездной анкеты. Забыл, сказал курортник. Результат болезни, заметил сокрушенно администратор.

«Не просто услуги. Древний обычай наших мест. Поистине жаль, что вы не смогли оценить в полной мере гостеприимство нашего острова.— Он чуть было не сказал: “моего острова”.— Уже в те далекие времена, когда на острове появились европейцы, они были приятно удивлены тем, что вместе с кровом гостю предоставлялась женщина. Жаль, жаль,— продолжал он, не замечая нетерпения, которое гость уже не скрывал,— девушки нашего острова — это нечто осо-

бенное!» Администратор рассказал о том, как один турист, солидный господин в соку, владелец шоколадной фабрики, не мог забыть свою *hostesse* и присылал ей изделия своего предприятия, как в один прекрасный день он появился вновь на Святой Иларии и даже предлагал откупить у администратора его гостиницу. Разумеется, об этом не могло быть и речи.

«Сами понимаете, мой долг по отношению к предкам... К тому же на острове, когда распространился слух, начались волнения. Ко мне явилась депутация. Кончилось тем, что оба, конфетный фабрикант и девушка, укатили в Европу».

«Но я... вы же знаете». Курортник напомнил администратору, что данным видом услуг он не пользовался. Не говоря уже о том, что был болен.

«Сочувствую,— сказал хозяин.— Однако порядок есть порядок. Мой поклон капитану!» — крикнул он, выйдя следом за гостем на крыльцо, и махал рукой до тех пор, пока автомобиль, подпрыгивая, не скрылся в зарослях. После чего отстегнул бабочку, отклеил усы и, вздохнув, отправился на крышу отеля пить кокосовое пиво.

V

«Так я и знал. Я предчувствовал! — воскликнул администратор. — *Mon Dieu*, какая неосмотрительность! Я же предупреждал. Осторожно. Немедленно в постель!» Служитель гостиницы и шофер внесли носилки с курортником в холл. Приезжий заметно изменился за эти сутки. Молча приветствовал он хозяина коротким кивком, с трудом встал на ноги и, поддерживаемый с обеих сторон, кое-как добрался до своего бывшего номера. Стояла великолепная погода, занавеска слегка шевелилась, и блещущий мириадами искр, брызжущий пеной, свежий и синий океан набегал, и откатывался, и шуршал галькой под самым балконом. Головой к стене, больной покоился на плоском и широком возвышении, которое служило ему ложем, в полусумраке, на высоких крахмальных подушках. Ничего не изменилось. Чемоданы стояли на полу, как в день его приезда. Казалось, он только что покинул гостиницу. Вошел на цыпочках администратор. «Не хочу вас беспокоить,— пробормотал он,— анкету заполним позже...»

«Где Илария?»

«Так как вы от нас выписались, то теперь как бы прибываете заново,— пояснил администратор.— Но можно оформить документы позже, спешить некуда. Мы можем даже сделать так: я заполню, а вы подпишете. Ах, как не повезло! Я же говорил: не надо торопиться...»

«Где Илария?» — простонал курортник.

«Илария? В самом деле, где она?.. В деревне, я полагаю».

«Пошлите за ней немедленно. И еще одна просьба».

Администратор ждал. Курортник провел языком по сухим губам.

«Эй! — Администратор выглянул в коридор.— Воды в седьмой номер».

«Спасибо, не беспокойтесь. Скажите... Есть в отеле музыка?»

«Музыка? — улыбнулся администратор.— Вы имеете в виду туземную музыку? О да, разумеется. То есть пока еще нет, но я планирую завести собственный ансамбль для вечерних выступлений в ресторане. Музыкальный фольклор нашего острова всегда, знаете ли, привлекал внимание путешественников, не говоря уже о песнопеньях корсаров... Вам приходилось когда-нибудь слышать?»

«Пиратский фольклор?» — спросил курортник.

Хозяин запел:

«Приятели, смелей разворачивай парус. Йо-хо-хо!.. Старинный гимн семнадцатого века. Его исполняли, выходя в плаванье... Несколько архаический язык, вы не находите?»

«А дальше?»

«Одних убило пулями, других сразила старость. Йо-хо-хо, все равно — за борт».

«Нет, нет! — поспешно сказал курортник.— Я хочу сказать: обыкновенная музыка, европейская. Ну там, Моцарт...»

«Моцарт. О!» — сказал администратор.

В номер внесли граммофон с зеленым целлулоидным раструбом, похожим на половой орган некоторых растений, и грудку пластинок в полуистлевших конвертах. Администратор хотел было завести машину, но, увидев, что больной дремлет, на цыпочках двинулся из комнаты. В дверях он обернулся. Больной, не открывая глаз, плачущим голосом в третий раз осведомился об Иларии.

Всё шло как нельзя лучше, его ждали в гавани, капитан был трезв, как стеклышко. Увидев гостиничный джип, капитан приказал разводить пары. Ударила пушка. Пароход отвалил от причала; единственный пассажир стоял на корме под хлопающим флагом всех цветов радуги, любясь песчаными берегами, кущами пальм и плоской, тающей в белесых даях головой вулкана. Вскоре, однако, пришлось удалиться в каюту, началась качка. Переезд через бурный пролив отнял много часов, измучив курортника. Была ли это морская болезнь или рецидив прежнего недомогания, месье Южного полушария? По прибытии на Большой остров оказалось, что рейсы в Европу отменены в связи с ремонтными работами в аэропорту. Пассажира заверили, что в понедельник он сможет вылететь. Врач, приглашенный в гостиницу, не мог понять, что с ним, и предложил лечь в больницу; турист отказался, и к ночи ему стало еще хуже.

В номере не было кондиционера, он лежал без сна под марлевым пологом в душевой тьме, обливаясь потом, под уханье музыкальной турбины и визг женщин: звуки доносились снизу из ночного бара. Всё наладится, думал он, как только удастся пересечь экватор. Курортнику представлялось, что его мозг разбух до размеров комнаты. Мозг уже не умещался в гостинице. Его холмы и извилины спускались к океану. Это был тяжелый мозг Земли, ее южная половина, переполненная густой, черной, горячей и пульсирующей кровью.

Приподнявшись, больной откинул полог и упал без сил на постель; в ту же минуту дверь номера приоткрылась, в проеме стояла темная фигура. Он подумал, что видит ее во сне или в бреду и что это сама смерть отыскала его в жалком отеле. «Что тебе надо?» — спросил он. Она не ответила. Он повторил: «Что тебе здесь надо?» Молодая негритянка в красном платье, надетом — это можно было заметить — прямо на голое тело, уперев руки в крутые бедра, покачиваясь, подошла к постели. Свет падал из коридора. Они смотрели друг на друга.

«Так я и думала, что здесь кто-то есть, — проговорила она. — Вот и прекрасно. Что скажешь?»

«Что я должен сказать?» — спросил больной.

Она передернула плечами.

«Тебя нет, — сказал курортник, — это только сон. Не пытайся меня обманывать».

«Ты не спишь, — возразила она. — А раз ты не спишь, то нечего валяться».

«Что же мне еще делать?»

«Пошли к нам».

«Куда это, к вам?»

«К нам: туда. Сегодня спать не положено. Никто не спит. Сегодня праздник».

Он спросил, какой праздник.

«Сама не знаю! — сказала она, смеясь. — День освобождения или как там. Не всё ли равно?»

Он тоже усмехнулся. «Ты говоришь, день. А сейчас ночь».

«Мы празднуем с утра до утра. А вообще-то у нас каждую ночь праздник».

«Весело живете», — заметил курортник.

«А чего горевать! Ну, если не хочешь идти танцевать... — Она присела на край кровати. — Хочешь меня иметь?»

Больной не знал, что ответить, он смотрел на ее сверкающие в полутьме глаза и зубы и, наконец, пролепетал:

«Ты кто? Ты откуда взялась? Ты — смерть?»

Она встала.

«Скажешь еще! Посмотри, разве я не хороша? — Она гладила себя по груди и бедрам.— Дай-ка руку...»

Он не давался.

«К твоему сведению,— сказала она надменно,— я совершенно здорова. Могу справку показать».

«Зато я болен»,— возразил он.

«Э, ерунда! Пройдет».

«Я решил вернуться»,— сказал он.

«Куда?»

«Туда, откуда приехал».

«В Париж? Ты парижанин?»

«Да нет же,— поморщился курортник.— Я решил вернуться на остров. Чешуйчатый остров, знаешь такой?»

«Понятия не имею».

«Когда я заболел, то она меня вылечила. Теперь у меня повторилось, здесь мне делать нечего, в больницу я не хочу, они всё равно ничего не понимают, а она меня поставит на ноги». Он выпалил это единым духом, как будто убеждал себя самого; монолог утомил его.

«Она меня...» — повторил он, тяжело дыша.

«Кто это она?»

«Ее зовут Илария»,— сказал курортник.

«Понимаю. У тебя там возлюбленная, и ты хочешь к ней вернуться. А она тебе, может, уже изменила».

«С кем?» — спросил он удивленно.

«Почем я знаю? Ты не хочешь меня иметь, хочешь сохранить ей верность, зачем же ты ее бросил? Думаешь, она тебя там ждет? Она, наверное, тебе там уже отомстила, а ты хочешь быть верным...»

Курортник молчал, и она добавила:

«А я, между прочим, знаю секреты».

«Спасибо».

«У вас там никто понятия не имеет. Только наши женщины их знают. Даю слово: не пожалеешь».

«В другой раз»,— вяло сказал курортник, который устал от долгого разговора. Утром он потребовал отвезти его в порт, и снова ему повезло: пароход готовился к отплытию. Океан успокоился. Джип ждал гостя, словно блудного сына, но на полдороге курортник велел остановиться; пришлось нести его на носилках.

Администратор подошел к приступке, на которой стоял граммофон, отыскал пластинку с колыбельной Моцарта. «Не беспокойтесь,— сказал он,— за ней послали. Она в деревне... у дяди».

«У какого дяди?»

«У нее есть дядя. Прошу покорнейше извинения. Согласно порядку необходимо внести аванс...»

«Аванс? — переспросил больной.— Ах да!» Он хотел сказать, что не рассчитывает оставаться на второй срок и покинет гостиницу, как только ему станет легче. Но не было сил и охоты вступать в объяснения. «Спи, моя радость, усни. Глазки скорее сомкни...» Он отвечал, что у него нет наличных; нельзя ли заплатить по карточке? Администратор возразил, что давно уже собирается перейти на безналичный расчет, надо, сказал он, шагать в ногу со временем. Впрочем, он попытается связаться с отделением *Crédit Lyonnais* на Большом острове.

Администратор отвернул звукосниматель и снял пластинку. «Разрешите взглянуть... О, евровиза. Удобная вещь. В любом конце мира. Лишь бы было что тратить, хе-хе. Если вы согласны доверить мне вашу карточку, разумеется, на короткое время, я всё улажу. Гарантирую абсолютную *discretion*... Позвольте узнать: в каком банке вы держите ваши средства?»

VI

Курортник отказался от ужина. Он попросил поставить музыку рядом с постелью и забылся под звуки «Маленькой ночной серенады». Игла съехала с пластинки и остановилась; наступил вечер, Илария всё еще не было. В номер заглянул хозяин, чтобы спросить, не надо ли чего, пожелал больному спокойной ночи и, потушив свет, удалился. Мертвая тишина воцарилась в цитадели пиратов, слышно было, как бессонный океан целует прибрежные камни. Совсем не то, что в гостинице на Большой земле, подумал больной, но теперь ему не давали уснуть голоса молчания. То и дело казалось, что кто-то крадет по коридору, кто-то с кем-то переговаривается шепотом, скрипит дверь. Люди ходили по комнате. Царек-администратор совещался вполголоса с шофером и капитаном парохода, надо ли сообщить приезжему... Что сообщить, спросил курортник, и хозяин отеля ответил, что новость весьма неприятная, лучше отложить ее до утра. Курортник хотел спросить, знает ли об этом Илария. Тс-с! — прервал его администратор и на цыпочках, балансируя руками, двинулся прочь. В дверях он поспешно посторонился, чтобы пропустить высокую крутобедрую негритянку, мельком оглядел ее с головы до ног, слегка присвистнул и покачал головой; администратор не одобрял ночных визитов, но в то же время не мог скрыть впечатления, которое она произвела в своем шелковом платье, под которым ничего не было. Очевидно, там, на материке, всё еще продолжался праздник в честь Дня освобождения.

Какая настойчивость, подумал курортник и объяснил, что не может ехать, так как только что услышал неприятную новость, от него хотели скрыть, но он догадался. Э, ерунда, возразила она, смеясь, мало ли что наговорят. Но никто ему ничего не говорил, он сам догадался, сказал курортник. Ты всё думаешь о своей возлюбленной, сказала она с упреком, а твоя возлюбленная знать тебя не хочет. Курортник возразил, что ей всего пятнадцать лет. Это всё равно, ответила она, здесь выходят замуж и раньше, когда совсем еще ничего нет, ни грудей, ни зада. Жди, когда всё это еще вырастет, добавила она, самодовольно оглядывая себя и разглаживая обеими руками платье. В этот раз она была не в красном, а в белом. Протри глаза, сказала она, разве я не гожусь для тебя, хочешь иметь меня прямо сейчас? Ты еще не пробовал с черными женщинами; мы кое-что умеем, ваши бабы об этом даже понятия не имеют. Турист отвечал, что он болен, к тому же в номер могут войти; в самом деле, было уже светло, в отеле слышались голоса. В дверь постучали.

Несмотря на беспокойную ночь, больной чувствовал себя значительно лучше, он с аппетитом позавтракал, хотел даже встать, но подчинился совету хозяйина: разумнее было провести хотя бы еще один день в постели. С помощью сиделки курортник шагнул в резиновую ванну, администратор деликатно вышел, Илария, с кувшином в руках, встала на стул. Изумрудная струя полилась на голову, лицо и плечи больного, от сильного аромата у него закружилась голова, он схватился за горничную, и оба чуть не упали. «Дай мне кувшин,— пробормотал он,— я сам...»

Она сказала: «Повернись». На животе у больного выступили розоватые пятнышки. Она сделала ему знак расставить ноги, там тоже была сыпь. Но самочувствие, как было уже отмечено, улучшилось. Она вытерла ему лоб, щеки, подбородок, старательно осушила его исхудавшее тело, протерла под мышками и в паху, причесала волосы. Счастливый, слегка растревоженный и покрасневший, он лежал на высоких подушках, девочка сидела рядом и пила его питьем, которое теперь показалось ему вкусным. «Ты тоже вся мокрая»,— сказал он.

Он добавил: «Там висит халат».

«Не смотри, зачем смотришь?» — сказала Илария.

Она сбросила то, что было на ней, и сняла с плечиков его купальный халат. Со своего ложа больной простирал к ней руки, она покорно поворачивалась, он помог ей обернуть халат вокруг тела. Она завязала пояс, подоткнула полы, из-

под которых показались ее крошечные ступни, и засучила рукава на тонких желтовато-смуглых руках. Одевание развеселило обоих.

«Хочешь,— сказал курортник,— я возьму тебя с собой?»

Она молчала.

«Поедем со мной, Илария!»

«Тебе нельзя. Ты больной».

«Но я уже почти выздоровел. Ты меня вылечила».

«Ты больной,— повторила она.— Тонтон придет, тебя вылечит».

Зачем мне тонтон, хотел сказать курортник, но тут появился хозяин отеля. «О, я вижу, вы молодцом,— сказал он, потирая руки,— еще денек-другой, и сможете выходить. А у меня к вам дело.— Он слегка поднял брови, провожая глазами горничную, забавно выглядывшую в одеянии гостя.— У меня к вам...— промолвил администратор, садясь возле ложа.— Но, может быть, лучше отложим этот разговор, пока вы окончательно не поправитесь?»

«Она говорит, что придет тонтон»,— заметил курортник.

«Вы порозовели. Вероятно, у вас повышена температура, но это к лучшему».

«Мне кажется, он мне совсем не нужен. Кто он, собственно, такой?»

«Вам нужно немного окрепнуть».

«Кто он такой?»

«Это ее дядя. Я велел ему прийти. Видите ли, вообще говоря, местные болезни должен лечить и местный лекарь. Европейская медицина тут бессильна».

«Вы хотите сказать: медицина Северного полушария?»

«Можно назвать ее и так».

«У меня к вам просьба,— проговорил неуверенно курортник,— тут ко мне приходила одна женщина, вы, наверное, видели... одна негритянка с Большого острова. Будьте добры, распорядитесь, чтобы ее больше не пускали».

«С Большого острова? — удивился администратор.— Как это так, ведь пароход больше не приходил. Кто такая?»

«Понятия не имею. Пожалуйста,— попросил курортник.— Я не хочу ее видеть».

«А вы уверены, что видели ее?.. Я хочу сказать — что она действительно вас навещала? Впрочем, кто бы ни была эта дама, если это, э... в порядке специальных услуг, то в отеле предусмотрено собственное обслуживание. С гарантией медицинской безопасности. Вы понимаете, что я имею в виду».

«Понимаю,— сказал курортник.— Так что же это за дело, о котором вы хотели со мной поговорить?»

«Принимая гостей, мы берем на себя ответственность за их здоровье».

«Конечно. Так, э-э?...»

Администратор молчал.

«Что-нибудь связанное с той новостью?»

«Разве вы уже слышали?»

«Не то чтобы слышал, но...»

«К сожалению,— сказал администратор, потирая колени,— к большому сожалению, мои опасения подтвердились».

Он заговорил о преимуществах жизни на острове. Волнения мира доносятся досюда, словно дальнее эхо. А какое благословение жить без телевизора, ведь это настоящий бич нашего времени. Но что значит — наше время?

Задав этот вопрос, он поглядел на больного, как будто ждал от него ответа или искал правильную формулировку; наше время, сказал он, это наше, а не чье-то там — в Гонконге или в Токио. Слава Богу, мы живем вдаль от волнений мира. По-настоящему надо было бы наименовать Святую Иларию островом Блаженных. Курортник, усмехнувшись, заметил, что так называли — если он не ошибается — потусторонний мир. Нет, возразил хозяин отеля, вы не ошиблись. Только неизвестно, по какую сторону он находится: по ту или эту.

«Местный фольклор?» — улыбнулся курортник.

Администратор рассеянно кивнул, он думал о другом.

«Что я хотел сказать?.. — пробормотал он. — Разумеется: нам тут до всего этого нет никакого дела».

«До чего?» — спросил курортник.

«До того, что происходит в Токио. А теперь уже и в Сингапуре... и вообще на дальневосточных биржах. Тем не менее как предприниматель я обязан быть в курсе дела... Тем более что это уже третье падение за последний год. Но на этот раз... — он покачал головой. — На этот раз курс акций в Сеуле упал чуть ли не на двадцать процентов».

«А в Токио?» — спросил курортник.

«В Токио катастрофа», — сказал администратор.

Сегодня утром ему сообщили, что индекс «никкей» снова снизился почти на тысячу пунктов. На биржах паника. В ответ курортник заметил, что ему не нужно объяснять, чем вызвано беспокойство хозяина гостиницы: видимо, он боится, что крах на бирже может привести к обесценению валюты. Уже привел, вздохнул администратор. Южнокорейский вон не дотягивает и до половины прежней стоимости. А что касается иены...

«Да, но ведь иена... А доллар?»

«Ах, что вы в этом понимаете!» — сказал в сердцах администратор.

«Допустим, — сказал курортник. — Но какое отношение...»

«Никакого! Никакого отношения к нам это не имеет. Кто вам сказал? Смеем вас заверить. Мы живем на краю света, более безопасного места придумать невозможно».

«Вот и прекрасно. Не вижу оснований для спора».

«Нет, меня интересует, кто это сказал! — кипятился администратор. — Кто посмел нарушить покой...»

Курортник успокоил хозяина.

«Ага, — сказал администратор, выглядывая на балкон, — небо очистилось. Будет ясная ночь».

Он склонился над больным. Курортник лежал, подложив руки под голову.

«Беда в том, что мы тоже относимся к иенной зоне. Ну и...»

«Договаривайте».

«Естественно, что это отражается на платежах».

«Я свои средства храню в “Лионском кредите”», — заявил курортник.

«Совершенно верно. Но все счета заморожены».

«Как это “заморожены”?»

«А вот так! Если там вообще что-то осталось. Увы! Дорогой мой... — Администратор прижал ладони к сердцу. — Вы доверили мне ведение переговоров. Я снесся с Большим островом. Несмотря на то, что они не признают моих прав на Святую Иларию. Но мы и формально им не принадлежим. Формально мы относимся к Реюньону. Только, знаете ли, делать запрос через Реюньон — это такая волокита... Одним словом...»

«Pardon, — прервал его курортник, — вы хотите сказать, что...»

«Вот именно, — сказал король сокрушенно, — это я и хочу сказать. Если называть вещи своими именами, то в настоящий момент вы, дорогой мой, неплатежеспособны. О, я приношу тысячу извинений...»

Курортник бормотал: «Ничего не понимаю. Как же так?.. Но причем тут?..» Администратор участливо вздыхал, сидя возле больного. «Послушайте, — продолжал курортник. — Означает ли это, что я теперь не смогу уехать?»

«Пока что, пока что... Сугубо предварительно!» Турист видел, как он плавно, словно паря над полом, удаляется из комнаты. И, как это бывает в низких широтах, почти мгновенно спустилась тьма, плеск океана слабо доносился снаружи и в то же время был рядом, как будто вода колыхалась вокруг ложа.

Больной поднял отяжелевшие веки и увидел темную фигуру в просвете балкона. Тонтон стоял спиной к лежащему, запрокинув голову, и смотрел на Южный Крест. Скрипнула дверь, и вошла, прикрывая свечу ладонью, Иларию. Тонтон вступил в комнату. Это был тощий полуголый старик.

Больной попросил зажечь свет. Но оказалось, что электричество не работает, ток отключен на всем острове. Старик сидел на корточках, опираясь на приступку, и курил трубочку. Что будем делать, спросил курортник, но он плохо владел креольским языком, и тонтон вопросительно взглянул на племянницу; она перевела вопрос, старик вынул трубку изо рта и кивнул лысой головой. Под слабым дуновением бриза задрожал лепесток пламени. Мне холодно, сказал больной. В следующую минуту старик-тонтон исчез из комнаты. А кто же будет меня лечить, спросил курортник, и не услышал ответа; мне холодно, сказал он, подойди ко мне. Она медлила, что-то прибирала на приступке. Иди сюда, выговорил курортник, стуча зубами от озноба. Илария послонила пальцы и загасила мятущийся огонек. Из мрака выступил балкон. Ярко-серебряные звезды стояли над крепостью пиратов, над островом. И остров, которым они владели, был всё еще не исследован.

Всё, о чем говорил администратор гостиницы, обманчивость расстояний, причуды рельефа, замысловатый рисунок береговой полосы,— всё это нужно было измерить и исходить своими ногами, постичь собственными усилиями, а времени оставалось мало. Главное — успеть, говорил администратор.

А-а, это ты хорошо придумала, умница, расстелить халат поверх одеяла, сказал курортник и подвинулся, чтобы дать ей место, какая-то на редкость холодная ночь, разве бывают в этом климате такие ночи? А звезды? Заметь, продолжал он, здесь другой небосвод: разумеется, мы и так знали, что над Южным полушарием нет знакомых нам созвездий, но надо это увидеть, надо увидеть звезды своими глазами. Подняться к потухшему вулкану и охватить одним взглядом огромное незнакомое небо, увидеть тебя всю разом, с подтянутыми к подбородку коленками, с ладонями, прижатыми к щекам. Увидеть глубокую впадину твоей талии, крутой подъем бедра и одиночество ягодиц. Повернись ко мне, как поворачивается земля под ногами идущего, вот твои возвышения, острые, как шипы.

Вот твои холмы и темнеющие овраги, подъемы и спуски, тропа среди душистых зарослей, запах цветов, мерцающий свет в глубине.



Чердаки

* * *

Дай прислушаться: что-то нервное
И неверное, как шаги
Вверх по лестницам безразмерным
В час, когда не видать ни зги.

Это так от квартир семейных
Мы уходим на чердаки,
Где вокруг шеи платками шейными
Обвиваются сквозняки.

Это что-то почти забытое,
Шорох старых сырых газет...
В слуховое окно разбитое
Прощаешься с рассветом,

В час оконченных новогодий
В первом приступе злой тоски
На какую-то из мелодий
Отзываются чердаки.

Колпак и колокол

МОСКОВСКАЯ СКОРОГОВОРКА

*Сшит колпак не по-колпаковски,
Вылит колокол не по-колоколовски...*

Сшит колпак не по-колпаковски.
Я ничья. А ты кто таковский?
Вон какой! И глаза бесовские.
Вместе кушаем снег московский.

Переулочек сожмет нас — тесен.
А душе, той хочется песен.
Проедает душа мозги.

Надо колокол перевыколоковать.
Ночь нам хочет глаза повыколочь.
Тьма вокруг — не видать ни зги.
Задыхаемся от тоски!

Надо колпак переколпаковать.
Душу в тело упаковать.

Вместе шлемся по Московью,
Дышим сыростью и любовью.

Переулочек сожмет нас, ближе!
Друг на дружку он нас нанижет.
Погляди — и замкнулся круг.
Расцепить невозможно рук.

Друг!
 Сшит колпак не по-колпаковски,
 Вылит колокол не по-колоколовски.

Zarisovka

Запах плесени на ужин.
 Дробный отзвук каблуков.
 Взглядом пойманное в луже
 Отражение куполов.

Пьяный дядька. Сквернословье.
 В голых окнах полусвет.
 Вот тебе со всей любовью
 Нарисованный портрет
 Нашей праздничной столицы...

Царицынская элегия

Безразлично холмам над рекой,
 Век уходит ли, день ли вчерашний.
 Нерушимый дворцовый покой
 Охраняют царицыны башни.

Опускается полная ночь,
 Весь в развалинах, дремлет Баженов.
 Спотыкаясь, выходит из рощ
 Летний ливень, слепой и блаженный.

Небо

Падал в тебя вокзал,
 Крики, от грусти злые,
 Город в тебя вонзал
 Зубы свои гнилые.

Плакал ночной клаксон
 Жалостней и покорней,
 В твой краткосрочный сон
 Ветви пускали корни.

И, замедля бег,
 Сквозь световые пятна
 Полураскисший снег
 Падал в тебя, обратно.

Наверстаем

В час, когда облекает закат
 Лето в траурный пурпур провинций,
 На деревьях по-прежнему спят
 Невозможно-прекрасные принцы.

Ты увидишь, как падает тень
 На покатые красные крыши
 И чуть слышный сквозь гаснущий день
 Ты, быть может, мой голос услышишь.

И под дрожь отсыревших портьер
 Мы упущенный век наверстаем.
 На старинный манер фокстерьер
 Заливается радостным лаем.

Это лето пристало к губе
 Невзначай паутинкою липкой.
 Это я улыбаюсь тебе
 Слабоумной и нежной улыбкой.

И по улицам славно бродить,
 Будто вовсе не минули годы,
 И так просто себя убедить,
 Что на свете все та же погода.

Прощание

От трещин и выщербин на мостовой,
 Как пристальный взгляд, оторвавшись с усилием,
 Над мокрой землей, прошлогодней травой,
 Где мало простора слежавшимся крыльям,

Над лавками, низким кустарником, над
 Кондитерской, пахнувшей счастьем и сдобой,
 Над местом, где некогда был Райский Сад,
 Над собственной вновь обретенной свободой,

И — выше, над рыжими крышами днищ,
 Тем ветреным берегом, где не пристанешь,
 Над нищенством наших случайных жилищ,
 Над роскошью наших любовных пристанищ,

Последний над городом круг соверша,
 Чтоб крепче, верней, безнадежней проститься,
 И в синее небо уходит душа —
 Такая большая, нелепая птица.

Грамматика

«Мы с тобой,— говорю,— мы с тобой»,—
 Вот уже и анапест кружит.
 Мы не связаны общей судьбой,
 Между нами лишь рифма дрожит.

Наша связь — не союз, а предлог,
 Даже если скажу «ты и я».
 Мы лишь повод для нескольких строк
 И условие их бытия.

Ты волен

Ты волен дверь не открывать.
 Прогулкам при луне
 Ты волен предпочесть кровать
 И не видать во сне

Ни этих черных облаков,
 Ни желтого огня.
 Ты волен не читать стихов
 И не любить меня.

К слову

А про счастье — все витийство и вранье.
 В подреберье пустота и колотье,
 Этот воздух: не дыханье, а питье,
 Вот и все существование мое.



Кто-то был, приходил и ушел

РАССКАЗ

Ирина Аркадьевна Снегина, сорока двух лет, частенько возвращалась в свою квартиру глубочайшей ночью, что было связано с ее профессией, заключающейся в игре на домре-прима 2 в профессиональном оркестре народных инструментов. Отнюдь не собираюсь представлять ее как вымороченную опустошенную фригидную персону — одинокую, с прошлой любовью, — за эдакую *гуманистическую* особу отнюдь я не собираюсь выдавать Ирину Аркадьевну. Кому хочется видеть таких баб, тот пусть едет в Ленинград, там таких честных полные коммуналки, а кому хочется про такую Женщину прочитать художественное произведение, тот пускай мои литературные листы тут же откладывает в сторону, ибо ничего подобного он здесь не найдет.

У Ирины Аркадьевны были: дочь, сын и даже, кажется, внуки — я точно не знаю, она обманула меня, и я был на нее сердит, отчего и пишу этот рассказ. Я наивно полагаю, что если я напишу (допишу) этот рассказ, то психофизиологическое состояние мое совершенно изменится, и Ирина Аркадьевна станет мне не то чтобы мила и приятна, но по крайней мере я смирюсь с ней как с родственной персоной, с РОДСТВЕННИЦЕЙ. Знаете, в семье всегда есть уроды, и все их очень любят, хотя и морщатся, хватаются за голову при очередном упоминании об их штуках... Меня предупреждали, что Ирина Аркадьевна уже не одного меня такого голубчика надула, но я отмахивался, мне было все равно. Я люблю все формы жизнедеятельности, и, когда образованная и прогрессивно настроенная Ирина Аркадьевна предложила мне сделать русское либретто для камерной рок-оперы «Поцелуй на морозе» (с ее музыкой, удивительно сочетающей древнерусский ладовый распев со стилем «диско»), я тут же согласился, ибо Ирина Аркадьевна, с младых ногтей циркулирующая в СФЕРАХ, обещала поддержку и Ивана Митрофановича, и Митрофана Тихоновича, все заслуженных да народных, хороших русских людей. И говорила, что немедленно по исполнении заказа будет заключен договор и я получу тысячу пятьсот рублей советских денег.

Я, уже не раз горевший на подобных предприятиях, тут же, конечно же, с радостью согласился, проделав значительную работу. Я вывел сюжет — действие происходит на строительстве Красноярской ГЭС, — смонтировал стихи Хлебникова, Гумилева, Есенина, Николая Рубцова и Мандельштама (для равновесия и потому, что я его очень люблю). Трудился я около месяца, а по истечении этого срока все дело лопнуло, потому что, как говорила Ирина Аркадьевна, замысел кому-то ТАМ показался слишком дерзким в свете напряженной идеологической обстановки весны 1979 года, да к тому же режиссер не имел столичной прописки или тарификации — не помню, чужь, в общем, суть которой меня совершенно не интересовала и не интересует. С Ириной Аркадьевной мы расстались друзьями. Она обещала мне КОМПЕНСИРОВАТЬ мои старания другой интересной работой, я ей не верю, но, как только от нее поступит какое-либо предложение, тут же в очередной халтурной затее участие приму обязательно — авось да и клонет, ведь я за последнее время привык считать себя профес-

● Кто-то был, приходил и ушел

сионалом! Авось да и клонет! У меня будут деньги, я не буду никого бояться и куплю себе теплую шубу. Я не в претензии. Роза есть роза, бизнес есть бизнес, эвенк есть эвенк.

Я не в претензии, и я не о том. Я хочу рассказать вам, как Ирина Аркадьевна возвращалась однажды глубочайшей ночью домой и что с ней потом случилось.

Немного о квартире Ирины Аркадьевны. Квартира эта однокомнатная, и она расположена на пятом этаже пятиэтажного «хрущевского» дома без лифта. Живет кругом большей частью рабочий класс, и засыпают очень рано. Летом на улице цветет акация, щелкают семечки, ходят в домашних тапках на толстой войлочной подошве, играют в домино.

Но район этот — не новостройка, отнесенная далеко за пределы города, туда, где чувствуется сырость развороченной целинной земли, и рядом лес и какие-то деревни с названиями Горшково, Убеево, Порточки, откуда утром бабы везут цветы и редиску на Центральный рынок. Этот район возник на месте старого района, состоявшего из бараков, и расположен на месте древнего культурного слоя, отчего и тополя, и сирень, и акация, оттого и домино, и традиция шастанья между домами в домашнем халате, как на коммунальной кухне,— все от того.

Ирину Аркадьевну здесь никто не знал. Это она так думала, потому что никогда не работала «в заводе» и не была знакома ни с кем из окружающих, населяющих эту улицу или, вернее, этот квартал — дома были разбросаны в беспорядке, понятное дело — «хрущобы»...

Отступление. Стоп! Рассказ этот совершенно катится и рассыпается. Это никого, кроме меня, не интересует, но я, балансируя и срываясь, делаю вот это — жалкую импотентскую гримасу. Дескать, ничего, ничего, скоро все получится, сейчас, секундочку, вот-вот, сейчас, закройте глаза и не смотрите на меня.

Минутная истерика. Горько жалуясь, постыдно слезы лью — вот я и исписался, дописался до какого-то грязного дура-фрейдистского бреда. Говорилось ведь не раз старшими товарищами — не вытывайся, Женя, пиши, как умеешь, не становись на цыпочки, не тяни шею, ведь оторвется слабая голова. Ан ему все мало! «Дуро-фрейдистский» (!) Да ведь о Фрейде-то ни малейшего понятия!.. Так, слышал что-то да что-то там читал, что давно уже забыл. «Фрейд, Фрейд, Фрейд», «тотем и табу», «венский шарлатан»... Верхушки!.. А все потому, что, сволочи, не приняли в Литинститут, а уж как хотел в Литинститут, так старался, послал на конкурс *народные* рассказы, письмо написал, что, дескать, из Сибири... Хрен там!.. Раскусили и не пустили... И правильно сделали. Молодцы!.. Я говорю вполне искренне...

...хрущевские дома. О зодческое искусство того десятилетия, когда в ООН башмаком по микрофону стучали и театр «Современник» вдохновенно репетировал пьесу вермонтского затворника! О молодость моя, о поллюционная чистота, о молодость Ирины Аркадьевны: шумные споры, СПОРЫ*, когда первый муж Ирины Аркадьевны, известный зачинатель и телережиссер, ныне покойный, и любовник Ирины Аркадьевны, известный писатель, ныне проживающий в г. Париже, ночами, бывало, не Ирину Аркадьевну на пару трахали, а жужжа-

* Споры (от греч. *spora* — посев, семя) — бесполье репродуктивные образования, состоящие из одной или неск. клеток: покрыты, как правило, плотной, устойчивой к внеш. воздействиям оболочкой. Развиваются в органах размножения грибов, водорослей, лишайников, мховидных, папоротниковидных и др. растений, а также у бактерий и паразитич. простейших. Служат для размножения и сохранения организмов в неблагоприятных условиях. БОЛЬШОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ. Москва, Научное издательство «Большая российская энциклопедия», 1998.

ли на кухне — все жу-жу-жу да жу-жу-жу. Дескать, согласен ли с таким названием «оттепель» или не согласен? Сумеет ли МЫ, НАШИ, СТЕНКА утвердиться, СКАЗАТЬ СВОЕ СЛОВО или не сумеет?

Сумели, сказали, снимаем шляпу... Сняли шляпу, долго стоим на морозном ветру. Голова стынет, может быть менингит, загнешься, по районным поликлиникам гуляючи... Шляпу надеваем обратно...

Итак, немного о квартире Ирины Аркадьевны. Квартира эта однокомнатная, но квартира у нее славная: теплая, сухая, солнечная. Интерьер? Интерьер интеллигентного сов. (современного) человека конца семидесятых XX. Кое-что даже и зарубежное — календарь цветной, французские рушнички, сумки полиэтиленовые — «Абба», «Бони М» да «Монтана», ну, ковер, конечно же, весь пол затянут серым паласом. Кресло никелированное, как у врача. ТВ (цветн.), письменный стол, концертная домра, много кофе. «Будете пить кофе? Сейчас сварим кофе. Я не начинаю свой день без чашечки кофе. Знаете, они могли сделать все что угодно, но поднимать цены на кофе — это, знаете ли...»

Зачем Ирина Аркадьевна играла на домре-прима 2 — это понятно и дураку: она думала, что ОНИ ее будут пускать за границу в составе профессионального оркестра народных инструментов. Но покойник-муж, чей скорбный фото-портрет с бородавкой на носу украшал пустую белую стену, что-то там такое на подписывал в защиту там кого-то или против танков, которые в Праге, да вдобавок еще и писатель из Парижа позванивал, так что Ирину Аркадьевну только в Монголию и пустили один раз, сыграть для размещенных там советских частей вальс из оперы «Иван Сусанин».

Совершенно не хочу злобствовать, потому что я очень добрый человек, и поверьте, что я не глумлюсь над «шестидесятниками», я искренне уважаю их, хоть и имею на их счет свои представления. Я не хочу злобствовать, и я не стану говорить о дальнейшей жизни Ирины Аркадьевны после внезапной смерти знаменитого мужа, который вздумал доказать приятелю, что он, пятидесятилетний мужчина, свободно может плавать в ледяной волжской воде (г. Тутаев Ярославской обл., весна 1969-го), не стану описывать ее увлечения, ее взаимоотношения с «творческой молодежью» (это вы и на моем примере видите!), не упомяну даже о ее «салоне», где считали, что Галич, конечно же, *выше* Высоцкого, а вот Аверинцев — это настолько уникальное явление, что он годится для любой системы и в этом смысле является непременно эталоном, хотя, естественно, по степени таланта он «тянет на гения», это не всякому дано, а эталон — лишь потому, что хватит в самом-то деле кулаками махать, устали кулаки, ОНИ УСТАЛИ*, хватит, бетонную стену кулаками не прошибешь, нужно это шестиплоскостное пространство облагородить — сыграть Мольера на старофранцузском языке, Генделем в стену захерачить, авось и рассыплется стена от Генделя, от Мольера да от Ирины Аркадьевны, хватит махать кулаками...

Конец истерики. И мне хватит махать языком, раз уж взялся я описывать, как Ирина Аркадьевна возвращалась глубочайшей ночью домой и что с ней потом случилось, это в конце-то концов делает меня смешным, истерики на бумаге разводиться — это непрофессионально даже в конце-то концов. «В России все занимаются не своим делом», — сказал мне один француз. Цитата, наверное... У меня нет систематического гуманитарного образования. Меня не приняли в МГУ, Литинститут и ВГИК. И правильно сделали — будь у меня систематическое гуманитарное образование, я б вам такого понаписал!.. В МГУ — рабочего стажа не было, требовалось два года рабочего стажа, в Литинститут — не прошел творческий конкурс, несмотря на русскую народность, во ВГИКе сочинил этюд про распивание

* Фрагмент текста распространенной в СССР татуировки, посвященной человеческим ногам определенной категории советских граждан. Полностью читается, как «ОНИ УСТАЛИ, НО ХРЕН ДОГОНИШЬ».

самогонки председателем колхоза вкупе с бухгалтером, тишайшим Коленькой... Приняли было в Союз писателей, да и оттуда потом выперли. Неправильно все это... Я бы мог послужить Отчизне, да мне не дают... И хватит, хватит!..

Повторяю вам торжественно, тихо, мерно и скромно, что —

...Ирина Аркадьевна, сорока двух лет, со следами былой красоты на молодом лице, частенько возвращалась в свою квартиру глубочайшей ночью, ибо это было связано с ее профессией, заключающейся в игре на домре-прима 2 в профессиональном оркестре народных инструментов. Хотя уродом ее никак нельзя было назвать, но была Ирина Аркадьевна собой нехороша — какая-то торговая была ее красота, и голова у нее была совершенно песья. Болезни сорокадвухлетнего возраста не коснулись Ирины Аркадьевны, она, выйдя из такси, ступала легко и свободно, а домру свою, кормилицу, домру-прима 2, народный русский инструмент в кожаном футляре, ласково прижимала к боку. И не от такой уж большой любви, а от того, что домра та была концертная, очень дорогая, стоила больших денег и *обогащала* Ирину Аркадьевну, а все остальное только *разоряло* ее, и в идеалистическом, и в материалистическом понимании этого глагола.

Одолев четыре с половиной этажа, Ирина Аркадьевна запыхалась и остановилась подышать, коснувшись спиной облезлых лестничных перил. И тут же ее как электрическим током шибануло от облезлых лестничных перил: дверь в ее квартиру была открыта, и изнутри зияла квартира плотной, жуткой, бархатной, как сажа, чернотой. И кругом была темь. На улице была темь полная, ибо фонари в два часа ночи выключают, нечего по ночам шататься, а на лестнице было такое пятнадцатисвечевое лестничное свечение, что, казалось, при таком освещении Раскольников не только мог убить старуху, а просто обязан был это сделать.

Ирина Аркадьевна, цепenea, прислушалась, и ей показалось, что в квартире что-то щелкнуло, — позднее выяснилось, что это был холодильник. Ирина Аркадьевна молча застонала и, почти теряя сознание от страха, ссыпалась вниз по лестнице, причем ей еще и казалось вдобавок, что за ней кто-то бежит слышными шагами.

— Такси, такси! — завопила она, нервно добежав до освещенного проспекта. Плюхнулась на заднее сиденье и велела везти себя в 1274-е отделение милиции.

— Что-то случилось? — вежливо спросил ее шофер, круглолицый, с прической «ежик», вполне симпатичный малый, — раньше бы он ей обязательно понравился, этот «прагматический представитель нового поколения», будущий «новый русский», а теперь она лишь ответила сухо:

— Да, случилось...

И более не пожелала с ним разговаривать...

В отделении милиции № 1274 служили храбрые ребята. В отделении милиции № 1274 царил обыденная милицейская ночь: алкашей уже попрытали по вытрезвителям, фарца отторговалась, магазины пока не грабили, и милицейские немного отдыхали. Кто-то что-то кому-то читал из газеты, одни в шашки играли, другие дремали, когда Ирина Аркадьевна ворвалась в помещение и, волнуясь, рассказала все, что увидела, когда пришла домой.

— Я живу одна, — теребя застежку кожаного футляра, прибавила она. — Пожалуйста, товарищ начальник, отправьте кого-нибудь со мной. Я артистка, — сказала она.

Снова на такси тратиться не пришлось. Милиционеры оживились и с удовольствием посадили артистку в решетчатый «газик». Милиционеров было двое. Они любили свою работу. Они были профессионалами.

Тихо войдя в подъезд, тихо ступая по лестнице, они сделали Ирине Аркадьевне тайный знак оставаться на площадке четвертого этажа, а сами, обнажив пистолеты, подошли к двери, напряженно вслушиваясь в темноту.

— Где свет? — чуть слышно, одними губами спросил милиционер.

«Слева», — молча показала Ирина Аркадьевна.

Бросок. Резкий жест. Свет. Коридор. Кухня. Комната. Ванная — совмещенный санузел...

Никого! Лишь балконный ветер колеблет сиреневую штору да на кухне мирно жужжит злополучный холодильник.

— Будьте спокойны, товарищ артистка, — весело сказали милиционеры. — У вас в квартире никого нет. Живите спокойно.

— Ой, извините, я столько вам наделала хлопот! — растерялась Ирина Аркадьевна.

— Ничего. Это наша обязанность, — охранять покой и честь граждан, ваш вызов мы не считаем ложным...

???????????? Ну прямо-таки пошел сплошной реализм-натурализм. «Сержант милиции» И. Лазутина, бестселлер мешанской части населения, справедливо раскритикованный либеральной критикой времен цветения Ирины Аркадьевны, когда Ахмадулина, Вознесенский, Евтушенко и Рождественский собирали в Лужниках до ста тысяч публики...

— А вы... вы не откажетесь при исполнении обязанностей? У меня тут немного французского коньяка «Мартель», — лукаво улыбнулась Ирина Аркадьевна.

Милиционеры, слегка смутившись, выпили по стакану этого крепкого напитка и закурили «Мальборо» из пачки, любезно предложенной Ириной Аркадьевной.

— Это у меня замок такой, — жаловалась она. — Кажется, что захлопнулось, а на самом деле не захлопнулось. Ветер подул, от форточки балкон раскрылся, дверь раскрылась...

— Всякое бывает, — рассудили милиционеры и, не попрощавшись, не сказав никаких занятных историй, громко топая, ушли вниз.

Ирина Аркадьевна закрыла дверь на ключ и наложила на щеколду цепочку. Она бросилась к заветному ящику — все деньги были на месте; она бросилась — она волчком вертелась по квартире в четыре часа ночи, маленькая одинокая женщина, стареющая. И всё, всё, всё было на месте: золото, книги, пластинки, архив покойного мужа, письма писателя...

Теперь фиксирую: именно тогда, по-видимому, и произошел сдвиг в сознании Ирины Аркадьевны. Она на следующий день придирчиво расспрашивала соседок. Те признались, что действительно полдня видели открытую дверь, но считали, что хозяйка выгоняет чад — ведь не может же быть, чтобы дверь была открыта ни с того ни с сего, ведь не сошла же с ума хозяйка, не сошла же с ума дверь?

«Это были тупые, малообразованные женщины, заскорузшие от домашних хлопот», — решила Ирина Аркадьевна. «Кто-то был, приходил и ушел, кто-то был, приходил и ушел», — как заключение твердила Ирина Аркадьевна.

Осенью она выехала «по приглашению родственников» в Израиль. Мне ее жалко, но роза есть роза, бизнес есть бизнес, эвенк есть эвенк. Будем теперь халтурить с кем-нибудь другим. Похалтурим, поживем, поглядим на небо в алмазах, дорогой читатель! Психофизиологическое состояние — отличное! Вот такое!..

1979—1999



Не спас

РАССКАЗЫ

ГУМАНОИД

С точки зрения остальных Шурик был существом необычным и подпадал под емкое определение «ну что с него возьмешь!». Сам он насчет «что возьмешь» с остальными согласиться не мог, а насчет необычности — как раз мог. Только он не до конца понимал: необычен он? Или эти самые остальные?

По здравому размышлению Шурик склонялся к первому: а именно к тому, что необычность лежит в нем, в его, значит, личной области. Он даже иногда по ночам думал о себе: «А может,— думал,— я инопланетянин? Гуманоид, так сказать, и пришелец? Но тогда,— думал,— почему мне жрать хочется до боли? Тем более ночью, когда надо спать». И сам же себе объяснял: «Так, наверно, потому и хочется. Может, они, в смысле, мы — гуманоиды, ночью должны есть, а днем — спать. Может, у нас природа такая нечеловеческая». Тут, конечно, у Шурика сразу возникали сомнения. Потому что жена его и супруга Светик — которая гуманоидом не была на сто десять процентов — тоже ночью любила встать и перекусить чего-нибудь на скорую руку. Она даже на дверь холодильника бумажку самоклеящуюся прилепила и на ней себе написала: «Ночью не жрать! И так корова». Но, с другой стороны, а почему бы людям и гуманоидам не иметь каких-нибудь общих черт и сходств? Как бы там ни было, а все мы — дети галактики, все, до самого последнего человека, будь он хоть трижды гуманоидом и пришельцем.

Кстати, в чем состояла необычность Шурика — а некоторые трактовали ее как ненормальность,— никто толком сформулировать не взялся бы. Просто ясно было как божий день, что он то ли не от мира сего, то ли не в себе. И никаких сомнений на эту тему ни у кого не рождалось — ни у Шурика, ни у остальных. Но у остальных вообще сомнения рождаются нечасто. Это истина широко известная. Про остальных говорить вообще особого смысла не имеет. Потому как ну что такое «остальные»? Это все, что ли, скопом? Так и Шурик — один из всех. Все — они разные бывают.

Во что верится с осязательным трудом.

Но больше всего волновало Шурика не это. Его волновало, что будет с его детьми и потомками. Когда дети и потомки у них со Светиком появятся. Вернее, Шурика волновало: кем будут считаться их общие дети в том случае, если он действительно пришелец миров? Тоже пришельцами — по отцу? Или людьми в полном смысле этого слова — по матери? Тут подход может быть диаметрально различный. Как у разных народов к национальности. У русских или у тех же, например, украинцев она определяется хоть по отцу, хоть по матери — не важно и несущественно. А у евреев — строго по матери. И если твое отчество Абрамович, фамилия Абрамович, а мама у тебя турчанка, то для евреев ты не еврей, а турок. Хотя, конечно, и Абрамович.

Эти детские, если можно так их назвать, вопросы Шурик задавал себе регулярно. А ответа на них не имел ни малейшего. Может, потому не имел, что в собственном пришельчестве никакой уверенности у него не было. А сомнения — опять-таки были. И он их в конце концов задумал разрешить и развеять. Очень

простым, гениальным, надо сказать, путем. Он придумал сдать в больницу свои анализы. И если они — результаты анализов крови и всего такого — будут положительными, то есть не будут лезть ни в какие установленные человеческой медицинской рамки, значит, и сомневаться нечего.

В общем, приговорил Шурик все, что мог приготовить в домашних условиях, завернул это в газетку под названием «Торговый дом культуры» и пошел в близлежащую больницу. Вернее, в поликлинику районного масштаба.

Пришел, говорит:

— Мне бы анализы сдать.

А ему говорят:

— Направление.

Шурик начал не понимать, о каком направлении идет речь, а ему объяснили:

— Направление от лечащего врача давай.

Лечащего врача у Шурика, естественно, не было, так как он в последние годы ни от чего не лечился. Во всяком случае, не лечился при помощи врача. И он спросил:

— А где его взять, лечащего этого врача, если меня никто ни от чего не лечит?

Медсестра или кем там она была... в общем, человек в белом халате посмотрела на Шурика изучающе и спросила:

— А что это у вас в газетке?

— В газетке,— сказал Шурик,— у меня исходный материал. Я же говорю — мне сдать.

Конечно, медсестра могла послать Шурика подальше и заняться своими обязанностями старшего лаборанта. И она хотела его послать. Но не послала.

— Значит, вы с собой все, что нужно, принесли? — сказала она.

— Все,— сказал Шурик.— Кроме крови.

Тогда медсестра ему вежливо, на пределе своего терпения, объяснила:

— Вы понимаете,— объяснила,— нам надо знать, на что делать анализы — на сахар, допустим, или на что-нибудь другое. Общий, например, анализ...

Шурик обрадовался и сказал:

— Мне общий. Самый общий, какой только можно себе позволить.

— Зачем?! — Терпение лаборантки сошло на нет и закончилось.

— Этого я вам сказать не могу.— Шурик трижды извинился за то, что не может.— Но я заплачу. Если за анализы нужно платить.

— Сейчас за все нужно платить,— сказала старшая лаборантка.— Время такое. Трудное.

А дальше события развивались по следующему пути. Шурик успешно сдал все свои анализы плюс кровь, заплатил названную лаборанткой сумму денег без сдачи и ушел гордый сам собой и своей предприимчивостью. Ему было чем гордиться. Поскольку произнести простую фразу «я заплачу» Шурик никогда не умел. А тут, значит, пересилил себя и произнес в нужное время в нужном месте. Когда же он пришел за результатами исследований, в лаборатории сказали, что ему обязательно нужно обратиться к врачу. «Значит, я — он»,— подумал Шурик, восторжествовав. Но все-таки спросил:

— Почему мне нужно к нему обращаться? Девушка.

Лаборантка ответила просто, а главное — откровенно:

— Анализ показал наличие у вас крови в моче.

— Хорошо, хоть не мочи в крови,— сказал Шурик.

— А это еще неизвестно,— сказала лаборантка. И еще она сказала, чтобы Шурик следовал за ней.

Шурик добился своего, и всё про себя стало ему теперь ясно. А за лаборанткой он последовал из чистого любопытства и некоторого, так сказать, озорства. Чтобы посмотреть, как эти человеческие горе-доктора выпутаются из его гуманоидных анализов.

И он посмотрел. На свою голову.

Его срочно положили в больницу.

Шурик врачу возражал:

— Зачем мне больница? Я здоров, как гуманоид.

А врач говорил:

— Здоровы — и хорошо. Здорового человека лечить даже легче, чем больного.

Короче говоря и меньше рассуждая, можно сказать, что на больничную койку Шурик угодил как кур в ощип. Или — во щи. Он позвонил из автомата жене своей, Светику, и пожаловался: мол, такое дело, — и попросил принести ему зубную щетку, белье, стакан и поесть. А медикаменты ей медработники предписали обеспечить, когда она пришла к Шурику на первое свидание.

Конечно, Шурик ее разубеждал, говоря, что не стоит ничего им нести, поскольку он, Шурик, здоров. Но Светик говорила:

— Как же здоров, когда они все в один голос говорят, что болен?

Шурик склонялся к маленькому уху Светика и говорил:

— Да не соображают они ни хрена в моем здоровье. Здоровье у меня железное.

— А наличие крови в моче как понимать? — спрашивала Светик.

На что Шурик говорил:

— Никак не понимать, потому что это не кровь, может быть.

— Не кровь? — Вот теперь Светик никак Шурика не понимала. — А что?

— Ну, — говорил Шурик, — что! Я не знаю, что. Это, — говорил, — предмет для пристального научного подхода. Вот что.

Можно не сомневаться, и никого не нужно убеждать в том, что эти разговоры Шурика со Светиком успехом не увенчались. Светик, как верная жена и подруга, Шурику не поверила, а поверила, наоборот, врачам. И стала носить им всякие медпрепараты, покупаемые за большие деньги, иногда взятые в долг. А врачи этими принесенными препаратами Шурика интенсивно пролечивали. Несмотря на то, что не скрыли от Светика всю губительность болезни ее любимого мужа. Обратился он слишком поздно. Если б хоть на месяц или на два раньше обратился — можно было бы на что-то реально надеяться. А теперь — что ж. Теперь, конечно.

Шурик, со своей стороны, во время приходов Светика донимал ее одной навязчивой идеей. Он говорил:

— Забери меня отсюда домой. Они ж меня своими лекарствами убьют медленной, но верной смертью.

— Нет, — говорила Светик, — они тебя не убьют. Они тебя, наоборот, вылечат, спасут и поставят на ноги.

Между тем Шурику становилось все хуже и хуже. До тех пор становилось, пока не стало совсем плохо. И Светик вообще перестала уходить из больницы, сядя у постели своего единственного мужа сутки напролет.

И, конечно, случилось то, что должно было, к сожалению, случиться. Однажды утром Шурик пришел в сознание и сказал:

— Видишь? Я ж тебе говорил, что они меня угробят.

Потом он помолчал, собрался с последними в жизни силами, улыбнулся уже не из мира сего, а из космоса и на оптимистической ноте закончил:

— Ну, ничего. Наши этого так не оставят.

НЕ СПАС

Раньше Игорь Семенович считал и был уверен, что по его фамилии определить ничего невозможно. Относительно происхождения и национальной принадлежности. Он думал, что фамилия у него никакая, в том смысле, что нетипичная и нехарактерная. Швецкий. Не от слова «швед», конечно, а от слова «швец». Портной, значит. И имена у родителей его были, ничего конкретно не говорящие. Отца вообще, как Буденного, звали — Семеном Михайловичем, а мать тоже имя интернациональное носила: Инна Мироновна. То есть, возмож-

но, при рождении назвали их не совсем такими именами и отчествами, в 1918-м и 1920 году. Тогда у многих еще сохранилась народная традиция и привычка называть детей более откровенно и по-своему. Но те метрики и другие удостоверения личности не сохранились во времени, и в паспорта внесли им имена-отчества вышеупомянутые. И в свидетельствах о смерти те же имена значились. И на памятнике. Игорь Семенович общий памятник поставил на двоих. Поскольку всю жизнь они вместе прожили, одной семьей, в одной квартире. И со смертью, значит, ничего у них не изменилось. Об этом Игорь Семенович позаботился. И о себе одновременно позаботился. Потому что на одну могилу ходить все-таки удобнее, чем на две в разных местах. Тем более ходил он к родителям своим часто. Особенно если по сравнению с другими. Во-первых, на дни их рождения ходил. Во-вторых, на день смерти. Они в один день умерли. Не вместе и сразу, нет, умерли они в разные годы. Но оба пятого сентября.

Ну и обязательно весной, когда земля подсыхала, приходил к родителям Игорь Семенович. Чтобы убрать грязь, за зиму скопившуюся, цветы посадить, то, се. Да и так заходил, без повода и причины. Когда настроение соответствовало. Что тоже случалось чаще, чем хотелось бы. А по аллеям походит, посмотрит на черных ворон и собак кладбищенских — свободных и независимых существ, которые, правда, все равно о смерти напоминают, — и легче вроде жить какое-то время.

Он даже с удовольствием некоторым по кладбищу гулял, Игорь Семенович. Как по парку культуры и отдыха. Памятники разглядывал, то, что живые о мертвых на камне пишут, читал. А кроме того, он выяснил, что на кладбище точно так же можно своих знакомых встретить, как и на улицах города. Только в городе встречаешь тех, кто еще жив, а на кладбище — тех, кто уже мертв. Таким образом он директора своей школы встретил, Сотника Ивана Демидовича, и доктора Юрия Рябова, маму в самом конце лечившего, и своего однокашника Леньку Гусева, который был живее всех живых в группе, здоровее и жизнерадостнее.

И в общей сложности двенадцать лет ходил сюда Игорь Семенович время от времени, и все было тихо, спокойно, как подобает, несмотря на нервную политическую обстановку в стране. А потом, значит, началось и пошло с год назад вразнос, как по маслу.

Пришел он новой весной к родителям, смотрит, а памятник на земле лежит. Навзничь. Не разбит, не осквернен ничем, но — на земле. Игорь Семенович подумал, что, может, упал он. Сам по себе, без человеческого участия и умысла. Ну земля поползла под воздействием снега и талых вод. Земля же на кладбище жирная, скользкая — вполне могла поползти. И в тот, первый раз Игорь Семенович нанял рабочих местных, могильщиков, и они за некоторую — не малую, но приемлемую — сумму восстановили памятник на прежнем месте. Сказав, что теперь будет стоять не хуже, чем у Ленина, — никуда не денется. А через неделю буквально Игоря Семеновича что-то как в бок толкнуло. Он ехал в троллейбусе — по работе ему надо было — и неоправданно ничем вышел на предпоследней остановке. А не на последней, как полагал по ходу дела и по логике вещей. И пошел по асфальту. Дошел до кладбища, до могилы добрался — опять памятник лежит. На боку. И через обе фотографии краской зеленой полоса проведена. Жирная полоса. Прямо по лицам. Справа налево и наискось. А внизу, почти у самого основания, написано: «Ха-ха-ха».

Ну тут, конечно, деваться Игорю Семеновичу стало некуда, и все он понял как есть. Понял, что имеет дело с актом вандализма так называемым — о них в газетах не раз писали. Он это еще и потому понял, что осмотрел другие памятники и могилы, те, которые вблизи располагались, в радиусе обзора. И все они, если хоть намек какой-нибудь содержали на происхождение покойника нечистокровное, были как-нибудь испорчены. Или той же краской памятники расписаны нецензурно, или куски от них отбиты, а на одной фотографии усы к лицу кто-то пририсовал — опять же зеленую ядовитой — и окурочек к губам приклеил. А

лицо и памятник,— и могила, само собой разумеется,— женщине молодой принадлежали, в родах умершей.

И почувствовал Игорь Семенович в себе злобу, и понял, что начинает борьбу не на жизнь, а на смерть. Вернее — за смерть. Чтобы право смерти для матери своей и отца отстоять, право на вечный покой. Правда, с кем он собирался вести борьбу, было ему неизвестно. С невидимым противником, с фантомами. И не с ними самими, а с результатами их деятельности. Выследить-то такого противника невозможно. Разве только поселиться на кладбище, на ПМЖ. Но тут — всему свое время и свой час. И раньше этого часа никто на кладбище переселяться не должен и стремиться туда — тоже. И Игорь Семенович не стремился. Он только понял, что с рабочими договариваться об установке памятника — неэффективно. Никаких денег не хватит с ними договариваться. Да и кто даст гарантию, что не они же сами памятники и валят? В целях получения дополнительного левого заработка. От мужчин с такими лицами и с такой профессией можно ожидать чего угодно. Они посреди смерти работают, ежедневно, их проблемы и чувства живых людей давно не интересуют. Их только свои собственные проблемы интересуют: чтоб не стеснять себя в еде и в питье, а также в средствах передвижения и проведения досуга вне территории кладбища.

На всякий случай и для очистки совести Игорь Семенович все-таки зашел к ним, сказал, что над мертвыми кто-то глумится и издевается беззастенчиво, мол, разве это допустимо? А они сказали ему:

— Мы ничего,— сказали,— не знаем. Мы ж на ночь тут не остаемся жмуrows охранять. И нам,— сказали,— за это не платят.

Можно было бы, наверно, еще в милицию обратиться, но Игорь Семенович о таком варианте и ходе даже не подумал. Не пришла ему милиция в голову. А сделал он, значит, вот что. Он у соседа, лет пять уже без перерыва пьющего, автомобиль купил. То есть не автомобиль, конечно, а «Запорожец» старого образца. За сто долларов сосед ему этот «Запорожец» с дорогой душой продал. Причем в отличном состоянии. Руки-то у соседа хорошие были, когда не пил он. И у самого Игоря Семеновича тоже руки откуда надо росли. И не боялся он, что машина старая и в эксплуатации ненадежная, поскольку вполне мог с нею совладать своими силами и своим умом. А к машине он докупил лом с лопатой, растворитель и цемент. Задние сиденья вынул, все это туда сложил, и там оно находилось. Всегда. И каждую неделю, в воскресенье, стал Игорь Семенович по одному и тому же маршруту на своем «Запорожце» горбатым ездить. Приедет с утра, поставит памятник в вертикальное положение, зацементирует. Если краской он испачкан — растворителем краску смоеет. Посидит, покурит и уезжает отдыхать после трудовой недели. А в следующее воскресенье опять едет. И опять то же самое делает. Делает и думает:

«Я все равно упрямее вас, гадов. Только бы,— думает,— памятник не разбили и не уничтожили или, что еще хуже, не украли. А если,— думает,— попадетесь мне по какой-нибудь счастливой оплошности, убью я вас ломом или лопатой, в зависимости от того, что под рукой окажется. Убью и даже о добре и зле при этом не задумаюсь».

Короче, долго он так ездил. Всю весну, и все лето, и всю осень дождливую, и все начало зимы. Как на работу ездил. И понял в конце концов, что на свое терпение зря он надеялся и полагался и что не такое уж оно железное и вполне может лопнуть. А главное, неясно, что делать, когда терпение все-таки не выдержит: жить продолжать или чем-то иным заняться?

И тогда стал Игорь Семенович думать. Тут же, на скамейку, присел и думает. И придумать ничего не может. Так бы он, наверно, ничего стоящего и путного и не придумал, если бы не ворона. Которая, как в страшном кино, на кресте сидела. Уселась и сидит, значит. Головой вертит то вправо, то влево. Вот она и натолкнула Игоря Семеновича на эту мысль нестандартную. Вернее, не она, а то, на чем она сидела. Крест имеется в виду кладбищенский — вот что. Обыкновенный деревянный крест.

И позвонил Игорь Семенович шефу, и попросил на завтра отгул. А завтра поехал он к ребятам на завод, где раньше, еще при советском строе, работал, и заказал им крестик небольшой изготовить — из нержавейки. Ребята заводские, конечно, удивились: зачем ему это понадобилось? Но крестик сделали, без вопросов. Прямо в присутствии Игоря Семеновича. Сантиметров пятнадцати высотой крестик, не больше. И денег не взяли. По старой памяти и дружбе и в знак солидарности всех трудящихся. Игорь Семенович сказал им большое спасибо от всего сердца и поехал с крестиком своим на кладбище. А дома он еще дрель в машину бросил ручную, коловорот по-старому, и сверло, каким кафель сверлил, когда в ванной комнате ремонт делал.

Приехал — памятник стоит. Не успели еще с ним расправиться со вчера. Ну, Игорь Семенович достал коловорот, сверло в патроне зажал и сверху в памятнике отверстие просверлил вертикально. Довольно легко оно просверлилось в так называемой мраморной крошке. А в отверстие он влил цемента разведенного и крестик туда же вставил. И в «Запорожье» посидел, пока цемент схватываться начал. А после он решил еще посидеть — подождать, чтоб застыл цемент достаточно крепко.

Он так думал себе, Игорь Семенович, когда все эти действия производил: «Родители меня, — думал, — за этот крест не осудят, поскольку не были верующими при жизни, не успев дожить до свободы и открытости всех вероисповеданий без разбору. А Бог, если он, конечно, есть, тоже меня поймет. И, возможно, простит при случае. Потому что не может же он не понять, что я это не ради себя делаю, а ради родителей своих. Чтобы дали им, наконец, заслуженный покой. А то при жизни они его в глаза не видели и сейчас не видят. Разве это справедливо и по-божески?»

И всю последующую неделю Игорь Семенович даже злорадствовал наедине с собой втихомолку. Представлял себе, как подходят эти сволочи к могиле, а на памятнике — крест. Они смотрят на него, смотрят друг на друга и уходят. Несолоно, как говорится, хлебавши. И ехал он в следующее воскресенье на своем «Запорожье», веселясь внутренне и насвистывая. Хотя на кладбище, веселясь, нормальные люди не ездят.

А когда приехал и вышел из машинки своей, морально и физически уставшей, и к могиле вплотную приблизился, веселость его истаяла и иссякла. В один фактически миг. Потому что памятник теперь не только лежал на земле, но и разбит был что называется в мелкие дребезги. И крест, в грязь втоптаный, рядом валялся.

Не защитил он, значит, родителей Игоря Семеновича. Не спас. Наверно, потому не спас, что всё против фантомов этих бессильно. Всё и все. Даже Бог бессильен. Еврейский Бог, христианский... Оба бессильны. Что понятно, если вдуматься, и объяснимо. Ведь оба они есть один и тот же, всеобщий, единый и неделимый Бог, Бог, подаривший нам, людям, как образ свой, так и свое подобие.



Ирвин ШОУ

Год на изучение языка

Ирвин Шоу (1913—1986) довольно рано обрел литературную известность, правда, поначалу как драматург, автор нашумевшей антивоенной пьесы, написанной под влиянием гражданской войны в Испании, — «Предайте мертвых земле» (1936), а уж потом как автор рассказов и романов. В России об И. Шоу заговорили после того, как переводы его книг — трижды — становились важным явлением литературной жизни. Речь идет о романах «Молодые львы» (1948, рус. пер. 1961), «Богач, бедняк» (1970, рус. пер. 1979), «Вечер в Византии» (1973, рус. пер. 1976), кстати, самых значительных в немалом наследии писателя, ставивших принципиальные проблемы: в 40-е годы — борьбы с фашизмом, позднее — большие вопросы 60-х, отмеченных в США материальным благополучием и духовным кризисом, по крайней мере в интерпретации Шоу и других американских прозаиков.

Не будет преувеличением сказать, что «красные тридцатые» с их духовной атмосферой определили главные черты более чем полувекových творческих исканий Ирвина Шоу со всеми пришедшимися на его долю удачами и неудачами. В романах Шоу всегда присутствует подробно и точно выписанный социальный контекст, который постепенно начинает играть роль могущественной силы, противостоящей главному герою и искушающей его в лице своего полноправного представителя. Может ли человек устоять и сохранить себя во враждебных для него обстоятельствах — основная тема произведений Ирвина Шоу. Тема не нова, но каждая эпоха выдвигает своих героев, и рассказать о них так, чтобы это было интересно читателю, по силам лишь талантливому писателю.

Рассказы об американцах Ирвин Шоу писал всю жизнь. Первый был напечатан, когда автору исполнилось всего лишь семнадцать лет, а в 1979 году вышел в свет итоговый сборник под названием «Пять десятилетий», в котором собраны лучшие рассказы мастера. Наследник О. Генри, Шоу умеет с добрым юмором посмотреть на своих соотечественников, иммигрантов из разных стран, объединенных неустрашимой жандой жизни, свободы и творчества*.

— La barbe**, как ты выдержишь вонь? — спросила Луиза.

Она сидела на полу, скрестив обтянутые синими джинсами босые ноги и прислонившись спиной к книжному шкафу. На носу у нее громоздились большие очки в черепаховой оправе, которые она надевала для чтения, а рядом стояла коробка с маленькими эклерами, и она доставала их по одному, переворачивая очередную страницу. Луиза уже год изучала французскую литературу в Сорбоннском университете, но в этот момент на коленях у нее лежал французский перевод «Гекльберри Финна». По ее собственным словам, французская литература нагоняла на нее тоску, и время от времени не мешало подышать милым ароматом Миссисипи. Луиза приехала из Сент-Луиса и на вечеринках любила поговорить о своей родной воде. Не совсем понимая, что это значит, Роберта

* Рассказ «Год на изучение языка» взят из «Собрания сочинений» Ирвина Шоу в 3-х томах, которое готовится московским издательством «Захаров».

** Здесь: черт возьми (франц.).

втайне восхищалась ее словами, в которых ей чудились намеки на мистицизм жителей континента и храбрость тружеников реки. У самой Роберты, насколько ей было известно, не имелось никакой родной воды.

Роберта стояла у мольберта посреди просторной и захлавленной комнаты, которую они делили с Луизой с тех пор, как восемь месяцев назад приехали в Париж. Сейчас перед ней был длинный и узкий холст с парижскими витринами, и она старалась избавиться от влияния Шагала, влияния Пикассо и влияния Хоана Миро, которые тремя волнами накатили на нее в течение последнего месяца и мешали работать. Недавно Роберте исполнилось девятнадцать лет, и ее очень огорчала такая подверженность посторонним влияниям, поэтому она избегала смотреть чужие работы.

Длинным лебединым движением Луиза поднялась с пола, слизнула с пальцев крем и тряхнула черными блестящими волосами. Она подошла к окну, распахнула его и несколько раз глубоко вдохнула зимний сырой воздух Парижа.

— Мне страшно за твое здоровье,— сказала она.— Держу пари, если бы кто-то занялся художниками всерьез, то обнаружил бы, что половина из них умерла от силикоза.

— Это болезнь шахтеров,— безмятежно отозвалась Роберта, продолжая класть мазок за мазком.— Из-за пыли. А в масляных красках пыли нет.

— Подождем результатов исследования,— не сдалась Луиза. Она смотрела на улицу с высоты трех этажей.— Он был бы хорошеньким, если бы немного подстригся.

— У него красивые волосы,— возразила Роберта, не поддаваясь желанию подойти к окну и выглянуть наружу.— Сейчас все мальчишки так носят.

— Все мальчишки,— угрюмо повторила Луиза. Она была на год старше Роберты и уже прошла через два романа с французами, причем оба, судя по ее словам, закончились самым ужасным образом, и теперь изображала язвительную искусственность.— У тебя с ним свидание?

— В четыре часа. Он обещал отвезти меня на правый берег.

Не в силах сосредоточиться на картине из-за появления Ги, Роберта продолжала бессмысленно тыкать кистью в холст.

Луиза посмотрела на часы.

— Сейчас только половина четвертого. Ему не терпится.

Роберте не понравилась ирония в голосе Луизы, но она не смогла придумать достойный ответ. Лучше бы Луиза держала свое остроумие при себе. Стоило Роберте подумать о Ги, и ее всю начинало трясти, а так как в этом состоянии работать невозможно, то она решила помыть кисти.

— Что он делает? — спросила Роберта, стараясь, чтобы ее голос звучал как можно безразличнее.

— С тоской разглядывает витрину мясной лавки,— ответила Луиза.— Там сегодня специальный день. Ромштексы. Семьсот пятьдесят франков за килограмм.

Роберта почувствовала разочарование. Если уж на то пошло, то ей было бы куда приятнее, если бы он с тоской или без тоски смотрел на ее окно.

— Думаю, со стороны мадам Руффа очень жестоко никого к нам не пускать,— сказала она.

Мадам Руффа была их квартирной хозяйкой и жила в той же квартире, деля с девушками ванную комнату и кухню. Невысокая и толстая, носившая жесткие пояса и чудовищные корсеты, мадам Руффа имела отвратительную привычку без предупреждения врывать в их комнату и подозрительно оглядывать ее, словно они собрались сорвать со стен красный крапчатый дамаст или оставить у себя на ночь недостойных молодых людей.

— Она знает, что делает,— сказала Луиза, не отходя от окна.— Мадам Руффа живет в Париже пятьдесят лет. И изучила французов. Стоит пустить к себе француза, и его никакими силами не выгонишь до следующей войны.

— Ну, Луиза, почему ты всегда стараешься выглядеть такой... разочаранной?

— Потому что я разочарована. И ты станешь такой, если будешь продолжать в том же духе.

— Ни в каком духе я не продолжаю.

— Ха!

— Что значит твое «ха»? — спросила Роберта.

Луиза не стала объяснять. Она опять посмотрела в окно, придав своему лицу недовольное выражение.

— Сколько ему лет?

— Двадцать один, — ответила Роберта.

— Он уже тебя лапал?

— Нет, конечно.

— Тогда ему нет двадцати одного.

Луиза отвернулась от окна и вновь уселась возле книжного шкафа, взяв в одну руку французский перевод «Гекльберри Финна» и в другую — последний эклер.

— Послушай, Луиза, — заявила Роберта, стараясь произносить слова твердо и многозначительно. — Я не вмешиваюсь в твою личную жизнь и была бы тебе очень благодарна, если бы ты не вмешивалась в мою.

— Но почему бы тебе не поучиться на моем опыте? — хрипло возразила Луиза, глотая остатки крема. — На моем горьком опыте. Кроме того, я обещала твоей маме присмотреть за тобой.

— Забудь о моей маме, понятно? Я приехала во Францию, чтобы избавиться от нее.

— С удовольствием забуду, — отозвалась Луиза и перевернула зашуршавшую страницу. — Как подруга я обязана была сказать.

Все остальное время они молчали. Роберта проверила, хорошо ли уложены акварели в папке, которую она собиралась взять с собой, потом причесалась, повязала на голову шарф, тронула помадой губы и озабоченно оглядела себя в зеркале, как всегда, недовольная тем, что слишком американка и слишком юна на вид, слишком голубоглаза, слишком робка, слишком явно и безнадежно *невинна*.

Остановившись возле двери, она сказала погруженной в чтение Луизе:

— К обеду меня не жди.

— Еще только одно слово, — не в силах смириться, произнесла Луиза. — Берись.

Роберта хлопнула дверью и, держа в руках папку, зашагала по длинному темному коридору. В салоне, в маленьком позолоченном кресле, спиной к окну сидела закованная в корсет, как в железные латы, мадам Руффа, крутила на пальце бриллиантовое кольцо и внимательно следила через открытые двери за всеми входящими и выходящими из квартиры. Обменявшись с хозяйкой холодным кивком, Роберта, пока открывала три замка, с помощью которых мадам Руффа стерегла свой мир, несколько раз проговорила про себя: «Старая жесткая ведьма».

Печальная и подавленная, Роберта спускалась по лестнице, не замечая запахов застоявшейся воды, простывших и забытых обедов. Когда ее отец, еще в Чикаго, сказал ей, что сумел наскрести денег и она может год поучиться живописи в Париже, а потом прибавил: «Если ничего не получится с живописью, по крайней мере заговоришь по-французски», — Роберта не сомневалась, что перед ней откроется новая, свободная жизнь, в которой она станет уверенной в себе, взрослой и готовой на всякие приключения. А вместо этого — давящий авторитет старых мастеров, вечный надзор мадам Руффа и мрачные предостережения Луизы; никогда еще Роберта не чувствовала себя столь несвободной, робкой и растерянной.

Даже насчет языка ей говорили неправду. От силы три месяца, слышала она со всех сторон, и ты, в твоём-то возрасте, заговоришь, как настоящая француженка. Миновало уже восемь месяцев, и при том, что Роберта прилежно учила грамматику и понимала почти все, что слышала, стоило ей произнести более

пяти слов подряд, и ей тотчас отвечали по-английски. Даже Ги, признавшийся Роберте в любви, говоривший по-английски не лучше, чем Морис Шевалье в своем первом фильме, и тот самые-самые интимные слова произносил по-английски.

Временами, как, например, сегодня, ей казалось, что она никогда не вырвется из клетки детства и взрослая свобода с риском и неизбежным наказанием останется для нее недостижимой. Помедлив мгновение, прежде чем нажать на кнопку, открывавшую дверь на улицу, Роберта с отвращением вообразила себя запертой в своей невинности желчной старой девой, с которой никто не будет говорить о скандалах, смерти и страсти.

Недовольная собой, она поправила шарф, стараясь выглядеть пококетливее, и шагнула через порог на улицу, где возле мясной лавки ее подждал Ги, полировавший ручки «Веспы». Его длинное загорелое лицо настоящего средиземноморца, которое Роберта как-то раз, разговаривая с Луизой, сравнила с лицами Модильяни, просияло улыбкой. Однако сегодня Роберту это не обрадовало.

— Луиза права, — безжалостно произнесла она. — Тебе надо постричься.

Улыбка исчезла. Вместо нее появилось скучное высокомерное выражение, которое в другое время обязательно расстроило бы Роберту.

— Луиза, — сказал Ги, морща нос, — старый мешок с помидорами.

— Во-первых, — строго проговорила Роберта, — Луиза моя подруга и ты не должен так говорить о моих подругах. Во-вторых, если ты считаешь, что это американский сленг, то ошибаешься. Ты мог бы сказать: «Старая перечница». Но помидоры, говоря о девушках, никто не поминает со времен Пёрл-Харбора. Почему ты не говоришь по-французски, когда хочешь обидеть моих подруг?

— *Escoute, mon chou,* — произнес Ги уныло и почти безжизненно, отчего сразу показался Роберте старше и привлекательнее чикагских мальчишек, которые при ней боялись дышать и мямлили что-то несусветное. — Я хочу разговаривать с тобой и любить тебя. Может быть, даже жениться на тебе. Но я не желаю исполнять роль Берлицкой школы. Если обещаешь быть вежливой, то залезай на заднее сиденье, и я повезу тебя, куда хочешь. Но если хочешь сосориться, иди пешком.

Неожиданная твердость и независимость в тоне человека, терпеливо продавшего ее больше получаса на холоде, пробудили в Роберте чудесное смирение перед мужчиной. Обрели вес утверждения, которые она слышала (чаще всего от самого Ги), будто французские мужчины в самом деле умеют обращаться с женщинами, и юноши, которые ухаживали за ней там, возле Мичиганского озера, сразу превратились в ее воображении в неловких испуганных мальчишек.

— Я только сказала, — пошла на попятный Роберта, — что тебе было бы лучше со стрижкой.

— Поехали, — сказал Ги.

Он сел на мотоцикл, и Роберта неловко устроилась позади него: большая папка под мышкой мешала ей держаться за Ги. Для таких поездок она обычно надевала синие джинсы, потому что терпеть не могла развевающиеся на ветру юбки, имевшие обыкновение задираться в самый неподходящий момент, давая повод прохожим смотреть на нее с искренним, но неприятным одобрением.

Роберта назвала Ги адрес галереи на Рю Фобур-Сент-Оноре, владельцу которой ее рекомендовал учитель живописи, месье Раймон.

— Это не самая престижная галерея, — сказал месье Раймон, — но Патрини постоянно ищет юных художников, чтобы не очень тратиться. И ему нравятся американцы. Если повезет, он возьмет пару акварелей и повесит в задней комнате, авось кто-нибудь клюнет. Только не подписывай никаких документов, совсем никаких, и тогда все будет в порядке.

Ги завел мотоцикл, и они с грохотом устремились вперед, проскакивая между машинами и оставляя позади автобусы, велосипеды и прохожих с озабоченными лицами. Роберту поражала в Ги его неколебимая и задорная жажда риска. Сам он ссылался на свой характер и называл это бунтом против робкой буржуазной любви к безопасности своих родителей. Ему все еще приходилось жить с

ними: Ги учился, он собирался стать инженером и строить плотины в Египте, железнодорожные мосты в Андах и дороги в Индии; он не имел никакого отношения к волосатым бездельникам, что днями и ночами ошивались возле Сен-Жермен-де-Пре, обирали иностранцев, проклинали будущее, открыто занимались сексом и были очень похожи на персонажей фильмов «новой волны». Ги верил в любовь, верность, страсть и много говорил об этом, но не «лапал», как выражалась Луиза, Роберту: за все три месяца знакомства ни разу даже не поцеловал ее, если не считать прощального чмоканья в щечку.

— Мне больше не нужны беспорядочные дешевые отношения. Если мы будем готовы для чего-то другого, то сразу этой пойдем, — важно говорил он.

И Роберта обожала его в эти минуты, ведь ей в одной упаковке досталось лучшее, что было в Чикаго и Париже. Правда, Ги не знакомил ее со своими родителями.

— Они хорошие, солидные люди, *rauvres mais braves gens**, — объяснял он Роберте, — однако совершенно не интересны никому, кроме своих родственников. После одного вечера, проведенного с ними, ты убежишь в Гавр, только тебя и видели.

Они со свистом промчались по набережной Орсе. Внизу была Сена, и Лувр по другую сторону смотрелся, как французская мечта. Яркий шарф Ги и его длинные черные волосы развевались на ветру, от которого у Роберты румянились щеки и холодные слезы выступали на глазах. Она прижималась к дубленке Ги, восхищенная стремительной ездой по парижским улицам в серый зимний день.

Трясаясь на грохочущем мотоцикле, оставляя позади мост напротив Национальной ассамблеи, держа под мышкой папку со своими работами и обнимая за талию самого красивого юношу в Европе, который мчал ее мимо обелиска и каменных лошадей площади Согласия в галерею, где ей предстояло говорить с человеком, который за свою жизнь продал и купил двадцать тысяч картин, Роберта забыла обо всех сомнениях. Она знала, что правильно поступила, уехав из Чикаго, явившись в Париж и дав номер своего телефона Ги, едва он обмолвился об этом на вечеринке, устроенной Луизой три месяца назад в квартире ее второго французского поклонника. Над головой Роберты кружили почти осязаемые певчие птички счастья и удачи, и когда она спрыгнула с мотоцикла перед галереей на Рю Фобур-Сент-Оноре, то поглядела на негостеприимную дверь с самоуверенностью борца.

— *Ecoute, Roberta,* — сказал Ги, погладив ее по щеке, — *je t'assure que tout va très bien se passer. Pour une femme, tu es un grand peintre, et bientôt tout le monde le saura**.*

Роберта слабо улыбнулась ему, благодаря за поддержку и тактичность, ибо он предпочел французский язык.

— А сейчас, — проговорил он, переходя на английский, достойный Шевалье, — мне надо сделать несколько поездок для мамы. Через полчаса жду тебя в «Квини».

Помахав ей на прощание, Ги умчался на своей «Веспе» в сторону Британского посольства. Несколько мгновений Роберта глядела ему вслед, потом повернулась к двери. В витрине было выставлено огромное полотно в ярко-красных тонах, изображавшее не то стиральную машину, не то ночной кошмар, и, окинув его взглядом, Роберта подумала: дело верное, ведь я могу получше, — после чего толкнула дверь и вошла внутрь.

В тесной галерее с толстым ковром на полу картины висели чуть ли не одна на другой. В основном это были творения автора красной стиральной машины или его учеников, которые рассматривал единственный посетитель, мужчина лет пятидесяти в пальто с норковым воротником и в дорогой черной шляпе. Хозяина галереи легко было узнать по красной гвоздике в петлице и усталому, но в то же время хищному выражению на узком бездумном лице. Он стоял поза-

* бедные, но почтенные люди (*франц.*).

** Послушай, Роберта... я тебя уверяю, что все будет хорошо. Для женщины ты — большой художник, и скоро об этом узнают все (*франц.*).

ди мужчины в пальто с меховым воротником, вытянув по бокам белые руки, в любой момент готовые выписать счет или удержать потенциального клиента, если он вдруг вознамеритсялизнуть.

Роберта представилась месье Патрини, тщательно выговаривая французские слова, и он коротко ответил ей на блестящем английском:

— Раймон говорил мне, что у вас есть способности. Вон там мольберт.

Встав шагах в десяти от мольберта, месье Патрини немного хмурился, словно вспоминал не лучший в своей жизни ленч, пока Роберта вытаскивала из папки первую акварель и ставила ее на мольберт. Выражение лица Патрини не изменилось. Он все еще смотрел так, словно его преследовали мысли о жирном соусе или рыбе, совершившей слишком долгий путь из Нормандии. И не говорил ни слова. Лишь время от времени кривил губы — возможно, у него болел живот. Приняв это как знак продолжать, Роберта поставила на мольберт следующую акварель. Посреди показа ей почудилось, что мужчина в дорогой шляпе уже не рассматривает картины на стенах, а стоит неподалеку и следит за тем, как она ставит на мольберт акварель за акварелью. Сосредоточившись на Патрини, который ничем не выражал своих эмоций, Роберта ни разу не взглянула на мужчину в дорогой шляпе.

Патрини в последний раз скривил губы.

— Вот, — хмуро произнесла Роберта, ненавидя его и примиряясь с неудачей, — это все.

— Хм-м... хм... м-м, — произнес Патрини. У него был очень низкий голос, настоящий бас, и на секунду Роберте показалось, будто он произнес какую-то фразу по-французски, которую она не поняла. — Что-то есть, — проговорил он по-английски. — Правда, пока еще не очень понятно...

— Прошу прощения, *cher ami*, — вмешался мужчина в дорогой шляпе. — Помоему, вы недооцениваете нашу художницу. — Он говорил по-английски так, словно всю жизнь прожил в Оксфорде, но в его французском происхождении сомневаться не приходилось. — Моя дорогая юная леди, — продолжал он, снимая шляпу и обнаруживая великолепную стрижку на седеющей голове, — позвольте мне ненадолго задержать вас. Не будете ли вы так любезны поставить ваши картины вдоль стен, чтобы я мог не спеша рассмотреть их и сравнить?

Роберта молча посмотрела на Патрини. У нее появилось ощущение, что ее челость медленно отвисает, и она торопливо вернула ее на место.

— *Mon cher baron*, — отозвался Патрини, лучезарно улыбаясь полудружеской-полупотрагашеской улыбкой, — позвольте представить вам нашу талантливую американскую художницу, мисс Роберту Джеймс. Мисс Джеймс — барон де Уммхазедьберз.

По крайней мере так Роберта это услышала и прокляла себя за недостаточное внимание к французским фамилиям. Она постаралась мило улыбнуться седому французу и ответила ему неожиданно высоким голосом:

— Конечно, с удовольствием.

Роберта взяла свои картины в охапку и принялась расставлять их на полу вдоль стен. Вспомнивший о своих профессиональных обязанностях Патрини проворно помогал ей, и не прошло двух минут, как работы последних восьми месяцев уже представляли собой импровизированную персональную выставку Роберты Джеймс.

В галерее было тихо. Заложив руки за спину и едва заметно улыбаясь, барон шел от одной картины к другой, иногда убыстряя шаг, иногда ненадолго задерживаясь. Время от времени он кивал головой. Роберта стояла в сторонке и пристально вглядывалась в каждую картину, когда к ней приближался барон, стараясь увидеть ее опытным прищуренным взглядом пожилого господина. Хитрый Патрини, отойдя к окну, смотрел на проезжавшие мимо машины, непрерывное шуршание которых доносилось в теплую комнату с коврами.

Наконец барон подал голос. Он остановился возле картины, написанной в зоопарке в Венсене: дети в голубых лыжных костюмах заглядывают в клетку леопарда.

— Боюсь, не могу решиться, — проговорил он, не сводя глаз с картины. — Не знаю, выбрать эту или... — Он медленно пошел вдоль стены. — Или эту.

Он показал на последнюю работу Роберты — с витринами.

— Позвольте вам предложить, — немедленно отозвался Патрини, отворачиваясь от окна. — Возьмите обе картины домой и подумайте не торопясь.

Барон почтительно, едва ли не умоляюще обратился к Роберте:

— Юная леди не возражает?

— Нет, — едва не закричала Роберта. — Не возражаю.

— Прекрасно, — твердо сказал барон. — Завтра утром я пришлю за ними.

Поклонившись и надев свою дорогую шляпу, он скрылся за дверью, которую Патрини чудесным образом успел открыть перед ним.

После ухода барона Патрини тотчас вернулся в галерею за двумя wybranymi картинами.

— Прекрасно! — произнес он. — Это подтверждает мою давнюю мысль. В некоторых случаях клиенту целесообразно встретиться с художником, когда тот еще только в начале своего пути. — Держа в руках две акварели, он внимательно посмотрел на одноцветную акварель обнаженной натуры, написанную Робертой в студии Раймона. — Подержу-ка я ее у себя пару недель. Если пустить слухок, что барон заинтересовался вами, возможно, появятся другие покупатели. — Он взял ню в руки. — У барона знаменитая коллекция, как вам, несомненно, известно.

— Несомненно, — солгала Роберта.

— У него несколько великолепных картин Сутина, есть Матисс, перво-классный Брак. Конечно же, Пикассо. Как только он сообщит о своем решении, я дам вам знать.

В кабинете позади галереи зазвонил телефон, Патрини бросился к нему, унося с собой три картины, и тотчас послышался его напряженный шепот, напомнивший Роберте зашифрованную речь шпиона.

Покрутившись немного в галерее, девушка собрала свои картины и сложила их в папку. Патрини продолжал что-то шептать в трубку. Пришлось ей подойти к двери.

— Au revoir, Mademoiselle, — сказал Патрини и, ласково помахав белой рукой, вновь вернулся к своему разговору.

Роберте хотелось иного, ведь до сих пор никто не проявлял желания купить ее работы. Однако ожидать конца телефонных переговоров, обещавших затянуться до полуночи, было бессмысленно, тем более что Патрини уже попрощался. Роберта нерешительно улыбнулась и ушла.

В холодных сумерках Роберта весело и легко шагала мимо сверкающих, как бриллианты, витрин дорогих магазинов, и ее шарф, ее короткое серовато-коричневое пальто, синие джинсы, туфли без каблуков и большая зеленая папка под мышкой своей скромностью выделяли ее в толпе нарядных, раздушенных женщин в туфлях на высоких каблуках, составлявших фауну Рю Фобур-Сент-Оноре. Она шла мимо них и, как в волшебном сне, видела распаивающиеся перед ней двери музеев и светящиеся строгие буквы своей фамилии — *Джеймс* — над дверьми галерей и в витринах киосков. Невидимые птицы радости вновь запели у нее над головой и гораздо громче, когда она приблизилась к «Квини», где ее ждал Ги.

Чтобы не взглянуть, Роберта решила ничего ему не говорить. Вот когда все будет закончено, когда картину (какую-нибудь) барон купит, оплатит и повесит у себя на стенке, тогда она все расскажет и они устроят праздник. И потом, ей не хотелось признаваться Ги, что она не разобрала фамилию барона, а переспросить Патрини не посмела из робости. Завтра или послезавтра ей все равно придется зайти в галерею, и она как бы между прочим попросит Патрини продиктовать фамилию по буквам.

Ги сидел в углу большого битком набитого кафе, то и дело поглядывая на часы. На столике перед ним был полупустой стакан ананасового сока. У Ги ни-

когда не возникало желание выпить вина или чего-нибудь покрепче, и из-за этого Роберте не раз приходилось испытывать тайное разочарование.

— Вино — проклятие Франции, — повторял он снова и снова. — Из-за вина мы стали второсортной нацией.

Собственно, самой Роберте вино не было нужно, однако в ресторане у нее каждый раз появлялось ощущение, будто ее обманули, когда Ги, вероятно, единственный мужчина во всей Франции, заказывал *sommelier*, приносившему карту вин, кока-колу или лимонад. Это неприятно напоминало о Чикаго.

Она подошла к столу, и Ги, недовольный, поднялся.

— Что случилось? Я жду целую вечность. Выпил уже три сока.

— Извини, — сказала Роберта, пристраивая папку и усаживаясь в кресло. —

Пришлось подождать.

Немного успокоившись, Ги тоже сел.

— Как прошло?

— Неплохо, — ответила Роберта, подавляя желание немедленно все выложить ему. — Сказал, что хочет посмотреть, как я пишу маслом.

— Вот дурак. Он еще будет кусать себе локти, когда ты прославишься. — Ги взял ее за руку и подзвал официанта. — *Deux jus d'ananas**. — И пристально поглядел на Роберту. — Какие у тебя планы?

— Планы? — не поняла Роберта. — Ты о себе?

— Нет, — нетерпеливо махнул рукой Ги. — Это станет ясно в свое время. Я в философском смысле... о твоих жизненных планах.

— Ну, — неуверенно проговорила Роберта, которая много думала об этом, но не знала, как облечь свои мысли в слова. — Конечно же, я хочу стать хорошей художницей. Еще мне хотелось бы точно знать, что я делаю и почему делаю, и хотелось бы, чтобы людям нравилось смотреть на мои картины.

— Хорошо. Очень хорошо, — сказал Ги, словно ставил оценку примерному ученику. — А еще?

— Жить надо только так. Не хочу... ну... идти ощупью, как многие мои сверстники там, дома... Они не знают, чего хотят и как этого добиться. Они... ну они идут ощупью.

Ги удивился.

— Ощупью. Что это?

— *Tâtonner*, — ответила Роберта, довольная тем, что наконец-то может продемонстрировать свое лингвистическое превосходство. — Мой отец — историк. Он занимается войнами и часто говорит о военном тумане, когда все бегут кто куда и убивают друг друга, поступают плохо или хорошо, побеждают или проигрывают, не понимая того...

— Да-да, — перебил ее Ги, — это я уже слышал.

— А я думаю, что военный туман не идет ни в какое сравнение с туманом юности. Геттисбергская битва — мои девятнадцать лет. И мне не терпится выйти из этого тумана. Я хочу *ясности*. Мне надоела неопределенность. Это одна из причин, почему я приехала в Париж, — мне постоянно рассказывали, какие французы разумные. Может быть, удастся научиться этому.

— Ты и меня считаешь таким?

— В первую очередь. Поэтому ты мне нравишься.

Ги важно кивнул, соглашаясь, и сверкнул темными глазами из-под густых черных ресниц.

— Американка, ты будешь потрясающей женщиной. И ты еще никогда не была такой красивой, как сейчас.

Наклонившись, он поцеловал Роберту в холодную щеку.

— Замечательный вечер, — сказала она.

Они отправились смотреть фильм, о котором Ги слышал хорошие отзывы, а потом в бистро на левом берегу. Роберте хотелось забежать домой, оставить там папку и переодеться, но Ги не позволил.

* Два ананасовых сока (*франц.*).

— Сегодня я не хочу, чтобы ты выслушивала замечания своей Луизы, — загадочно проговорил он.

Фильм не особенно заинтересовал Роберту. На всех стенах кинотеатра висели объявления о том, что допускаются только зрители старше восемнадцати лет, и ее смутил ироничный взгляд билетера. Жаль, при ней не было паспорта. Сам фильм она почти не понимала, не в силах уследить за механической речью, как всегда, в кино или по радио, а затянутые сцены, в которых герои объяснялись, лежа голыми в постели, казались ей неоправданно откровенными. Прикрыв глаза, она стала вспоминать, мысленно приукрашивая, события минувшего дня и почти совсем забыла о Ги, который поднес ее руку к губам и как-то по-особенному целовал ей кончики пальцев во время самых драматических сцен.

За ужином он тоже вел себя странно. Надолго умолкал, что не было ему свойственно, и с нарочитой пристальностью смотрел на Роберту, смущая ее своим взглядом. Наконец, когда принесли кофе, Ги откашлялся, как самый настоящий оратор, протянул к ней через стол руки и сказал:

— Я решил. Пора. Неизбежное должно свершиться.

— О чем ты? — беспокойно спросила Роберта, стесняясь неприкрытого любопытства бармена, которому больше не на кого было смотреть в пустом ресторанчике.

— Пора нам поговорить по-взрослому, — ответил Ги. — Сегодня мы станем любовниками.

— Ш-ш-ш-ш...

Роберта в растерянности оглянулась на бармена и, высвободив руки, спрятала их под стол.

— Я не могу без тебя жить, — сказал Ги. — Мой друг дал мне ключ от своей квартиры. Он уехал к родителям в Тур. Его квартира за углом.

Роберта не стала делать вид, будто предложение Ги было для нее полной неожиданностью. Подобно всем девственницам, приезжающим в Париж, она была втайне убеждена, или примирена, или восхищена, короче говоря, она почти не сомневалась, что покинет Париж в ином качестве, нежели явилась сюда. Наверно, в любой другой день ее тронули бы слова Ги и она приняла бы его предложение. Даже сейчас ей пришлось признать, что он вел себя рассудительно и с достоинством. Однако она вновь не смогла справиться с суеверием, не позволившим ей рассказать Ги о том, что было в галерее. Пусть сначала определится судьба картин, а потом все остальное. Сначала картины. К тому же была еще одна причина, почему она не могла сказать «да». Пусть этого все равно не избежать, но в одном она уступать не желала — ни за что на свете она не отправится на свое первое любовное свидание в синих джинсах.

Недовольная собой, Роберта покачала головой, чувствуя, как горячая волна заливает ей щеки, шею, и опустила глаза в тарелку, потому что стоило ей взглянуть на Ги — и она краснела еще сильнее.

— Пожалуйста, нет. Не сегодня.

— Почему не сегодня?

— Это... это так неожиданно.

— Неожиданно! — воскликнул Ги. — Да мы уже почти три месяца встречаемся чуть ли не каждый день. Ты привыкла к другому?

— Ни к чему я не привыкла. Ты же знаешь. Пожалуйста, давай не будем об этом говорить. Не сегодня.

— Но сегодня есть квартира. А если мой друг еще год не поедет в Тур?

В первый раз Роберта видела Ги таким печальным и обиженным. Ей даже показалось, что его нужно утешить, и она погладила его по руке.

— Не смотри так. Может быть, в другой раз.

— Предупреждаю, — величественно произнес Ги, — в следующий раз просить будешь ты.

— Хорошо, — согласилась Роберта с облегчением и в то же время с разочарованием из-за его быстрого отступления. — А теперь плати. Мне завтра рано вставать.

Ночью Роберта лежала под тяжелым одеялом на своей узкой неудобной кровати и долго не могла заснуть от волнения. Ну и денек, думала она. Я на пороге того, чтобы стать художницей. И на пороге того, чтобы стать женщиной. Она хихикнула, вновь мысленно воспроизведя эту торжественную фразу, после чего крепко обхватила себя руками, с удовольствием ощущая нежную кожу. Если бы Луиза не спала, Роберта обо всем рассказала бы ей. Но Луиза крепко спала на своей кровати у противоположной стены, не забыв с вечера накрутить на бигуди волосы и намазать лицо кремом от морщин, которых у нее не должно быть еще лет двадцать. Роберта с сожалением закрыла глаза. Хорошо бы такие дни не кончались.

Через два дня, придя домой и включив свет, Роберта увидела на кровати адресованную ей *pneumatique**. Смеркалось, в комнате было холодно и пусто. Луиза еще не вернулась, и, как ни странно, мадам Руффа не играла на своем посту солитером, когда Роберта выбежала в коридор, где прочитала *pneumatique*: «Дорогая мисс Джеймс, пожалуйста, свяжитесь со мной как можно быстрее. У меня важные новости». Внизу стояла подпись: «Патрини».

Роберта взглянула на часы. Пять. Патрини наверняка в своей галерее. Чувствуя, как по спине бегут мурашки, а из головы улетучились все до одной мысли, Роберта направилась в салон, чтобы позвонить по телефону. Когда мадам Руффа уходила, она обычно запирала диск на замок, но могла же она хоть раз забыть об этом. Однако мадам Руффа никогда и ни о чем не забывала. Телефон был недоступен. Роберта три раза проговорила мысленно: «Жестокая старая ведьма», — и отправилась в кухню за горничной. Там оказалось темно, и Роберта вспомнила, что у горничной выходной.

«О, черт, — мысленно произнесла она. — Франция!»

Выбежав из квартиры, Роберта помчалась в кафе на углу, где был платный телефон. Однако будку занимал невысокий толстый мужчина с портфелем, делавший во время разговора записи на листе бумаги. Несмотря на шум в баре, Роберте удалось понять, что мужчина утрясает сделку с сантехником, и это может затянуться надолго. Париж, несправедливо посетовала девушка. Все только и делают, что днями и ночами висят на телефоне.

Она поглядела на часы. Пятнадцать минут шестого. Патрини закрывал галерею в шесть. Вернувшись в бар, Роберта заказала бокал красного вина, чтобы успокоиться. Как бы потом не забыть о жвачке, чтобы не пахло вином. На семь у нее назначено свидание с Ги, и, если он что-нибудь учует, не миновать нотации. В баре собрались рабочие, которые жили поблизости. Они громко разговаривали и смеялись, нисколько не заботясь ни о каких запахах.

Наконец будка опустела. Не теряя времени, девушка бросилась внутрь и сунула жетон в щель. Номер оказался занят. Роберте тотчас пришли на память нескончаемые переговоры Патрини, свидетельницей которых она случайно стала, и ее охватил страх. Двадцать пять минут шестого. Девушка выскочила из будки, заплатила за выпитое вино и помчалась к станции метро. До галереи путь был неблизкий, но ничего другого она придумать не могла. Ждать до утра ей даже в голову не пришло.

Хотя погода стояла довольно холодная, Роберта была вся в поту, когда без пяти шесть добралась до галереи. Красную стиральную машину еще не убрали из витрины. Девушка с силой распахнула дверь. В галерее никого не было, однако из офиса доносился таинственный шепот Патрини. У Роберты мелькнула сумасшедшая мысль, что он, верно, не прерывал своего разговора, начатого два дня назад. Подождав несколько мгновений, чтобы привести в порядок дыхание, она подошла к двери, ведущей в офис, и встала на пороге. Не сразу, но довольно скоро Патрини заметил ее и, не прекращая говорить, помахал рукой. Роберте ничего не оставалось, как вернуться в галерею и сделать вид, будто ее заинтересовало большое полотно с изображением чего-то непонятного, смутно

* пневматичка, пневматическая почта (франц.).

напоминавшего яйца малиновки, увеличенные раз в тридцать. Передышка пришла Роберте как нельзя кстати. Надо было взять себя в руки. Патрини, как она догадывалась, не принадлежал к тому типу людей, которым нравятся изъяснения восторга и благодарности. К тому времени, когда он появился, на скучном лице Роберты уже не было ничего, кроме легкого удивления.

Роберта слышала, как он положил трубку. А потом он вошел в галерею, похожий на большого мягкого зверя, бесшумно ступающего по толстому ковру.

— Добрый вечер, *chère Mademoiselle*,— сказал он.— Я несколько раз звонил вам сегодня утром, но какая-то дама сказала, что девушка с вашей фамилией у нее не живет.

— Это моя хозяйка,— вздохнула Роберта.

Мадам Руффа любила такие штучки, когда хотела прекратить то, что называла телефонной атакой.

— Я звонил, чтобы сообщить вам,— продолжал Патрини,— барон приезжал сегодня утром, и так как он не смог остановить свой выбор на одной картине, то решил купить обе.

Роберта от счастья закрыла глаза, правда, все же сделала вид, будто поглощена картиной на противоположной стене.

— Правда? Обе? Он умнее, чем я думала.

Патрини издал странный звук, отдаленно напоминающий смешок, но Роберта простила его: в эту минуту она могла простить что угодно и кому угодно.

— Он также просил передать вам, что вы приглашены сегодня к нему на обед. Мне нужно позвонить его секретарю до семи и сообщить ваш ответ. Вы свободны сегодня?

Роберта замялась. В семь она должна была встретиться с Ги, и ей ли не знать, что он явится без пятнадцати семь и будет ждать ее на холоде, являя собой покорную жертву ненависти мадам Руффа к мужчинам. Прошло всего одно мгновение, и она решила. Художники должны быть безжалостными, иначе какие они художники? Достаточно вспомнить Гогена. А Бодлер?

— Да,— небрежно проговорила Роберта.— Сегодня я свободна.

— Номер девятнадцать *bis* на Сквер-дю-Буа-де-Булонь,— сказал Патрини.— Это рядом с авеню Фош. В восемь часов. И ни в коем случае не спорьте из-за цены. Я сам обо всем договорюсь. Понятно?

— Я никогда не спорю из-за цены,— высокомерно заявила Роберта.

Ей нравилась собственная невозмутимость.

— Значит, я звоню секретарше барона, а завтра выставляю в витрине ню.

— Пожалуй, мне пора,— отозвалась Роберта.

Она понимала, что уходить надо как можно скорее, иначе стоит ей открыть рот — и из него вырвется торжествующий вопль. И направилась к двери. Неожиданно Патрини открыл ее перед ней.

— Это не мое дело, юная леди, но, пожалуйста, поберегитесь.

Роберта удивленно кивнула. И простила его. Лишь пройдя двести ярдов в западном направлении, она вспомнила, что не спросила фамилию барона. Когда же она миновала вооруженную стражу возле дворца Матиньон, то призадумалась о других проблемах. Естественно, в первую очередь об одежде. Из дома Роберта ушла утром, собираясь весь день бродить по мокрым зимним улицам Парижа, поэтому надела плащ, шарф, шерстяную юбку в складку, свитер, темно-зеленые чулки и лыжные ботинки. Вряд ли это подходящий костюм для обеда в особняке на авеню Фош. Но если вернуться домой, то там наверняка ждет Ги, а у нее не хватит мужества сказать ему об обеде у пятидесятилетнего французского аристократа. Ги расстроится, будет сердиться и доведет ее до слез. Ему это ничего не стоит. А как раз сегодня ей совсем не хотелось, чтобы у нее покраснели глаза и нос. Нет, решила Роберта, пусть барон полюбуется на нее в зеленых чулках. Если хочешь общаться с художниками, будь готов к их эксцентричным выходкам.

Однако у Роберты было беспокойно на душе из-за Ги, который терпеливо ждал ее на холоде. У него слабые легкие, и каждую зиму ему приходится бороться с тяжелейшим бронхитом. Роберта зашла в кафе на авеню Матиньон и

позвонила домой. Никто не ответил. Ох уж эта Луиза, сердито подумала Роберта. Когда надо, ее ни за что не найдешь. Не иначе как заводит роман с третьим французом.

Роберта повесила трубку и забрала жетон. Потом посмотрела на телефон, соображая, что делать дальше. Можно, конечно, позвонить Ги домой, и, когда он вернется, ему передадут, что она звонила. Но ей уже приходилось два-три раза разговаривать с матерью Ги, у которой высокий и раздраженный голос и которая делает вид, будто не понимает Робертино французского. Нет, только не сегодня. Пару раз в задумчивости подбросив жетон, Роберта вышла из будки, отложив мысли о Ги до завтрашнего утра. Решительно шагая в отвратительных сырых сумерках в направлении Елисейских полей, она старалась не думать о нем. Если любишь, будь готов к страданиям.

До Сквер-дю-Буа-де-Булонь путь был немалый, к тому же Роберта не сразу отыскала нужное место, поэтому было уже пятнадцать минут девятого, когда, сделав большой круг под черным дождем, она вышла к дому девятнадцать *bis* — огромному неприступному особняку, возле которого стояли «Бентли» и несколько машин поменьше и припарковывались еще две — три. Роберту удивили эти признаки многолюдного приема. По тону Патрини, которым он произнес свое последнее «поберегитесь», она поняла, что ее пригласили на свидание тет-а-тет, которое барону пришло в голову устроить со своей юной протеже. Пока Роберта добиралась до особняка барона, она обдумала это и решила не приходить в ужас и не робеть, что бы ни случилось, словом, вести себя как искушенная парижанка. Кроме того, у нее не было сомнений, что ей по силам сдержать пыл пятидесятилетнего мужчины, сколько бы картин он ни купил.

Успев хорошенько замерзнуть и промокнуть, Роберта позвонила в дверь, и тотчас появился привратник в белых перчатках, глядевший на нее так, словно не верил собственным глазам. Вступив в увешанный зеркалами холл с высоким потолком, Роберта сняла мокрый плащ и шарф и отдала их слуге.

— *Dites au Baron que Mademoiselle James est là, s'il vous plaît.* — Привратник продолжал стоять, держа в руках ее плащ и шарф и не сводя с нее широко открытых глаз. — *Je suis invitée à diner.*

— *Oui, Mademoiselle*.*

Он повесил плащ на вешалку подальше от полудюжины норковых манти и исчез в дверях, аккуратно закрыв их за собой.

Роберта взглянула на себя в зеркало и немедленно взялась за расческу. Ей почти удалось привести в порядок непослушные кудри, как дверь открылась и на пороге появился сам барон. Он был в смокинге и, завидев ее, замер на долю секунды, но тотчас его лицо вновь осветилось улыбкой.

— Прелестно, прелестно. Очень рад, что вы пришли. — Он церемонно наклонился и поцеловал Роберте руку, искоса глянув на ее ботинки. — Надеюсь, мое приглашение застало вас не в последнюю минуту?

— Я бы надела туфли, — честно призналась Роберта, — если бы знала, что у вас большой прием.

Барон рассмеялся, словно она сказала что-то очень остроумное, и пожал ей руку.

— Чепуха. Вы само совершенство. А теперь, — заговорщически проговорил он, — я вам кое-что покажу, прежде чем мы присоединимся к другим гостям.

Он повел ее по коридору в гостиную с розовыми стенами, в которой ярко горел небольшой камин. На стене напротив камина висели две ее акварели в прелестных рамках, разделенные великолепным рисунком Матисса. На другой стене был, несомненно, Сутин.

— Ну, как вам нравится? — нетерпеливо спросил барон.

Если бы Роберта сказала *правду* о том, что она чувствует, увидев свои ра-

* — Доложите барону, что пришла мадемуазель Джеймс... Я приглашена на обед.

— Слушаюсь, мадемуазель (*франц.*).

боты в такой потрясающей компании, ее слова прозвучали бы как последние аккорды Девятой симфонии.

— О'кей,— почти безжизненно произнесла она.— Думаю, они ничего.

Барон даже изменился в лице, изо всех сил стараясь не рассмеяться, но тотчас вынул из кармана сложенный вдвое чек и вложил его в руку Роберте.

— Вот. Думаю, вы не будете возражать. Я уже обсудил это с Патрини. И не беспокойтесь о комиссионных. Все улажено.

С трудом отведя взгляд от своих картин, Роберта развернула чек. Первое, что она попыталась разобрать, это подпись барона, желая наконец узнать его фамилию. Однако нагромождение острых букв ничего ей не сказало. Тогда она посмотрела на цифру. Триста пятьдесят новых франков. Больше пятисот долларов, автоматически пересчитала Роберта. Отец ежемесячно присылал ей сто семьдесят долларов на все про все. Я смогу всегда жить во Франции, подумала она. О Господи!

Девушка почувствовала, что бледнеет и чек дрожит у нее в руках. Испугавшись, барон заглянул ей в лицо.

— Что с вами? Этого мало?

— Нет, нет! — отозвалась Роберта.— Я хочу сказать... Ну, я даже не мечтала, что будет столько...

Барон сделал широкий жест.

— Купите себе новое платье.— Он посмотрел на юбку в складку, старый свитер и, очевидно, подумал, что обидел ее.— Я хотел сказать, делайте с ним, что хотите.— Он вновь взял ее под руку.— А теперь нам надо возвратиться к гостям. Но помните, если вам захочется взглянуть на свои картины, вы всегда сможете это сделать, только позвоните мне.

И барон, заботливо поддерживая, повел ее из розовой комнаты по коридору и в салон, оказавшийся огромной залой с картинами Брака, Руо и Сегонзака на стенах, в которой толпились множество французов в смокингах и французенок с обнаженными плечами и в драгоценностях. Изящно перемещаясь между золочеными креслами и диванами с парчовыми спинками и сиденьями, они создавали ту высокую самодовольную музыку, которая привычна в обществе образованных французов, мило и пристойно беседующих в кульминационный момент — за пять минут до обеда.

Барон представил Роберту множество людей, имена которых остались недоступными слуху девушки, но все любезно улыбались, и мужчины целовали ей руку, словно не находили ничего особенного в зеленых чулках и лыжных ботинках американки. Два или три господина постарше одобрительно отозвались о ее картинах, естественно, по-английски, а одна дама заявила:

— Как приятно вновь видеть такую американскую живопись.

Ее слова прозвучали двусмысленно, но Роберта, подумав, решила принять их как похвалу.

И вдруг, совершенно неожиданно, Роберта оказалась одна, в углу залы, с бокалом чего-то почти совсем прозрачного в руке. Барону надо было встречать новых гостей, а последняя группа, с которой он познакомил художницу, растворилась в толпе. Роберта смотрела прямо перед собой, веря, что если не глядеть вниз, то можно в конце концов забыть и о зеленых чулках, и о лыжных ботинках. Вот напьюсь, подумала она, и представлю, что я в платье от Диора. И она сделала глоток из бокала. Прежде ей не приходилось пробовать ничего подобного, но национальная генетическая память подсказала, что она вошла в мир потребителей мартини. Вкус напитка ей не понравился, однако она осушила бокал. По крайней мере было чем заняться. Мимо проходил официант с подносом, и Роберта, взяв еще один бокал, выпила его чуть ли не залпом и даже не закашлялась. Очень скоро в ее воображении лыжные ботинки превратились в туфельки от Манчини, и она уже не сомневалась, что все элегантные гости, даже стоя к ней спиной, с восхищением говорят только о Роберте Джеймс.

Прежде чем Роберта успела отыскать официанта и взять третий бокал, объявили, что обед подан. И вслед за дамами с обнаженными плечами и в брил-

лиантовых сережках она зашагала в столовую, где горели свечи и длинный стол со множеством рюмок и бокалов был накрыт розовой кружевной скатертью. Об *этом* надо обязательно написать маме, подумала Роберта, отыскивая свое имя на карточке. Я принята во французском свете. Как Пруст.

Ее место оказалось в конце стола рядом с лысым мужчиной, который вежливо ей улыбнулся и больше ни разу не посмотрел в ее сторону. Напротив был еще один лысый мужчина, оказавшийся в полной власти толстой блондинки слева. От барона Роберту отделяли четыре человека, ибо он сидел посередине как хозяин дома, однако он лишь однажды дружески взглянул на нее, и на этом их общение закончилось. С Робертой никто не заговаривал, все беседовали по-французски скороговоркой, проглатывая многие звуки и почти не поворачиваясь к Роберте, отчего, если не считать двух мартини, ослабивших ее контроль над собой, она понимала лишь отдельные фразы или слова и чувствовала себя едва ли не отщепенкой.

Поразил ее официант, который наклонился над ней и, прошепав что-то на ухо, налил в бокал белое вино. Роберта не поняла, что он сказал, и на мгновение ей показалось, будто он просит у нее номер телефона.

— Comment,— громко произнесла Роберта, готовая выставить его на посмешище.

— Montrachet, mil neuf cent cinquante cinq*,— прошептал он еще раз, и Роберта поняла, что он всего лишь называет марку вина.

Вино оказалось чудесное, и Роберта выпила еще два бокала с холодным омаром. Ела она много, потому что ей никогда не приходилось пробовать ничего более вкусного, однако в глубине души юной художницы поднималась ненависть к присутствующим, потому что они совсем забыли о ней: ей казалось, будто она обедает посреди Буа-де-Булонь в полном одиночестве.

После омара подали суп, потом фазана, и когда шато-лафит 1928 года сменил монтраше 1955-го, Роберта принялась с раздражением оглядывать гостей. В первую очередь она убедилась, что за столом не было ни одного человека моложе сорока лет. «Что я делаю в этом доме престарелых?» — мысленно спросила она себя, кладя в тарелку еще один кусок фазана и много смородинового желе. Но еда только разжигала пламя ненависти. Слепые галльские обыватели, биржевые маклеры и их расфуфыренные жены не заслуживают общества художников, если считают, будто достаточно усадить их в конце стола и накормить, словно нищих в бесплатных кухнях. Почему-то за время обеда Роберта убедила себя в том, что все мужчины за столом биржевые маклеры. Не в силах забыть о своих зеленых чулках и спутанных волосах, она жевала грудку фазана и старательно прислушивалась к тому, о чем болтали вокруг. Обида обострила ее языковое чутье, и ей стали вполне доступны некоторые фрагменты беседы, долетавшие до ее слуха. Кто-то сказал, что надо твердо стоять в Алжире. Кто-то вспомнил о спектакле, которого Роберта не видела, и посетовал на ужасный второй акт. Дама в белом платье заявила, что слышала от своей американской подруги, будто президент Кеннеди окружил себя коммунистами.

— Ну и чепуха! — довольно громко произнесла Роберта, но никто даже не повернул к ней головы.

Роберта взяла еще один кусок фазана, выпила еще вина и еще сильнее помрачнела. У нее появилось ощущение, будто она не существует. Интересно, что надо сказать, чтобы привлечь к себе внимание? Что-нибудь эдакое. И Роберта стала продумывать варианты. «Мне показалось, будто я слышала фамилию Кеннеди. Знаете, я близка с этой семьей. Может быть, кто-то не знает, но президент планирует не позже августа вывести из Франции все американские войска». Наверно, они оторвутся от своих тарелок хотя бы на секунду, услышав *такое*, мрачно подумала Роберта.

Или ошарашить их рассказом о себе? Например: «Я хочу извиниться за сегодняшнее опоздание, но мне пришлось вести переговоры с Музеем современ-

* — Что...

— Монтраше, тысяча девятьсот пятьдесят пятый (франц.).

ного искусства в Нью-Йорке, который готов купить четыре моих картины. А агент советует подождать, ведь осенью у меня персональная выставка».

«Снобы,— думала Роберта, с неприязнью оглядывая соседей по столу.— Наверняка незаметно переведут разговор на другую тему».

Продолжая молчать, она прекрасно понимала, что ничего не скажет, ибо бесчестно загнана в ловушку юных лет, неподобающего наряда, невежества, отвратительной застенчивости. «Тоже мне, Пруст,— с яростным презрением подумала она.— Французский свет!»

Роберте хотелось объявить войну всем вокруг. Она глядела на мужчин и женщин через хрустальный бокал, и они казались ей глупыми и фальшивыми со всеми их разговорами о неудачном сезоне для фазанов, ужасных вторых актах и коммунистах в окружении президента. Ее взор устремился на небрежно-элегантного барона с безукоризненной прической, и почему-то его она возненавидела сильнее, чем остальных. «Знаю, что *ему* нужно,— пробурчала Роберта, не отрываясь от бокала,— но ему этого не получить».

И она вновь налегла на фазана.

Ненависть Роберты к барону разгоралась ярким пламенем. Из каприза, чтобы развлечь своих друзей, ему пришло в голову пригласить на обед художницу, думала она, и, хотя ему отлично известно, что ее картинам там не место, он ради шутки повесил их в одной комнате с картинами Матисса и Сутина. После ее ухода он все исправит, позовет слугу в белых перчатках и прикажет унести картины в подвал, или на чердак, или в ванную поварихи, где им положено быть.

Неожиданно она, словно воочию, увидела верного продрогшего Ги, терпеливо стоящего под ее окном. На глаза Роберте навернулись слезы, едва у нее мелькнула мысль о том, какая она бессердечная и какой он хороший по сравнению с собравшимися за столом прожорливыми болтунами. Ей вспомнилось, как сильно он любит ее, как уважает, какой он чистый и каким счастливым может стать, стоит ей пошевелить, фигурально выражаясь, мизинчиком. Глядя на тарелку с грудкой фазана и пюре из каштанов и на бокал бордо 1928 года, Роберта вдруг почувствовала, что не может больше без Ги, и еще почувствовала, что порча разъедает ее бессмертную душу.

Девушка резко поднялась. Наверное, стул упал бы, если бы его не подхватил один из мужчин в белых перчатках. Она стояла, выпрямившись и размышляя о том, вправду ли она такая бледная, как ей кажется. Стихли разговоры, и все взгляды устремились на нее.

— Прошу прощения,— обратилась она к барону.— Но мне очень нужно позвонить.

— Конечно, дорогая,— отозвался барон и тоже встал, легким движением руки позволив остальным мужчинам не следовать его примеру.— Анри проводит вас.

Официант, не меняясь в лице, отделился от стены. Расправив плечи и гордо запрокинув голову, Роберта в полной тишине последовала за ним, громко и ритмично стуча лыжными ботинками по скользкому полу. Дверь за ней закрылась. Никогда больше не войду сюда, подумала девушка. Не хочу никого из них видеть. Я сделала выбор. Мой главный выбор.

У нее подгибались колени и совсем не было уверенности, что она сумеет следом за Анри пройти весь коридор и добраться до розового салона.

— Voilà, Mademoiselle,— сказал Анри, когда они приблизились к инкрустированному столику, на котором стоял телефон.— Désirez-vous que je compose le numéro pour vous?

— Non,— холодно отозвалась Роберта.— Je le composerai moi-même, merci*.

Она подождала, пока Анри закрыл дверь, села на кушетку рядом со столиком и набрала номер Ги. В ожидании, когда кто-нибудь возьмет трубку, девушка смотрела на свои картины, казавшиеся ей в эти минуты бледными, банальными и неоригинальными. Роберта вспомнила, как была счастлива, когда барон

* — Вот, мадемузель... Желаете ли вы, чтобы я набрал номер?

— Нет... Я сделаю это сама, спасибо (*франц.*).

привел ее сюда. Я маятник, думала она, классический пример маниакально-депрессивной личности. Будь мои родители богатыми людьми, они послали бы меня к психиатру. Я не художница. И хватит носить синие джинсы. Надо постараться и стать хорошей женщиной, чтобы осчастливить какого-нибудь мужчину. Никогда больше не буду пить.

— Алл! Алл! — послышался сердитый женский голос.

Это была мать Ги.

Стараясь как можно четче произносить слова, Роберта спросила, дома ли Ги. Сначала его мать сделала вид, будто не понимает ее, и заставила несколько раз повторить одно и то же. Потом раздраженно ответила, что ее сын дома, но у него температура, он лежит в постели и не может подойти к телефону. Ей, по-видимому, очень хотелось повесить трубку, но Роберта настойчиво убеждала ее передать Ги несколько слов, не желая вновь услышать гудки, ничего не добившись.

Мать Ги с пронзительной яростью повторяла:

— Comment? Comment? Qu'est-ce que vous avez dit?*

Девушка пыталась сообщить Ги, что будет дома через час, и если он в состоянии вылезти из постели, то пусть позвонит ей, как вдруг услышала приглушенный шум, словно два человека вырывали друг у друга из рук трубку, а потом Ги, задыхаясь, произнес:

— Роберта? Где ты? Как ты? Что случилось?

— Я стерва, — прошептала Роберта. — Прости меня.

— Все в порядке. Где ты?

— В компании ужасных людей. Так мне и надо. Я вела себя, как последняя идиотка...

— Где ты? — крикнул Ги. — Назови адрес.

— Сквер-дю-Буа-де-Булонь, девятнадцать бис. Мне очень жаль, что ты заболел. Я хочу видеть тебя и сказать тебе...

— Никуда не уходи! Я буду через десять минут.

Зашумел немелодичный фонтан из французских слов, произносимых женским голосом, и трубку повесили. Роберта посидела еще минуту, чувствуя, как стихает боль в ранах, подлеченных голосом верной любви. Мне еще надо заслужить его любовь, благоговейно подумала Роберта. Мне надо заслужить его любовь.

Она встала и подошла к своим картинам. В эту минуту ей больше всего на свете хотелось стереть свою подпись, но картины были убраны под стекло, и она никак не могла этого сделать.

Выйдя в холл, Роберта надела плащ и повязала вокруг головы шарф. Дом казался тихим и пустым. Не было видно ни одного слуги в белых перчатках, и, что бы гости ни говорили сейчас о ней в столовой, их голоса не достигали ее ушей сквозь закрытые двери. Роберта в последний раз посмотрела на зеркала, мрамор, норковые манто. Это не для меня, решила она без всяких сожалений. Завтра она узнает у Патрини фамилию барона и пошлет ему дюжину роз, чтобы извиниться за свои плохие манеры. Иначе ей будет стыдно посмотреть в глаза матери. Интересно, а маме приходилось испытывать нечто подобное, когда ей было девятнадцать?

Тихо открыв дверь, Роберта выскользнула на улицу. «Бентли» и другие машины как стояли, так и стояли возле тротуара, а водители, печальные спутники богатых хозяев, мерзли, сбившись в кучу возле фонаря. Опершись спиной на железную решетку, Роберта почувствовала, как проясняется на холоде ее голова. Скоро она промерзла до костей, однако, помня о том, что Ги простоял возле ее дома несколько часов, не двинулась с места.

Гораздо раньше, чем Роберта рассчитывала, послышался шум мотора, и она увидела знакомую фигуру Ги, который под опасным углом выезжал с узкой улочки на площадь. Девушка вышла на свет, чтобы он не проехал мимо, и, когда он остановился рядом, обняла его обеими руками, не обращая внимания на шоферов.

— Спасибо, спасибо, — шептала она. — Увези меня отсюда. Немедленно!

* — Что? Что? Что вы сказали? (франц.)

Ги тоже обнял ее и легко коснулся губами ее щеки, после чего Роберта устроилась на заднем сиденье и крепко прижалась к юноше, когда «Веспа» помчалась прочь с площади. Они проехали мимо темных домов и оказались на авеню Фош. Пока этого было достаточно — скорости, холодного ветра, его дубленки у нее под ладонями, чувства освобождения. Они пересекли авеню Фош и, шурша шинами, выскочили в пробивающемся сквозь туман неверном свете фонарей на пустой бульвар в направлении Триумфальной арки.

Роберта еще крепче прижалась к Ги и шептала-шептала ему в воротник, но слишком тихо, чтобы он мог услышать:

— Я люблю тебя. Я люблю тебя.

У нее было ощущение чистоты и блаженства, словно она чудом не совершила смертельный грех.

Когда они подъехали к перекрестку, Ги придержал мотоцикл и обернулся. Лицо у него было напряженное.

— Куда теперь?

Роберта помедлила.

— Ключ все еще у тебя? От квартиры друга? Того, что уехал в Тур?

Ги от неожиданности резко нажал на газ, и мотоцикл подпрыгнул, едва не сбросив их.

Подъехав к тротуару, Ги поставил его на тормоз и повернулся к Роберте. На мгновение ей показалось, будто он испугался.

— Ты пьяна?

— Уже нет. Ключ у тебя?

— Нет, — в отчаянии покачал головой Ги. — Уже два дня, как он вернулся. Что будем делать?

— Поедем в отель. — Она сама удивилась тому, что сказала это. — Почему бы нет?

— В какой отель?

— В любой, где нам сдадут комнату.

Ги сжал ей руку повыше локтя.

— Ты уверена?

— Конечно. — Роберта улыбнулась, довольная своей греховной настойчивостью. Во всяком случае, из ее памяти улетучились все неловкости, совершенные ею за вечер. — Разве я не говорила, что сама буду просить? Вот и прошу.

У Ги дрогнули губы.

— Американка, ты великолепна.

Роберта подумала, что он поцелует ее, но, видимо, он еще не настолько себе доверял. Ги вновь завел мотор «Веспы» и поехал дальше с видом человека, везущего драгоценный фарфор по ухабистой дороге.

Они кружили уже по восьмому району Парижа, а Ги все никак не мог сделать выбор. Завидев впереди отель, он как будто притормаживал, а потом качал головой, что-то бормотал и мчался дальше. Роберте даже в голову не приходило, что в Париже так много отелей. Она совсем замерзла, но молчала. Этот город принадлежал Ги, и к тому же в подобных делах у нее совсем не было опыта. Если у него есть представление о некоем совершенном отеле для подобных случаев и он не желает удовлетворяться ничем другим, то и она, пусть даже проедет полгорода, жаловаться не станет.

Они миновали мост Александра III, проехали Дом инвалидов и оказались в предместье Сен-Жермен с темными улицами и массивными особняками за высокими стенами. Даже здесь было на удивление много отелей, больших и маленьких, роскошных и скромных, ярко освещенных и словно дремлющих в полумраке. Но Ги не остановился.

Наконец они оказались в той части Парижа, в которой Роберта не была ни разу, возле авеню де Гоблин, где начинались трущобы, и Ги заглушил мотор. На едва различимой в свете фонаря вывеске значилось «Hôtel du Cardinal, Tout Confort». Какой кардинал имелся в виду, оставалось непонятным, да и на словах «Tout Confort» краска порядком облупилась.

— Нашел наконец,— сказал Ги.— Мне говорил мой друг, что здесь хорошо заботятся о гостях.

Роберта слезла с мотоцикла.

— Выглядит очень мило,— солгала она.

— Остайся пока и присмотри за мотоциклом, а я займусь устройством.

У него был несколько растерянный вид, и он избегал смотреть Роберте в глаза. Входя в отель, Ги щупал бумажник, словно шел в праздничной толпе и опасался воров-карманников.

Роберта стояла, по-хозяйски положив руку на седло «Веспы» и стараясь настроиться на соответствующий лад. Жаль, что не удалось выпить третей мартины. Интересно, будет ли на потолке зеркало? А картинка с нимфами под Ватто на стенах? Не так уж много она знала о Париже, но *об этом* слыхала.

«Я должна быть обаятельной, веселой и красивой,— подумала она.— Ведь это любовь».

Поскорей бы вернулся Ги. Не очень-то приятно в одиночестве сторожить «Веспу» на темной улице. Ее тревожит не то, что ей предстоит провести ночь с мужчиной, убеждала себя Роберта, а нелепые подробности, например, с каким выражением лица надо пройти мимо портье. В фильмах, на которые ее водил Ги, девчонки даже лет семнадцати или восемнадцати такие проблемы не волновали. Они выглядели грациозными, как пантеры, чувственными, как Клеопатра, и ложились в постель с такой же естественностью, с какой садились за обеденный стол. Правда, это были француженки. Им легче. Но ведь Ги тоже француз. Роберта немного успокоилась. И все же ей в первый раз захотелось, чтобы Луиза хоть на пару минут оказалась рядом. Жаль, ей не пришлось в голову расспросить подружку, когда та поздно возвращалась и ее так и распирало от желания поговорить.

Наконец появился Ги.

— Порядок,— сказал он.— Портье разрешил поставить «Веспу» в коридоре.

Он взялся за ручки и повел мотоцикл вверх по лестнице, потом открыл дверь и вошел внутрь. Роберта следовала за ним, не зная, примет ли он ее помощь, хоть и тяжело дышит от напряжения.

Узкий коридор был освещен всего одной лампочкой, висевшей над конторкой седого и почти лысого старика-портье, который посмотрел на нее мертвым всезнающим взглядом.

— *Soixante-deux**,— сказал он и подал Ги ключ, после чего вернулся к разложенной на столе газете.

Лифта в отеле не оказалось, и Роберта следом за Ги поднялась по узкой лестнице на третий этаж. У него не сразу получилось вставить ключ в замок номера 62. Пришлось повозиться. При этом Ги что-то бормотал себе под нос. Наконец дверь поддавалась, и он включил свет. Когда Роберта проходила мимо него, он схватил ее за руку.

Зеркал на потолке не оказалось, нимф на стенах — тоже. Комната была маленькой и обыкновенной, с одной голой лампочкой на потолке, освещающей голубоватым светом узкую металлическую кровать, кресло из желтого дерева, покрытый засаленной бумагой стол и рваную ширму, скрывающую биде.

— Ох! — вырвалось у Роберты.

Стоявший сзади Ги обнял ее.

— Прости. Я забыл взять деньги, и у меня оказалось всего семьсот франков, старых франков.

— Ничего.— Роберта обернулась и попыталась улыбнуться. — Мне все равно.

Ги снял куртку и бросил ее на стул.

— В конце концов это всего лишь *место*. Не стоит особенно переживать из-за *места*, правда? — Он все еще избегал смотреть на Роберту и дышал на покрасневшие от холода руки.— Ладно, тебе надо раздеться.

— Сначала ты,— не раздумывая, отозвалась девушка.

— Моя дорогая Роберта,— заявил Ги, усиленно согревая руки,— всем известно, что в таких случаях девушка раздевается первой.

* — Шестьдесят второй (*франц.*).

- Но не я,— сказала Роберта и уселась в кресло прямо на куртку Ги. Ей пришло в голову, что быть обаятельной и веселой у нее не получается. Тяжело дыша, Ги встал рядом, и губы у него были голубыми от холода.
- Я тебе уступаю. На сей раз. Но дай слово, что не будешь смотреть.
- Зачем мне смотреть? — высокомерно произнесла Роберта.
- Иди к окну и повернись спиной.

Роберта встала и подошла к окну. Вытертые занавески пахли в точности как ковер на лестнице. О Господи, подумала девушка, никогда не думала, что будет так. Через двадцать секунд послышался скрип кровати.

— Все. Можешь смотреть.

Ги укрылся одеялом, и его лицо показалось ей темным и изможденным на сероватой подушке.

— Теперь ты.

— Повернись к стене! — приказала Роберта.

Она подождала, пока Ги исполнил ее приказ, потом быстро разделась и аккуратно сложила свои вещи поверх брошенных как попало вещей Ги. Холодная, как лед, она поспешила укрыться одеялом. Ги вытянулся вдоль стенки, и она, даже не касаясь его, чувствовала, как он дрожит.

Наконец он решительно повернулся к Роберте, но не дотронулся до нее.

— Zut! Гóрит свет.

Они поглядели на лампочку. И та ответила им взглядом ночного портъе.

— Ты забыла ее выключить,— с упреком произнес Ги.

— Забыла. Так выключи сам. Я не встану.

— Ты легла после меня,— жалобно проговорил Ги.

— Ну и что?

— Так нечестно.

— Честно или нечестно,— заявила Роберта,— а я не встану!

У Роберты появилось ощущение, что подобная беседа уже была в ее жизни. Неожиданно она вспомнила. Точно так же, когда ей исполнилось шесть лет и они жили в летнем домике, она пререкалась с братишкой, который был на два года младше. Воспоминание огорчило ее.

— Ты с краю,— сказал Ги.— Мне придется через тебя перелезть.

Роберта задумалась. Ее страшила мысль, что Ги прикоснется к ней, даже случайно, при свете лампы.

— Лежи где лежишь.

Резким движением откинув одеяло, она соскочила с кровати и в два прыжка оказалась возле выключателя, потом так же быстро вернулась в постель и вновь укрылась до самого горла.

Ги дрожал еще сильнее.

— Ты exquisite*. Я бы не смог.

На сей раз он, не отводя взгляд, протянул руку и коснулся Роберты, отчего она инстинктивно затаила дыхание и дернулась. Рука у него была, как льдышка. И тут Ги расплакался. Испугавшись, Роберта вся напряглась, а Ги рыдал, как ребенок.

— Ужасно! Я не виню тебя за то, что ты отодвигаешься от меня. Все должно было быть не так. Я такой неловкий, глупый. Ничего не умею. Это мне в наказание за то, что я три месяца врал тебе...

— Врал? — не двигаясь, переспросила Роберта.— О чем ты?

— Я притворялся,— несчастным голосом произнес Ги.— Нет у меня никакого опыта. И я не учусь на инженера, потому что учусь в *лицее*. И мне не двадцать один год, а всего шестнадцать.

— Ой! — Роберта закрыла глаза, желая вычеркнуть из своей жизни этот вечер.— Зачем тебе понадобилось врать?

— Потому что иначе ты даже не посмотрела бы на меня. Разве не правда?

— Правда.

Она открыла глаза, ведь нельзя же вечно держать их закрытыми.

— Если бы не было так холодно,— плакал Ги,— и у меня нашлись бы еще семьсот франков, ты бы ни за что не узнала.

* извини (*франц.*).

— Ладно. Теперь я знаю.

Теперь понятно, почему онпил только ананасовый сок. Но я-то почему такая дура? Неужели это навсегда?

Ги сел в постели.

— Наверно, мне надо отвезти тебя домой,— сказал он обреченно.

Роберте хотелось домой. Ей страстно хотелось оказаться на своей узкой кровати. Ей хотелось исчезнуть, спрятаться и начать все, всю жизнь, сначала. Но как начать сначала, как забыть этот несчастный детский голос? И она положила ему на плечо руку.

— Ложись,— ласково попросила она.

Помедлив одно мгновение, Ги повиновался и долго, отодвинувшись подальше, лежал неподвижно. Тогда Роберта сама придвинулась и обняла его. А он, положив голову ей на плечо и касаясь губами шеи, вновь расплакался. Роберта не разнимала объятия, и вскоре они согрелись. Ги, все еще вздыхая, заснул.

Роберта тоже задремала, но она часто просыпалась, каждый раз чувствуя теплое юное тело, доверчиво прижимавшееся к ней. И она с нежностью и жалостью целовала Ги в макушку.

Когда наступило утро, Роберта, стараясь не разбудить юношу, встала и оделась. День обещал быть солнечным. Ги лежал на спине, и его лицо во сне было счастливым и беззащитным. Роберта подошла к нему и коснулась ладонью его лба, отчего он тотчас открыл глаза и непонимающе уставился на нее.

— Уже утро,— прошептала девушка.— Вставай. Тебе пора в школу.

Она улыбнулась ему, и он не сразу, но все же печально улыбнулся в ответ, потом спрыгнул с кровати и стал одеваться. Роберта искоса поглядывала на него.

Они вышли в коридор. За конторкой сидел все тот же ночной портье, который скользнул по ним скучающим взглядом, погруженный в свои привычные мысли. Не стыдясь и не смущаясь, Роберта кивнула ему и помогла Ги вытащить «Веспу» на улицу. Через несколько минут они влились в утренний поток автомобилей и мотоциклов, а еще через десять минут остановились возле дома, в котором жила Роберта. Оба сошли с мотоцикла, и Ги никак не мог заговорить с девушкой. Несколько раз он повторил:

— Ну, я...

Потом:

— Как-нибудь мне, верно...

В утреннем свете его лицо было совсем мальчишеским. Наконец, крутя ручку тормоза и опустив глаза, он спросил:

— Ты меня ненавидишь?

— Ну конечно же нет,— ответила Роберта.— Это была самая замечательная ночь в моей жизни.

Наконец-то, с восторгом подумала она, я учусь быть умницей.

Ги недоверчиво уставился на нее, ища на ее лице ироническую усмешку.

— Мы еще увидимся?

— Увидимся,— как ни в чем не бывало проговорила Роберта.— Сегодня. В то же время.

— О Господи, если я сейчас не уеду, то опять расплачусь!

Роберта поцеловала его в щеку. Стремительно развернувшись, Ги вскочил на мотоцикл и с демонстративным презрением к опасности умчался прочь.

Пока он не исчез с глаз, Роберта оставалась на месте, потом вошла в дом, двигаясь по-женски уверенно и невинно, явно довольная собой. Она поднялась по темной лестнице и стала один за другим открывать замки в двери мадам Руффа. Прежде чем повернуть последний ключ, она помедлила. Решение пришло быстро. Никогда, *никогда* она не расскажет Луизе, что Ги всего шестнадцать лет.

Хмыкнув, Роберта повернула ключ и вошла в квартиру.

Вступление и перевод с английского Л. ВОЛОДАРСКОЙ



Воспоминания, документы

Валерия ПРИШВИНА

Невидимый град

ГЛАВА ИЗ РОМАНА

Автобиографический роман Валерии Дмитриевны Пришвиной (1899—1979) «Невидимый град» был написан в 1962 году и присоединен к огромному, в то время не опубликованному и неизвестному, а ныне опубликованному лишь частично архиву Михаила Михайловича Пришвина, который В. Д. Пришвина хранила, исподволь подготавливая его к возможности публикации в будущем.

Валерия Дмитриевна обратилась к автобиографии благодаря настоятельному совету Михаила Михайловича, который видел в ее судьбе судьбу поколения. Действительно, события ее жизни, как трагические, так и обиденные, ежедневные, стали отражением нашей истории, перемешавшей в России праведное с несправедным и создавшей ту культурную ситуацию, которую мы только в настоящее время пытаемся осознать.

Гибель близких, организация детского дома в Москве в первые послереволюционные годы, учеба в Институте Слова, организованном известным философом И. Ильиным, посещение Вольной академии духовной культуры, церковная жизнь Москвы в 20-е годы, трехгодичная ссылка в Нарым, встречи с людьми, известными и неизвестными, оставившими след и в русской культуре, и в ее судьбе, а также личные переживания становятся вехами духовной жизни Валерии Дмитриевны и делают эту жизнь уникальной.

История ее взаимоотношений с Александром Васильевичем Лебедевым начинается в 1920 году, когда они оба стали слушателями Института Слова. Александр Васильевич полюбил ее сразу, но их отношения еще долгое время оставались дружескими. В 1923 году они познакомилась с Олегом Полем, юношей незаурядным, который стал близким другом Валерии Дмитриевны и ее первой любовью.

Олег Поль к моменту их знакомства прошел долгий путь интеллектуального и духовного поиска: воспитанный в толстовском духе, он увлекался сначала индуизмом, теософией, затем классической философией и, наконец, обратился к русской религиозной философии, творениям подвижников христианства, православия. Валерия Дмитриевна считала, что пережила с Олегом самое трудное и самое высокое в своей жизни: они пытались осуществить свою любовь как совместное подлинно духовное творчество, напряженное духовное делание, строительство иного мира здесь, на Земле. Философско-богословский труд Олега Поля «Остров Достоверности», написанный в 1926 году им, уже монахом, жившим среди кавказских пустынников, обращен к Валерии Дмитриевне. В 1930 году Олег Поль вместе с другими пустынниками был арестован и расстрелян.

Отношения Валерии Дмитриевны с Александром Васильевичем, который всегда был для нее «не тот», оставались сложными и безвыходными. Последним событием этой жизненной драмы, выводящим ее за пределы понимания и нашего суда, стала смерть Валерии Дмитриевны на сороковой день кончины Александра Васильевича.

Встреча с Михаилом Пришвиным в 1940 году осветила смыслом жизненный путь Валерии Дмитриевны. Михаил Михайлович увидел в ней женщину, для которой любовь была встречей с миром другого, равного человека, оправданием своей судьбы, событием, оценил ее стремление преодолеть стереотипы в отношениях мужчины и женщины, сделать свою любовь действенной и благотворной. Благодаря записям пришивинского дневника мы понимаем, что из задуманного ею с Олегом, не понятого Александром Васильевичем, воплотилось, что переосмыслилось и что родилось за те тринадцать лет, которые Валерия Дмитриевна и Михаил Ми-

хайлович прожили вместе. Опыт их любви позволяет говорить о высоком отношении к женщине как пути в сферу высшей любви, к спасению Слова и сохранению личности писателя в жесткой культурно-исторической ситуации середины XX века в России, когда художник существует в полном одиночестве. Осмысление природы любовных отношений и их роли в судьбе человека позволяет считать любовь не только событием в жизни двоих, но и событием в культуре. «Мы с тобой — это Вселенная», — записывает в дневнике Пришвин и тем самым признает любовь способом борьбы за иную реальность, иной мир, воспроизводит пространство, где Слово, которому служит художник и за которое в это время платит если не жизнью, то свободой, звучит.

Мы предлагаем отрывок из автобиографии В. Д. Пришвиной «Невидимый град», которая в настоящее время готовится к печати в издательстве «Молодая гвардия».

Мы с Александром Васильевичем и с мамой оставались теперь одни от нашего прошлого и спасались в обыденной жизни служащих по учреждениям. Мы слушали радио, ездили в отпуск по путевкам, мы походили на серых обывателей <...>

Люди вокруг становились для нас не только неинтересными — они были в большинстве случаев опасны. Мы избегали всяких новых встреч и глубоких связей. Это тягостное существование, в котором не было никакой живой, свободной деятельности, всецело обращенное на личные переживания, делало вокруг призрачным всё, кроме своей боли. В этой жизни «для себя» я задыхалась, значит, была еще нормальным и живым человеком. Надо было выйти «из себя», но как? И вот пришло мне спасение.

Надо сказать, что храм Большого Креста, не поминавший митрополита Сергия, еще держался к началу 1932 года. Бесстрашно (с точки зрения мирской — бессмысленно) он отдавал своих детей на погибель. Ни с кем в этом храме я не была близко знакома, но обо мне еще, видимо, помнили. И вот новый очередной священник, появившийся на месте только что арестованного, прислал сказать, что хочет посетить наш дом. Меня безотчетно это насторожило, но было бы отступничеством отказать ему в его желании, и он пришел к нам и отслужил у нас на дому литургию. Священник оказался либо подставным филером, либо слабым человеком: все люди, которых он под тем или иным предлогом посетил, были арестованы. В их числе оказались и мы с Александром Васильевичем. Это случилось ранней весной.

Два новых захлестывающих душу переживания уносила я с собой, когда меня сажали в тюремную машину. Первое — это была жалость к матери, в такой силе я ее еще не испытывала до сих пор. Воспоминание об ее опрокинутом равно-белом, как бы посыпанном мукой лице в момент расставания разрывало физической болью сердце. Из последних сил держалась она на ногах, но, как только нас увезли, тут же свалилась без сознания. Подобрала ее всё та же Шура¹, почуявшая, как всегда, несчастье. Она и выхаживала маму в эти первые дни. Пережив случившееся, мама быстро оправилась и начала свою новую, мужественную жизнь в борьбе за меня. Но я об этом ничего не знала. Мысль о матери заполняла меня безраздельно, и не было ничего, самого страшного, на что бы я ни решилась, только бы ее утешить и спасти. Об этом и ни о чем другом я думала все дни и ночи своего заключения, и никогда еще так остро, как в то страшное время, я не любила свою мать.

Второе, не менее сильное чувство — это было освобождение из плена лжи: очищение, обновляющая уверенность, что только таким путем я могу спастись и выйти на свою дорогу.

«Я свободна!» — думала я, входя со страхом в двери лубянской тюрьмы, испытывая вместе с тем нечто, похожее даже на радость. Это не выдумка моя, рассказчика, это было одно из самых сильных в жизни переживаний: сознание освобождения на пороге тюрьмы!

С Александром Васильевичем нас тут же разъединили: я была уверена, что навсегда, и — буду правдива — именно этому радовалась. Меня долго вели по

¹ Александра Геннадьевна Попова, медсестра, друг Валерии Дмитриевны с юношеских лет.

коридорам тюрьмы, переделанной из здания гостиницы, и, наконец, я очутилась в продолговатой комнате с очень высоким потолком, бывшем гостиничном номере об одно окно, зарешеченное и закрытое снаружи вдобавок наклонным козырьком. Из-за этого в комнате было очень душно. Я заметила сразу прекрасно натертый паркет, а в углу — ведро («парашу»).

Несколько женщин — кто лежал, кто сидел на узких койках, стоящих голова к голове по стенам. Бледные лица, серьезные, без улыбки, настороженно обратились ко мне. Мое «здравствуйте» прозвучало здесь неуместно и осталось без ответа. Мне молча указали мою койку. Сколько времени суждено мне так сидеть в бездействии под неусыпным «глазком» в двери? Этот «глазок» и правила, под ним висевшие, где точно регламентировались все возможные наши проступки (не подходить к окну, не говорить громко и т. д.) и указывались последующие за них наказания. Сколько раз, глядя на них, я думала: как не ценят люди на воле своего простого и несомненного счастья — не видеть с утра и до утра (в камере не тушился на ночь яркий свет) одни и те же слова угрозы, не видеть равнодушного человеческого глаза, время от времени глядящего на тебя сквозь дверь.

Глаза дежурных охранников были разные, и так ли они все были к нам бесчеловечно равнодушны? Помню, прежде чем попасть мне в эту постоянную камеру, меня привели на несколько часов в тесную каморку без окон наподобие ящика, в котором нельзя было вытянуться во весь рост, где не хватало воздуха, и я стала задыхаться. Мной овладел ужас. И тут я увидела, что в дырочку (в «глазок») на меня смотрит человеческий глаз, и я услышала тихий голос, полный несомненного сочувствия: «Не волнуйтесь, вас сейчас отсюда переведут, немного потерпите!» Только голос и зрачок какого-то тоже зависимого человека: конвоира, часового, — и мне сразу стало легче дышать.

Был и другой случай в нашей общей камере. Ежедневно часовой входил к нам по утрам и открывал наше окно, чтоб проветрить помещение. Солдаты сменялись, и в очередь с ними появлялся совсем молодой белокурый паренек. Он с любопытством разглядывал нас. Но однажды, когда нам было отчего-то полегче на душе, одна из нас встретила его улыбкой, и потом все мы почему-то ему заулыбались. Парень остановился на минуту, как бы донельзя изумленный, его молодое лицо дрогнуло, и он растерянно нам в ответ в голос засмеялся. Потом вспомнил, что совершил преступление, обеими руками закрыл лицо и бросился опростетью к двери. А в двери за ним, конечно, следил глаз уже другого человека, и больше наш парень не появился никогда. Он, видимо, поплатился за свою простоту.

Нас не истязали, не подвергали прямым физическим пыткам. Они существовали для других категорий преступников. В чем же было преступление этих пяти женщин, с которыми я провела два месяца во внутренней лубянской тюрьме? Однажды мы пообещали друг другу, что оставшиеся в живых напишут историю нашей камеры. Я выполняю это обещание.

Пожилая женщина, привезенная вместе со мной, Екатерина Павловна Анурова, — в прошлом учительница и либералка, как и все лучшие женщины ее поколения. Занималась кооперацией, разнообразностью «хождения в народ» XX века. Я видела впоследствии ее мать — это была совсем простая крестьянская женщина в платочке узлом под подбородок.

Екатерина Павловна никогда не выходила замуж и, подобно Ольге Александровне Немчиновой², отдала жизнь идее служения добру. Под старость она поняла это добро как служение Христовой Церкви, потому что только здесь она увидела его неугасимо теплящимся сквозь изменчивую историю мира. Поэтому она была предана идее Церкви до самозабвения. Они с матерью, как и я со своей, были одиноки на всем белом свете.

Екатерина Павловна была сурова, фанатична и невзлюбила меня сразу. Ей подозрительно было во мне всё: начиная со свободы моей критики сектантства и формализма, встреченного мною и среди церковных людей, и именно среди них меня оскорблявших, и кончая моей короткой стрижкой и завивкой. Мы про-

² Организатор и педагог детского дома «Бодрая жизнь».

вели с Екатериной Павловной бок о бок полгода по тюрьмам, мы заботились друг о друге, как могли, но она ни разу мне не улыбнулась. За время нашего совместного заключения Екатерина Павловна ни разу не нарушила поста, несмотря на то, что кормили нас либо мясной похлебкой из фабричных отходов, либо густо сваренной перловой кашей без всякой приправы. Еще полагался нам черный хлеб. Хлебом с водой и питалась Екатерина Павловна. На Лубянке передачи из дому не полагались.

Екатерина Павловна, как и я, не состояла ни в каких политических организациях и не имела к ним расположения. Но она не посещала храмов, где поминался митрополит Сергей, и считала его «политику» в церкви падением православия. При аресте она успела условиться с матерью ни в чем не обманывать из «жалости» друг друга и принять покорно свою судьбу.

Зоя Петрова, молодая, прекрасно сложенная, привлекательная женщина с чудесным голосом. Даже на Лубянке она потихоньку пробовала нам напевать. Ее привезли сейчас неизвестно по какой причине из Соловецких лагерей, где она отбывала десять лет наказания взамен расстрела. По ее словам, она принадлежала к компании московской молодежи, увлекавшейся в те годы запрещенной поэзией Есенина. Вся их вина заключалась, возможно, в вольных разговорах. Зоя была обвинена в антиколхозном направлении. Я не берусь быть ее адвокатом, но... Зоя — и политика! Я могу свидетельствовать, что не видала женщину «типичнее» Зои, женщину, лишённую каких бы то ни было общественных идей и интересов. Она была призвана только к женской жизни, то есть любви к мужу и детям, и готова была из рук всякого мужчины легко принять и так же легко отдать любые идеи, если только она отдавала этому мужчине в обмен свою душу и тело. Наказывать ее лишением жизни, как она была наказана, было по меньшей мере бессмысленно.

В лагерях она влюбилась в одного из своих начальников (Зоя пела в лагерьном театре и была на общем фоне очень заметна), и он стал ее негласным мужем. Это случалось нередко в лагерях. Начальник обещал жениться на ней по отбытии срока. Сам он был из заключенных, что необходимо нам сейчас запомнить. И вот теперь начинается пересмотр ее старого дела. Ей угрожали новым обвинением. Она надеется теперь на своего «муженька», о котором говорит с восторгом и преданностью. Он-то ее отхлопочет!

И она поет нам вполголоса и думает только об одном — о своей загубленной и уходящей молодости. Как ей хочется жить! Внезапно разбуженная на ночной допрос, она бледнеет, но привычными, жалкими, трогательными движениями пробует пудрить носик зубным порошком (нам выдавали на Лубянке порошок и мыло!). Мы, остающиеся, наблюдаем и жалеем ее, такую молодую, красивую и уже погубленную. Зоя возвращается в камеру через несколько часов, измученная, валится без слов на койку и долго плачет в подушку. Наутро она рассказывает нам... Всё ясно: «муженёк» за нее не заступился. Есть признаки, что он даже делает себе за счет Зои карьеру. Он изобретает новый процесс и получит за него новый ромб и повышение по службе.

Победила ли Зоя разочарование, осталась ли сама жива? — на это я никогда не получила ответа.

На третьей койке, почти никогда не вставая и не шевелясь, лежало существо, похожее на индусского факира. Это был скелет, обтянутый бледной кожей и лишённый женственных форм. Голова скелета была перевязана длинным женским чулком наподобие чалмы, чтобы не мешали волосы. Тело тонulo в полуистлевшем халате и просвечивало сквозь дыры. Ввалившиеся глаза сосредоточенно смотрели внутрь себя. Но все же это была женщина, и звали ее Юлией Михайловной де-Бособр. Когда Юлия Михайловна изредка нам улыбалась, она становилась лучше красавицы. Сидела она здесь уже два года по делу своего мужа, дипломата. Юлия Михайловна была уверена, что мужа ее уже нет в живых. К своей судьбе она относилась с завидным равнодушием.

Впоследствии я узнала, что муж ее был расстрелян, а сама она получила сравнительно легкое наказание и, отбыв его, была «выкуплена» в Англию своей бонной за крупную сумму валютой, что практиковалось в сталинской России.

Четвертой сокамерницей была жена известного ленинградского ботаника, ближайшего помощника Николая Ивановича Вавилова, ни имени ни фамилии которой я не помню. Несомненно, что муж ее был невинным, влюбленным в науку человеком, подобно Н. И. Вавилову. Судьба этой женщины осталась мне неизвестной.

Пятой была молчаливая московская «советская» дама средней руки, жена какого-то партийного чиновника. Она пробыла с нами недолго, и мы почему-то инстинктивно опасались при ней откровенно говорить. Ее вызывали два раза на допрос. После второго допроса она пришла совершенно успокоенная, с вечера собрала свой нехитрый багаж и прилегла на койку не раздеваясь. В полночь ее вызвали «с вещами». Это значило — ее переводят в другое место либо выпускают. Она сдержанно с нами простилась. Было ясно, что она выходит на волю. Ясно нам было и другое — на каких условиях ее выпускают.

Шестой была я. День и ночь ломала я себе голову, какое обвинение мне предъявят и что было поводом к моему аресту. Впрочем, терзала меня лишь одна мысль — о матери. Но в первую же ночь я получила неожиданное утешение о ней, как ни прозвучит это наивно, я не хочу умолчать об этом.

Мне приснились Олег и Михаил Александрович³. Они находились со мной в каком-то покое, похожем на храм. Одежда, лица и самый воздух вокруг — все светилось. Они радостно обнимали меня и говорили: «Наконец-то ты с нами!» Вот и все мое утешение, после чего я проснулась успокоенной и утвержденной.

С Александром Васильевичем в сердце своем я рассталась навсегда: ложь и несчастье моей жизни кончились! А если встретимся, думала я, он останется мне другом и братом, как оно и было между нами сначала. Мы забудем наш несчастный и преступный брак.

Наконец через две недели ожидания меня вызывают днем и ведут длинными коридорами и лестницами, почти комфортабельными, с ковровыми дорожками. Только пролеты клеток для чего-то густо зарешечены. Догадываюсь: люди кончали собой, бросаясь в пролеты.

По внутренним переходам наконец меня приводят в учреждение, где все обычно: по коридору ходят свободно люди. Много воздуха и света. Меня вводят в один из кабинетов. Часовой остается за дверью.

За столом молодой человек, развинченный, бледный, с изящно-небрежными манерами — ему бы танцевать в ночном баре, потягивать вино из тонкого бокала... Обостренными нервами ощущаю, что я для него «не фигура», мне не придают особого значения. Молодой человек меня недолго допрашивает и предъявляет обвинение: я арестована за участие в организации «ИПЦ». Я ничего не понимаю. Молодой человек мне не верит. Наконец, снисходительно объясняет:

— Истинно-православная церковь.

Только-то! У меня скатывается камень с сердца. Ведь могли придумать что-нибудь посерьезнее: я наслушалась уже от Зои, поняла по скупым высказываниям Юлии Михайловны. Следовательно явно недоумевает, пытается внушить мне всю тяжесть преступлений этой «организации». Я действительно чувствую облегчение и не могу его скрыть, мне легко говорить:

— Никакой организации нет, это чистые и очень наивные люди, не скрывающие своей жизни. Ни с кем из священников я не связана.

— А священник, служивший у вас на дому литургию? — спрашивает молодой человек. И тут я понимаю, что это был филер.

— Его-то я знаю меньше всех.

— Назовите нам остальных!

Но я действительно не знаю никаких имен. Следовательно пытается меня запугивать моей матерью, что она тоже арестована, во всем созналась, она теперь при смерти.

Невидимые помощники — мои обостренные тайные способности или чувства — подсказывают мне, что все это ложь.

³ М. А. Новоселов (1864—1938?) — церковный деятель, писатель, близкий друг и духовный наставник Валерии Дмитриевны.

Меня отводят обратно в камеру с наказом «подумать». Екатерине Павловой предъявляют то же обвинение, что и мне. Мы подведены под один трафарет, и судьба наша, по-видимому, уже предрешена. Нам остается ждать. Через две недели меня вновь вызывают. На этот раз я в кабинете какого-то высокого начальника. Комната огромна. Начальник вышел и оставил меня одну. Я замечаю, что на окнах нет решеток. Наконец он возвращается. Я сижу на кончике стула. Начальник ходит передо мной и с любопытством разглядывает. Потом роняет отеческим тоном:

— Нет, такую ни за что в монастырь не возьмут!

Я вопросительно на него взглядываю.

— Любуюсь вами, — добавляет он примирительно и даже ласково.

Я настораживаюсь. К чему это поведет?

— Не буду от вас скрывать — за вас хлопочут ваши друзья и мои товарищи-коммунисты. Они ручаются за вас и готовы взять на поруки. Я опытный чекист и вижу, что они имеют основания. Вы белая ворона, случайно залетевшая в черную стаю. Мы вас переделаем. Но я сам связан законом, и, чтоб освободить вас, я должен подвести тоже достаточные основания для «Тройки», все решающей. Основанием может быть ваше письменное согласие работать у нас.

— Быть филером?

— Как резко! — морщится он. — К тому же это называется иначе и не считается позорным. Но я вас не заставлю делать эту работу: вы слишком наивны и прямы. Я даю вам слово коммуниста, что это только формальный предлог для вашего освобождения. Решено? — Он протягивает мне руку. (Заклоченным руки не подают!)

В это время телефонный звонок прерывает наш разговор. Начальник, сияя доброй улыбкой, разговоривает по телефону с ребенком:

— Значит, завтра едем? Только помни, чтоб уроки были сделаны с вечера.

Кладет трубку. Почти застенчиво:

— Это я с дочкой... Видите, какая погода — май! Собираемся на дачу за город. (Подразумеваемая между слов: «И ты могла бы так же...») Итак, решено? Вас тоже дожидается матушка. (Значит, мама свободна!) Посидите здесь в коридоре. Вас вызовет мой помощник и все оформит. А моя фамилия — Тучков.

«Тучков!» — вспоминаю я. Это главный следователь по церковным делам, самое страшное понаслышке имя. К нему-то пробивались и не могли пробиться наши старушки по делу М. А. Новосёлова.

— А как насчет бога? — подмигивает мне на прощание весело Тучков. — Ну ничего, ничего, это пройдет у вас постепенно. Вы жертва переходной эпохи, и вас винить не приходится. Это не вина, а беда! Видите, какой я философ: вы можете мне доверять.

Он трясет мне руку, и я одна, без конвоира, выхожу в коридор. Почти свободна... Все в голове моей медленно и тяжело кружится: стены, пол, мои мысли, сомнения, надежды... Это же крупный человек, он не опустится до прямой лжи, это не тот развинченный юноша. Решиться ему поверить?

Из противоположной двери в коридор выходит священник. Он идет со скромным достоинством, в летней соломенной шляпе, в темно-лиловом подряснике и с золотым крестом на груди. С ним нет конвоира. У дверей кабинета, откуда он вышел, с ним прощается вежливо за руку маленький, черный, сурового вида человек. Священник неторопливо уходит по плюшевым дорожкам. Он приходил сюда как свободный и на свободу, конечно, уходит... Значит, он... Меня начинает колотить мелкая дрожь.

В это время маленький мрачный человек обращается ко мне и безгласно делает рукой знак. Я встаю и вхожу в его кабинет. Это и есть помощник Тучкова. Он делает мне любезную улыбку, но глаза его не меняют мрачного выражения. Он читает заготовленную заранее бумагу — текст моего согласия сотрудничать у них. С каждым словом я чувствую, что тону, и нет мне уже спасения. Я мысленно слежу за «свободным» священником, который идет сейчас к выходу по плюшевым дорожкам.

— Ваша фамилия — Майская. Запомните, — слышу я слова черного человека. («Зачем мне вторая фамилия?» — думаю я.) — Сегодня ночью вы выйдете на свободу, — продолжает черный. — В камере никому ни слова. И не показывайте своей радости.

Он протягивает мне бумагу и ручку. Я подписываю. Бумага лежит перед ним на столе. И я не свожу с нее глаз.

— Две недели отдыха, — говорит чекист.

И тут я замечаю в его тоне новое: усталое пренебрежение.

— Вы придете (назначает мне точно день, час, место) и получите задание. Не вздумайте не прийти!

Эта последняя угроза и тот уходящий священник — как я могу им верить? Я автоматически, но с полной решимостью протягиваю руку, хватаю страшный лист, лежащий между мной и следователем, и рву его на мельчайшие куски.

Следователь разъяренно стучит кулаком, осыпает меня ругательствами и угрозами. Но теперь даже угрозы в адрес моей мамы меня не смущают. Я повторяю себе: лучше нам отмучиться обоим жалкий остаток дней, чем... Но только бы на одну минуту повидаться, чтоб передать ей свое мужество, свое решение. И тогда — на любую муку. Так думаю я уже потом, прислушиваясь к ровному дыханию спящих в камере. И тут я замечаю, что Юлия Михайловна тоже не спит и внимательно следит за мною. Я подхожу к ней, но мне не приходится ничего ей рассказывать: она и без слов все давно поняла.

— Не делайте этого — вы погубите свою мать и погибнете сами. Это соблазн, их обычный прием — обман. Вы поступили правильно и не сомневайтесь.

Она крестит меня и по-матерински целует. Мне становится просто на душе, и я засыпаю.

Ненадолго, впрочем, я засыпаю. Мне не дают отдыха в ту ночь. На рассвете меня снова ведут — теперь уже к Тучкову. Он садится со мной рядом на диван и начинает гневно поносить своего отсутствующего помощника:

— Неумный человек, я давно это вижу! Он не понял ни вас, ни моего задания! Вы будете отныне иметь дело только со мной одним — обещаю вам это.

Напрасно теперь уговаривает меня Тучков — я остаюсь непреклонна. Наконец я вижу, он понимает: меня теперь ему не соблазнить и не запугать. Весь наигранный лоск и любезность сползают с Тучкова. Он как бы линяет у меня на глазах и становится равнодушным ко мне и к судьбе моей усталым и серым чиновником. Он заученными фразами произносит последние угрозы.

«Десять лет лагерей? Не боюсь, — думаю я про себя. — Буду добросовестно работать, и они сами сбавят мне срок: хорошие работники нужны. Выдуманное ИПЦ — не такое дело, из-за которого убивают».

Наконец, он безразлично поводит плечами, нажимает кнопку. Входит конвоир и уводит меня.

На следующий день меня вместе с Екатериной Павловной вызывают «с вещами». Суровая женщина без единого слова, будто она немая, раздевает меня донага и осматривает. Сердце мое часто колотится от страха перед неизвестностью.

Нас сажают в закрытый черный грузовик, куда-то везут. Внутренние стены кузова исписаны: это последние слова прощания, бессильные крики о помощи. Многие из них знали: это их последний путь. Почему не потрудились стереть эти следы? Может быть, оставлены для устрашения последующих?

Нас выгружают во внутреннем дворе Бутырской тюрьмы. Мы с Екатериной Павловной снова вместе в камере, до отказа набитой женщинами: это уже не «комфортабельная» Лубянка с ее паркетными полами! И тут я получаю первую передачу с воли — я вижу мамину родную руку: она жива и на свободе!

И еще прикосновение родной руки: тюремный врач, женщина с умным и нежным лицом, без единой улыбки (наверное, запрещено), я запомнила только ее имя Варвара, осматривает меня и назначает в больницу. Конечно, это рука Александра Николаевича! Ведь из больницы не берут на допросы, в больнице дают отдельные постели с простынями. В больнице день и ночь открыты окна (пусть они и зарешечены) и можно досыта дышать.

В конце лета нас вызывают с Екатериной Павловной из камеры и зачитывают приговор: по три года в Западную Сибирь этапом.

— Этапом! — внушительно повторяет прочитавший приговор человек.

В камере мне объясняют: этап — это долгий путь, месяцами, с остановками в пересыльных тюрьмах. Этап — это входит в состав наказания, а некоторых заключенных выпускают на волю, и они сами едут к месту своей высылки.

Перед этапом полагалось свидание с родными. В большой комнате, разгороженной двумя рядами решетки, между которыми ходит часовой, собрались люди. По одну сторону мы, заключенные, по другую — пришедшие к нам на свидание родные. Я с трудом узнаю свою маму: исхудалая, постаревшая. Она судорожно сжимает в руках букетик цветов. Губы ей не повинуются, и она жалко, безгласно мне улыбается. Стоит страшный шум, все стараются перекричать друг друга. Я улыбаюсь: мне и впрямь бодро, уверенно стало жить.

Я говорю маме о том, что она приедет ко мне, что я буду в вольной ссылке. Мама не слышит слов, она жадно всматривается в меня. Теперь я вечно буду ее вспоминать, это измученное лицо, отделенное от нас двойной решеткой, как вспоминала до тех пор столько лет лицо своего отца. Раздается резкий звонок: прощание!

Мама протягивает мне цветы. Часовой бросается к ней с угрозой. Слава Богу, все обходится его окриком. Нас выводят. Еще одна невеселая страница жизни перевернута.

Дня через два с вещами нас выводят на так называемый «внутренний вокзал» Бутырки. Это огромная бетонированная площадка, где сгружены сотни отправляемых этапом мужчин и женщин. И вдруг я замечаю в толпе улыбающееся мне лицо Александра Васильевича. Мы даже можем переговариваться с ним. Он назначен, оказывается, вместе со мной, в одно место, одним этапом. Старый добрый друг! Ложь и унижение нашей совместной жизни стерты последними месяцами, они забыты! Одно только важно — не вернуться к прошлому. И тут я думаю с опасением: «Зачем нас назначили вместе?»

Я так и не узнала, была ли то просьба Александра Васильевича, которую уважили наши судьи, была ли то их «забота» обо мне.

У меня, кажется, повышена температура, болит горло. Наверное, очередная ангина, которой я подвержена. Как же я буду больная в этапе? Вижу, в белом халате доктор Варвара обходит «вокзал». Ее внимательные без улыбки глаза останавливаются на мне. Она поможет мне разъединиться с Александром Васильевичем — это судьба!

Варвара осматривает мое горло, хмурится...

— Ангина... Я могу вас, конечно, задержать до следующего этапа. Но ваш муж едет вместе... Вы не понимаете, что такое этап... И вся обстановка вашей будущей жизни... Нельзя отставать от этого этапа, раз в нем — свой человек. Поезжайте вместе. В вагоне будет ровная жара, и, вероятно, вы переболеете благополучно. Нельзя отставать — послушайте меня!

Так решается докторшей моя судьба.

Нас грузят в «черного ворона». Мужчин — в отдельные темные, без окон, кабины, женщины стоят, плотно прижавшись друг ко другу. На улице — сияющий жаркий день, мы видим его в узкие зарешеченные щели. Черная машина долго стоит на солнце, прежде чем тронуться в путь, может быть, умышленно ее накаляют, становится нечем дышать. Екатерине Павловне дурно, у нее больное сердце. Она теряет сознание, но так плотно зажата между нами, что не падает, и масса наших тел поддерживает ее на весу...

Наконец, машина трогается. В низко расположенные щели я вижу мелькающие тротуары, между ними иногда зеленую траву, идут бесчисленные ноги — женские, мужские, ноги свободных, счастливых людей. Но люди эти не сознают своего счастья, как совсем недавно не ценила его и я. Они не знают, что ходить и дышать свободно — вот все, что надо для человека! Я должна это помнить, если только снова ко мне это счастье вернется!

«Ворон» останавливается. Но и тут проходят бесконечные минуты, пока открываются его двери и становится возможным дышать. «Дышать» — это первый шаг к счастью. Мы вытаскиваем Екатерину Павловну и приводим ее в чувство. Открываются кабины мужчин. Александр Васильевич почему-то из своей не выходит. Его выводят оттуда конвоиры: оказывается, он тоже потерял сознание от духоты. Там было еще труднее. Он тут же приходит в себя и виновато и счастливо улыбается. Наверно, он тоже понял, что дышать — это уже счастье.

Сколько у людей общего, роднящего, и как они умеют мучить друг друга.

Нас выстраивают и ведут к поезду. Я оглядываюсь, узнаю: это зады Казанского вокзала. Я тащу свой чемодан, в другой руке — узел Екатерины Павловны. Ее самую ведут под руки.

Нас погружают в вагон с зарешеченными окнами. Я впервые узнаю, что такое «стольпинский вагон». Помещения, где сидят в два ряда арестанты, не имеют дверей: они отделены от коридора решеткой. Люди сидят друг к другу впристык, потные, задыхающиеся, сидят так неделями, от этапа до этапа очередной пересыльной тюрьмы. Здесь и молодые, и старухи, здоровые и больные. Убийцы и воры едут вместе с политическими заговорщиками, с невинными упрямыми старухами, вроде Екатерины Павловны, и с такими, вроде меня...

А по коридору за решеткой день и ночь ходит часовой. Поезд стоит долго. Я жадно присматриваюсь через двойную решетку к тому, что делается на воле: видно небо, зелень деревьев, изредка фигуры людей на платформе. И вдруг — о чудо! — я узнаю знакомую фигуру: это Александр Николаевич Раттай⁴! Маленький, съездившийся, ставший еще меньше от страха, он тем не менее бодро и упрямо вышагивает вдоль вагона, стараясь сквозь решетку что-то рассмотреть. Я вижу, как он время от времени вытирает слезы... Мне хочется ему крикнуть, что я вижу его, но этого делать нельзя: я погублю Александра Николаевича. Непонятно, как мог он пробраться сюда сквозь охрану и почему не уводят его?

И потянулись нескончаемые дни и ночи. Моя открытка матери из вагона:

«30 июля 1932 года. Дорогая мамочка, еду хорошо. Место лежачее против открытого окна. Сплю и люблюсь видами. Вчера два раза ела малину. Приближаемся к Поволжью. Даю слово писать только правду и не лгать для утешения твоего и беру с тебя такое же. Простите все за хлопоты и страдания, вам причиненные. Желаю вам моего самочувствия. Ваша Ляля».

Мое место действительно на верхней полке с другой молодой женщиной. Там душно, но зато можно вытянуться, лечь... Ночью, когда внизу все сидя дремлют, я спускаюсь и сажусь на грязный пол у решетки. Ночь лунная, свет бьет через решетку мне в лицо, и ветерок достигает моего потного, грязного лица. Я жадно дышу, открывая рот, как рыба, умирающая на берегу. Часовой — молодой деревенский парень — мерно ходит вдоль всего вагона. Наш отсек — крайний. На противоположном конце коридора — мужские камеры. Оттуда круглые сутки доносятся ругань и удары. Но сейчас и там, видимо, дремлют: в вагоне стоит необычная тишина.

Я сижу на полу и дышу — не надышусь. Молодой часовой ходит и ходит, каждый раз отводя глаза от моих при приближении. Вот он остановился, он хочет что-то мне сказать. Он колеблется — разговор с арестантами ему запрещен. Тем не менее он приближает свое лицо к решетке, наклоняется и говорит:

— Простите меня! Я знаю, вы не виноватые, я не своей волей тут, сил моих нет молчать! — говорит он, волнуясь и забывая об опасности.

Я оглядываюсь: никто вокруг не шевелится. Я умоляюще складываю руки и зажимаю ими собственный рот: молчи, мол, услышат! Но часовой не унимается: видно, ему теперь вся жизнь в том, чтоб получить мой ответ. И я ему, еле шевеля губами, говорю:

— Прощаю, прощаю. Замолчи!

Парень утирает одной рукой глаза, в другой он держит ружье. Я продолжаю сидеть на полу, а он ходит взад и вперед как заведенный по коридору.

Кто мы теперь друг другу? Как может быть, чтоб мы навечно расстались?

⁴ Отчим Валерии Дмитриевны.

Какая цена может быть этой жизни, если в ней все кончается расставанием, если добро и зло безразлично и бесследно валяются в общую яму небытия?

Так мелькают дни. Вагон наш часто отцепляют, и он сутками стоит, что-то пережидая. Нам томительно, конвоирам скучно. Когда меня ведут днем в уборную мимо отсека, где помещается стража, я вижу наших отдыхающих конвоиров. Они валяются на лавках и от скуки рассматривают фотографии, прикрепленные к «делу» каждого заключенного. Один рассматривает, другой, простоватый белорус, с запинками читает:

— Нос прямы́й... глаза кары́е... волосы русые... стры́женные...

Первый парень, городской, щеголеватый, лениво и насмешливо поправляет:

— Дурак, читать не умеешь.

Наступает тишина. И через несколько минут слышу снова:

— Нос короткий, вздернутый, глаза серые...

— Это в какой?

— В третьей.

— Дурак, да ведь это — старуха!

— Га-га-га!

И снова тишина, прерываемая ругательствами мужской половины вагона.

Наконец, в серый дождливый день нас выгружают из вагонов, велят опуститься прямо в грязь во избежание побегов. Построив, сосчитав, предупредив, что за выход из строя будет на месте пуля, нас ведут по пустынным улицам неведомого города в тюрьму. Город оказался Новосибирском.

Нам дали вымыться в бане, и это оказалось тоже настоящим счастьем. И еще одно счастье ждало нас: женские камеры закрывались только на ночь, и день нам разрешали проводить на маленьком тюремном дворе. Правда, в камерах было множество клопов, и ночью я изредка лишь забывалась, в промежутках наблюдая густые движущиеся коричнево-черные волны насекомых, от которых шевелились стены. Клопы облепляли лица и тела спящих людей, и измученные люди не просыпались.

Но ко всему привыкаешь — и я стала засыпать. И воздух, и клопы — это было лучше, чем духота или натертый до блеска паркет лубянской камеры, чем постоянный страх ночных допросов, чем вечный «глазок» и печатные правила поведения напротив моей чистой койки.

И люди вокруг казались прекрасными. В нашей камере не было уголовниц. Все эти женщины знали уже свою судьбу, и потому они жили в едином согласном настроении, которое можно было бы назвать примиренностью с судьбой, пренебрежением к ее жестокости. Это была мудрость перенесенного и преодоленного страдания. Впоследствии я наблюдала таких женщин, выпущенных на волю: ими овладевал постепенно мелочный дух забот, соревнования, измельчания. Они становились обычными. Но в пересыльной тюрьме, в этом вынужденном бездействии, в полной зависимости от чужой воли и потому в полной нравственной свободе обнажалась лучшая сторона души. Сколько самоотверженных сердец, сколько трогательных историй узнала я за две-три недели пребывания в Новосибирской тюрьме!

Запомнилась одна молодая учительница. Она отбыла уже длительный срок в лагерях и теперь ехала в ссылку куда-то на Крайний Север. «Вольную ссылку», — радостно подчеркивала она в своем рассказе. И туда ей разрешено было взять своих детей и старую мать (муж был расстрелян, и она несла за него наказание как жена). С каким сиянием на лице мечтала она теперь вслух об этой ожидающей ее жизни, хотя знала хорошо, какая будет борьба, какие трудности...

— У меня хватит сил на все, только бы с ними! — говорила она и светилась счастьем.

Нам разрешалось покупать через надзирателя продукты с воли. Немного свежих овощей, молока, белого хлеба. У мужчин положение было хуже. Их не

выпускали из камер на воздух, у них свирепствовала дизентерия. И тут меня вызывают в контору тюрьмы. Человек, принимавший с поезда наш этап, обращается ко мне вежливо и с оттенком смущения:

— Вы знаете латинский шрифт?

— Знаю.

— Вы можете прочесть и написать название лекарства?

— Могу, — отвечаю я с запинкой, не понимая, к чему ведется речь.

— Так вот, вы назначаетесь заместителем тюремного врача. Нет, приказ не обсуждается, ему подчиняются, это приказ. Кроме того, поверьте мне, так вам будет лучше... Вот халат, пропуск во все камеры. Вы можете назначать по своему усмотрению усиленное питание тяжело больным, и вам разрешается в исключительных случаях делать самой передачу... У вас ведь там муж?

Я поняла и во все глаза смотрю на своего благодетеля. Он грустно усмехается:

— Я хоть и начальник, но тоже из бывших заключенных. Недавно окончил срок. Я учитель в прошлом. Но это так, между прочим... Принимайте аптеку.

В «аптеке» — несколько медикаментов, а от желудочных заболеваний один салол. С салолом, в сопровождении санитары и без конвоира я обхожу камеру за камерой и нахожу, наконец, бедного Александра Васильевича. Но, Боже мой, в каком виде, в каком состоянии нахожу я его! Уголовники отняли у него все необходимые вещи, он во вшах, голоден, но неизменно спокоен и улыбается мне.

Я думала, что страхи мои кончились и больше я не попаду на допрос. Но вот снова меня сажают в «ворона» и везут по Новосибирску. Товарищ Жук, худой сдержанный человек, допрашивает меня и потом наводящими вопросами очень деликатно повторяет предложение сотрудничать, отвергнутое мною на Лубянке. По-видимому, он выполняет предписание свыше, из Москвы. Товарищ Жук оказывается более чутким, потому что говорит почти сочувственно и быстро заканчивает допрос. Разговор ведется в присутствии красавца-чекиста с мужественным и открытым лицом.

— Вот, — говорит Жук, переводя разговор на другую тему, — ваш будущий начальник товарищ Перминов.

Перминов разглядывает меня дружелюбно.

— Работу можно будет найти? — спрашиваю я.

— Приедете — поговорим, — отвечает тот уклончиво.

— У меня к вам просьба, — осмеливаюсь я. — На всю огромную пересыльную тюрьму нет врача и нет лекарств. Я замещаю врача, но я не врач, и в тюрьме дизентерия.

— Неужели? — вежливо удивляется Жук. — Мы примем меры.

На следующий день меня вызывают к тюремному начальнику — я «сдаю аптеку» вновь назначенному врачу. Когда врач уходит, начальник говорит мне:

— Могу сообщить вам, место вашего назначения определено: это районный центр Нарымского края село Колпашево на Оби.

Он подводит меня к карте, я веду пальцем по Оби: у океана она широка и ветвиста, там знаменитое Березово...

— Нет, нет, южнее, — говорит начальник. — Но край дикий, не обжитый. В самом Колпашеве вы проживете: там нужны молодые образованные люди.

Из письма к матери в это время: «12 августа 32 г. Новосибирск. Дорогие мамочка и отчим, я и муж получили назначение в Колпашево на Оби, это верст 300 от Томска к северу, большое торговое село, в продовольственном отношении прожить можно, надеемся найти и работу. Трудно найти жилище, но и это все, конечно, устроится. Зимой холодно, доходит до 60 градусов мороза. Других из нашего этапа назначили севернее и глуше. Ждем отправки через Томск, где нам еще придется посидеть в домзаке, ожидая водного этапа до Колпашева. Пока здоровы и вполне бодры. Я очень отдохнула от трудного путешествия. В новосибирском домзаке женщины живут совсем по-домашнему, камера не закрывается, целый день во дворе. Получаем 350 гр. хлеба, остальное удается покупать с воли. Александру Васильевичу хуже, мужчин содержат строже, я ему передаю,

что могу достать из еды. Работала несколько дней лекпомом при больнице, получала усиленный паек, но ушла, боясь заразы: ведь еще предстоит этап... Попробуйте на всякий случай послать немного сухарей на Томский домзак, пересыльной такой-то. Ничего ценного не посылайте, так как очень грабят товарищи по камере. Посылки идут аккуратно и пересылаются дальше, если пересыльный уехал... Пусть Александру Васильевичу родители тоже попробуют выслать на Томск посылку, ему труднее покупать, и он свои запасы прикончил, а я не знаю, смогу ли ему помогать в Томске. Умоляю тебя беречься для меня, мое счастье... Дорогой отчим, простите за все беспокойства, вам доставленные, может быть, я еще смогу вас отблагодарить. Когда же мы увидимся? Придет осень, парходы кончают ходить в октябре...»

Следующий этап. Томский домзак. Двор просторный, обстроенный по краям одноэтажными бараками, туда вольно проникают воздух и свет. Он порос той самой низенькой травой-муравой, которая упрямо растет под ногами людей, как бы ее ни топтали. Ее мнут — а она растет и растет!

Осень на редкость теплая. Я целыми днями лежу на земле, подложив руки под голову, и гляжу в небо. Теперь-то я знаю, что за счастье дышать и глядеть в вольную синеву! Около меня иногда бегают и ласкаются ко мне два великолепных холеных ирландца. Это охотничьи собаки какого-то таинственного заключенного — троцкиста, кажется, Сосновского. Он сидит в одиночке. Мне показывают его башню. Заключенный — первого класса, все говорят о нем с почтением: ему позволяют работать, выписывать книги и даже позволяют держать этих собак.

Меня ожидают новые радости: я получаю первые письма от матери, посылки с теплыми вещами, деньги. Я покупаю в тюремной лавочке свежее черносмординовое варенье. Это варенье с черным хлебом — роскошь! Е. П. Анурова еле держится на ногах. Сейчас идет Успенский пост, она могла бы подкрепиться вареньем. Но Екатерина Павловна упорно отказывается от моего угощения. Она не прощает мне вольностей в суждениях... Я возмущаюсь, плачу, прошу — все напрасно! Но я не держу к ней обиды. Больше того, я думаю: что было бы на Земле с церковью, если бы она не имела в кладке своих стен таких твердых камней, как Е. П. Анурова?

У кого-то в камере оказалось маленькое Евангелие. Оно ходит по рукам и, наконец, достигает меня. Я читаю его на тюремном дворе, читаю в который раз в жизни эти скупые слова, собравшие воедино мысль стольких поколений.

«Может быть, мое поколение — последнее, — думаю я. — С нами эта мысль уйдет из жизни. А может быть, эти же слова заговорят по-новому с новыми людьми, как уже не раз бывало в истории?»

В который раз я читаю евангельские слова — и все по-другому. В этом их непонятная сила. Воистину, каждый берет из них ровно столько, сколько сам в себе накопил нравственным опытом жизни. Так на каждом оправдываются слова того же Евангелия: «Имеющему дается, а от не имеющего отнимается и то, что он имеет».

Пережитое раскрывает в моей душе новые окна в мир: «Познайте истину — и истина сделает вас свободными... и радости вашей никто не отнимет от вас».

Я лежу на траве и смотрю на небо. Ничего-то мне больше и не нужно до самой смерти, лишь бы сохранить полноту понимания этой минуты. И еще одно желание: не забыть, какие прекрасные люди встречаются мне сейчас, — целый мир отвергнутых, будто уже и раздавленных... Нет, этот мир во всем своем величии существует!

Из письма к матери: «18 августа 32 г. Томск. Домзак. Дышу — не надышусь впервые за все четыре месяца чистым деревенским воздухом, так как двор наш окружен садами; греюсь на солнышке и думаю непрестанно о тебе, мое солнце. Если бы могли дойти до тебя мои бодрые, светлые мысли, ты бы не печалилась и я была бы до конца спокойна и радостна... Ах, если бы мне знать о тебе — где и как ты! Когда же я получу от тебя весточку? Простите за невольно доставлен-

ные вам страдания. Несмотря на все пережитое, знаю, что тебе было тяжелее, чем мне. Вот почему так хочется тебя увидеть, чтоб утешить, как быстро утешилась бы ты!

Радость моя, мамочка, не смею строить планов о твоём приезде, ничего не зная о тебе, о твоём материальном положении и здоровье, а также не зная того, в каких условиях окажусь я на месте. Но если все будет благополучно, то, по-моему, ты можешь попасть ко мне до закрытия навигации, т. е. до 1 октября.

Как устроилось у тебя с квартирой? Я надеюсь, что ты не очень хлопочешь о своей комнате, боюсь, чтоб не было из-за нее больше тревог, чем пользы. Мне вряд ли разрешат вернуться в Москву... Надеюсь, что себя я прокормлю, а со своей теперешней энергией надеюсь, что со временем заработаю и на тебя... Будь здорова и радостна. Прости, что я смела даже в шутку тебя упрекать, что ты меня родила. Жизнь бывает чудесна, и я тебя благодарю за нее.

Волосы мои отросли настолько, что я их заплетаю в две косицы по бокам, и они завиваются на концах. Физиономия ребячья — я нисколько не постарела за эти месяцы, пожалуй, даже, помолодела, по крайней мере могу сказать о внутреннем. Но все же дань пережитому — седые волосы, их очень и очень значительное количество. Впрочем, они появились еще в мае месяце».

Письмо А. В. Лебедева от 1 сентября 32 г.

«Дорогая Наталия Аркадьевна! Кажется, нашему путешествию предстоит скоро окончиться. Сегодня должны будем отправиться в 12 часов ночи из Томска в Колпашево. Здесь мы находимся уже третью неделю и томимся бездельем. Видимся с Лялей не каждый день, а когда видимся, то урывками. Ляля здорова, хотя ее тяготит обстановка путешествия с ожиданием. По приезде в Колпашево — окружной центр трех-четырёх районов — надеюсь найти какую-нибудь должность. Утверждают, что у нас будет значительный паек. Может быть, Ляле удастся не служить, вот не знаю только, как обойдется с квартирой! В общем, предстоящая перемена образа жизни и обстановки соответствует некоторым из наших ожиданий. Мы бодры и ждем, скоро ли приедем. Как чувствуете себя Вы и здоровы ли? Привет дорогому А. Н. Ваш А. Л.»

Ко мне подсаживается Клашка, смешливая, юркая, похожая на подростка. Клашка-вертель, так зовут ее, эту домушницу-воровку, специалистку по ограблению квартир. У нее высший срок — десять лет лагерей. Но она нимало не горюет.

— Принимайте в компанию! — Клашка показывает стройные ножки в ярко-фиолетовых чулках, она их окрасила канцелярскими чернилами. В руке у нее бутылка с молоком. Она потягивает молоко из горлышка, как теленок. Потом обтирает горлышко грязноватым подолом своей короткой юбки и великодушно передает бутылку мне. Я отказываюсь.

— Не бойся,— говорит Клашка, переходя со мною на «ты». — Я здоровая, все игрушки в порядке,— и она делает неприличный жест. Но это просто по привычке.

— Откуда у тебя молоко? — спрашиваю я.

— Надо уметь работать, деточка,— говорит наставительно Клашка.— Чего захочу, то и получу! — хвастает она. Она лихо забрасывает пустую бутылку в дальний угол двора, перекатывается по траве ко мне поближе и пронзительным голосом заливается блатной песней о своей разнесчастной любви. Я запоминаю только две строки:

Негодяя я очень любила
И спала у него на груди.

Мимо нас проходит стройная молодая женщина со смугловатым, четко очерченным красивым лицом. Она строго смотрит на нас. Клашка замолкает. Эта женщина никогда никому не улыбается. Я знаю ее — она царица томских уголовников, может быть, и всероссийская царица — знаменитая бандитка Ольга. Это тайна, в которую мне бы не проникнуть, и только легкомысленная Клашка иногда по дружбе мне кое-что выбалтывает. Ольга получила высший срок взамен расстрела за какую-то блестящую «мокрую» операцию

— Ольга — это да! — говорит Клашка с оттенком подобострастия и показывает мне свой большой палец. — Ольга ничего не боится!

— Хочешь, — говорит мне Клашка, проводив глазами Ольгу, — хочешь, я устрою тебе с мужем свидание в комендантской?

— Нет, Клашка, не надо.

Она удивленно смотрит на меня.

— Вот чудачка! Так я же недорого с тебя возьму: за три раза один твой шерстяной платок. Он мне на морозе пригодится, я еду к самому синему морю — к Ледовитому океану. — Она весело хохочет.

— Нет, Клашка, не надо, — повторяю я. — И платок тебе не дам. Он мне нужен самой, и его мне мать прислала.

— У тебя мама, а у меня мамочки нет, — притворно грустно роняет Клашка.

— Умерла?

— Совсем ее не было, я беспризорница — в пыли завелась! Так не дашь?

— Не дам!

— Иди ты к... — Клашка раздражается похабным ругательством, брезгливо отстраняясь от меня. Она вскакивает и уходит, повиливая нагло бедрами.

Через несколько дней мой платок пропал. Пропал прямо из-под рук — я с ним не расставалась ни на минуту. Я спрашивала всех, и в камере, и во дворе, спрашивала, ясно понимая, что он пропал безвозвратно и что это Клашкино дело.

Каково же было мое удивление, когда я нашла свой драгоценный платок аккуратно сложенным у себя на койке!

Я снова в платке прошла по двору мимо Клашки, и она равнодушно отвернулась, сплевывая подсолнечную шелуху мне вслед и играя ножками в пронзительно-лиловых чулках. Потом я встретила Ольгу. Она посмотрела на меня, и я заметила, как еле заметно дрогнули углы ее красивого твердого рта: так Ольга улыбалась. Я поняла — платок мне вернула Клава по ее приказанию.

Те же уголовники до нитки ограбили во время этапа Александра Васильевича. Когда он получил деньги из дома, уголовники заставили его выкупить у них его же собственные вещи и вновь украли их.

Наступили уже морозные утренники, когда нас погрузили в тесный трюм парохода и по широкой Оби отправили на Север.

Колпашево — это линия деревянных домиков, вытянутых по высокому берегу Оби. Сзади наступает на них нетронутая и бесконечная тайга с высоченными кедром, пихтами, непроходимым буреломом, зверьем, комарами и гнусом, до смерти заедающим людей и животных. Позади единственной колпашевской улицы жмутся землянки и хижинки, наспех возводимые ссыльными ввиду приближающейся зимы.

Я поняла, почему нас с Александром Васильевичем прислали в Колпашево: здесь начиналось строительство нового административного центра, открывались учреждения, организовывались новые промыслы по рыбе, молоку, пушнине, дичи. Нужны были молодые грамотные люди: мы были здесь нужны.

Вместе с нами выгружались из парохода вольнонаемные рабочие, ехавшие на Крайний Север за длинным рублем. Вперемежку со стройматериалами везли сюда и спецпереселенцев. Это были жертвы так называемого «раскулачивания», лучшие крепкие крестьянские семьи, разоренные и переселяемые целиком с малыми детьми и стариками. Они ехали рядом с нами в трюме парохода — заключенные последнего сорта; даже животных не повез бы так расчетливый хозяин. Мы наблюдали их рядом, за перегородкой: там они спали, плакали, что-то жевали, испражнялись, умирали.

Их выгружали на совершенно необжитых берегах, оставляли без помощи, предоставляли им устраиваться и кормиться как сумеют. Выживали только сильные. Одиноких, молодых везли вместе с нами до Колпашева: это была даровая рабочая сила. Им повезло, как и нам с Александром Васильевичем среди

ссылных, если здесь вообще можно говорить о том, что кому-то повезло. Впоследствии я своими глазами не раз видела людей, умиравших посреди улицы от голода и холода, и никто из имеющих крышу и кусок хлеба, и я в том числе, не решался затащить такого человека под свою крышу. Несколькими раз, правда, я шла в этих случаях в ГПУ с просьбой помочь, и человека убирали. Куда? Никто не знал. Может быть, он и выживал на тюремном пайке, попадая в тепло после шестидесятиградусного мороза.

Нас сгрузили, и пришло время мне расстаться с Екатериной Павловной. Ее вместе с несколькими стариками-священниками отправляли выше, на север района. Многие не нашли там себе работы, гибли от голода и морозов, но Екатерина Павловна выжила. Больше того, к ней с последним пароходом приехала ее старая мать, которая бросила все имущество и комнату в Москве. Они вместе пережили ссылку и вернулись под Москву. Въезд в столицу бывшим ссылными был запрещен. Они прожили после того еще несколько лет в Малом Ярославце, где Екатерина Павловна занималась школьными предметами с детьми православного священника-еврея отца Михаила Шика. О нем по пути несколько слов.

Это был еврей-интеллигент из кооператоров, из того поколения народников, которое предшествовало нашему. Он женился на дочери Д. И. Шаховского, тоже либеральной деятельнице кооперации. Теперь они крестились и стали православными христианами. Михаил Шик принял священство. У него родилось несколько сыновей и дочерей, которых они с женой заботливо воспитывали, несмотря на непрестанные высылки и гонения. В конце концов оба они погибли в заключении, а детей их вырастили чужие люди.

По моем возвращении из ссылки я навестила Екатерину Павловну в Малом Ярославце и познакомилась с семьей Шиков. Я увидела людей, молчавших о себе и светившихся лаской к человеку. Это были праведники. Екатерина Павловна встретила меня в Малом Ярославце все так же строго и неуступчиво. Мать обогрела меня добротой. Вскоре обе они умерли: дочь умерла раньше — сердце ее было вконец расшатано, и скоро за нею ее светлая и смиренная мать.

Итак, мы простились в Колпашеве со своими спутниками и вышли на берег. Нас выстроили, сосчитали и объявили нам, что мы свободны. Единственной обязанностью было — являться еженедельно на регистрацию в ГПУ.

Рядом со мной стоял снова Александр Васильевич и улыбался мне из-под золотых очков на грязном, худом, землистом лице. Очки эти уцелели только потому, что он отдал их конвоирам и жил в течение всего этапа полуслепым. Теперь он снова, как прозревший, глядел на меня, на широкую Обь, на новый мир, в котором мы обречены были жить и действовать с ним вместе.

Мы привыкли уже существовать по чужой воле и ей подчинять свои внешние действия. И от этого вынужденного бездействия душа моя приобрела за полгода внутреннюю свободу и какую-то детскую беззаботность. Еще я замечала в себе удивительную бодрость, наверно оттого, что мне предстояло действие. Вынужденное созерцание, не уравновешенное делом для всех, погубило, так казалось мне, мою юность. Недаром я искала дела, и без него томила, и не находила своего рабочего места в жизни.

И вот я стою сейчас рядом с Александром Васильевичем и ожидаю зова в жизнь.

Она полна всегда неожиданностей. Вон в толпе ссылных, подобно нам стоящих в нерешительности, ходит какой-то пожилой еврей, по-видимому, местный житель. За ним тянется цепочка людей. По мере того как он приближается к нам, цепочка увеличивается. Человек присматривается к нам и предлагает у него остановиться. Он тоже ссылный, но у него большое помещение, и он, видя наше безвыходное положение, предлагает нам кров, «конечно, за небольшую плату...». У еврея оказалась своеобразная «гостиница». Неподалеку от пристани стоит дом, вернее, подобие дома, сколоченного из случайного материала с пристройками и навесами. В этих пристройках и под этими навесами, рассчитанными на всякую погоду, ютились на первых порах бездомные люди; отсюда они постепенно растекались, находя лучшее помещение. Первую свободную ночь мы

провели в тесноте, худшей, чем тюремная, — мы спали все вповалку на мокром полу: ночью шел дождик и проливал через крышу.

Днем я пошла на маленький базар, бойко и дешево торговавший продуктами. Я развела на двух кирпичках костер, и мы впервые с Александром Васильевичем пообедали. Мы вымылись в бане, и я выстирала в Оби, стоя на прибрежных камнях, по смене белья. На это ушел день.

Теперь я ждала удобной минуты, чтобы поговорить с Александром Васильевичем — раз навсегда покончить с ложью прошлого, вывести жизнь на утерянную нами дорогу прежней дружбы. Наконец, я улочаю такую минуту, но чувствую, что слова мои произносятся впустую, мне становится неловко, точно все мое выстраданное «возвышенное» и «правдивое» — выдумка и неправда. Правда сейчас одна — накормить, обмыть, вывести насекомых, найти крышу: приближается зима. И, главное, успокоить мать.

Из сохранившихся писем к матери из Колпашева:

«8 сен. 32 г. Я просила тебя приехать и привезти вещи и деньги. Но боюсь, не эгоизм ли это: ведь мы ночуем вповалку в одной комнате. Все не устроено и вряд ли успеет устроиться к твоему приезду. Думай сама. Пока еще не служим, но думаю, что А. В. на днях получит разрешение начать работу — иначе будет туго...»

Однажды на базаре я увидела Перминова: он проехал верхом на прекрасной лошади. Он узнал меня, но не ответил на поклон. Через минуту ко мне подошел человек в военной форме и сказал:

— Начальник распорядился, чтобы вы явились к нему через два дня.

Я поняла: на людях Перминову нельзя здороваться с нами. И еще я поняла: я живу все в той же тюрьме, только стены ее раздвинулись.

На этом же базаре ко мне подошла пожилая женщина. Она доверчиво заговорила со мной, оказалась москвичкой, бывшей сотрудницей Исторического музея, только что окончившей ссылку и на днях уезжающей в Томск, где ей придется отбывать «минус». Она приглашала меня к себе, и я, конечно, с радостью в тот же день к ней отправилась.

Достаточно было мне переступить порог обжитой за пять лет комнаты Людмилы Вячеславовны Кафки, как я поняла, что попала к родному человеку — к старшей своей сестре. Мы говорили и не могли досыта наговориться. Мы засыпали ночью на короткие минуты, чтобы снова жадно говорить. Людмила Вячеславовна старалась мне передать свой опыт, предостеречь от опасностей. Я делилась с ней всем, что передумала за месяцы заточения. Мы поверили друг другу с первого взгляда — и не ошиблись. Несколько дней, проведенных неразлучно вместе. Потом расставание навсегда. Несколько скупых осторожных писем.

На прощание она мне подарила старинный медный складень Николая Чудотворца.

Людмила Вячеславовна попала в ссылку во время разгрома уже знакомого читателю ордена⁵. Оказалось, она слышала обо мне в Москве: она читала там мое «прощальное» письмо, ходившее среди руководителей ордена по рукам. Письму этому придали значение: меня опасались и потому объявили ложу закрытой. Это я и узнала впервые от Людмилы Вячеславовны.

Она сама была одним из «рыцарей» высшего посвящения и тем не менее теперь внутренне порвала с орденом, со всякой теософией и оккультными учениями. Она стала смиренным человеком, нуждающимся только в личном очистительном подвиге жизни, в пределах открытого нам природой, Евангелием и опытом святых: она стала православной христианкой. Так объяснилось в Людмиле Вячеславовне полное доверие ко мне в условиях, где мы были научены не доверять новому человеку.

Я рассказала Людмиле Вячеславовне о вызове меня к Перминову. Она задумалась и ответила:

⁵ Речь идет о масонской ложе, в которую Валерия Дмитриевна и Александр Васильевич были приглашены одним из профессоров Института Слова, но вступать в нее отказались, о чем Валерия Дмитриевна сообщила профессору в письме.

— Вы правильно вели себя до сих пор. Вам остается только держаться того же и в дальнейшем. Они уважают в конце концов только нашу нравственную стойкость. Вас не будут вынуждать у них сотрудничать, так как такие сотрудники, если даже временно и сдаются, им мало полезны: перед первой же явной подлостью вы все равно спасуете! Вас ожидает другое — за вами непременно установится среди ссыльных подозрительная репутация: ведь здесь все на виду, и «внимание» начальства к вам будет замечено. Перминову вы, может быть, даже нравитесь как женщина или просто любопытны ему. Но и тут не бойтесь: он не рискнет своим положением. Вы только приготовьтесь к необходимости долго терпеть...

В назначенный день я пришла к Перминову. Он встретил меня с подчеркнутой любезностью: он встал мне навстречу из-за стола, подал руку, помог снять пальто и сам повесил его на вешалку у двери. Подвинул мне кресло. Внимательно и дружелюбно стал меня разглядывать. Он стал меня вызывать к себе не часто, но регулярно: ему это было легко, но мне... Я каждый раз тряслась в ознобе, ожидая неведомой опасности. Но тем не менее ни разу ни одного намека себе не позволил, и я стала успокаиваться.

Так продолжалось около года, пока наконец Перминова куда-то не перевели, и на его место приехал новый начальник. Это был тот самый Жук, который вызывал меня в Новосибирске.

Новый начальник коротко спросил меня о жизни и работе, среди разговора мельком спросил и о том, как относился ко мне Перминов. Я отвечала точно и по всей правде: к счастью, мне нечего было скрывать. Жук очень деликатно упомянул мне: «Какая у нас сплоченная, интересная среда, и как бы я желал вам в нее войти...» Я промолчала. Ни разу он больше меня не вызвал и оставил навсегда в покое.

Желали ли мне мои начальники добра, сказать трудно. Одно несомненно: они не могли не знать, какое пятно накладывало на меня их внимание в глазах моих несчастных товарищей. Я вспоминала совет Людмилы Вячеславовны терпеть — и терпела. Сколько же терпения надо было в себе накопить, чтоб выдерживать подозрительные взгляды и намеки окружающих! «Терпеть и мужаться», — писала мне Людмила Вячеславовна в каждом письме. Но вот и письма прекратились: Людмила Вячеславовна ослепла и вскоре умерла.

Мне надо было терпеть хотя бы ради мамы: ей понадобилось не меньше терпения, хотя она оставалась будто бы на воле и жила в Москве. Ей пришлось испытать многое из-за моего ареста.

Соседи по квартире пытались отобрать у мамы ее жилплощадь, вымогали у нее под разными предлогами понравившиеся вещи. Приближалась паспортизация, и маму запугивали грозившим ей выселением из Москвы. Одной, стареющей, больной — куда? Она изнемогала, теряла рассудок. Однажды утром Шура нашла ее на бульваре, где мама просидела всю ночь, забыв направление своего дома.

Но, как только она поняла, что я борюсь за нашу с ней общую жизнь и буду бороться и жить, она возродилась и на смену прежней ослабевшей и измученной женщине встала другая, которой не уставали дивиться окружающие. Такой ее сделала деятельная любовь, пробудившая природный ум и способности. Она без посторонней помощи поменяла свои две комнаты на одну небольшую в том же доме. Продала все лишние вещи, жила на эти деньги и помогала первое время нам. Она победила неприязнь соседей, встретивших ее, мать ссыльной, в штыхы.

Потом пришла новая беда.

Началась паспортизация, проверка населения столицы и массовое выселение граждан. У кого из нашей интеллигенции не было арестованных в семье? И тут А. Н. Раттай предложил моей маме с ним расписаться, чтоб переменить фамилию и улучшить положение. Он делал это бескорыстно. Мама согласилась — все для меня!

Мир «униженных и оскорбленных» существует во все времена, только он меняет до неузнаваемости свои формы и обличья. Теперь моя мама жила в его

центре и несла унижение с необычайным достоинством. Ее отношения с Александром Николаевичем не изменились ни в чем. По-прежнему он ежедневно ее навещал, по-своему о ней заботился, попрекал и сердился. Так же временами швырялись об пол его вечные часы с мамиными инициалами. Так же в сердцах хлопал Александр Николаевич дверь, уходя.

Из Дрезны приезжала Шура, проводя с мамой все свободные свои дни. Приходила Елена Константиновна Миллер, бывший завхоз нашей «Бодрой жизни». Она первая из знакомых, вслед за Шурой, явилась к маме после нашего ареста. Прошла с независимым видом под сверлящими взглядами всего двора, в старомодном на голове «токе» времен империи, с завитыми седеющими кудряшками вокруг худого и надменного личика, с гордо поднятым подбородком и пронесла бесстрашно в «авоське» сверток с письмами Олега, уцелевший во время обыска: мама безошибочно угадала, где мое единственное сокровище.

Тогда же навестила героически мою мать и Л. В. Маяковская.

Александр Васильевич поступил на работу экономистом. Сослуживец его, молодой «вольный» бухгалтер, предлагает ему угол в своем доме. Жена бухгалтера разбитная, резкая в слове. Она соглашается принять нас вместе с Мурзилкой, который решает окончательно вопрос о квартире. Мурзилка — это всего-навсего молодой пес вроде крупной лайки, помесь нескольких пород. Он весело переносит свое сомнительное происхождение. Его оставила мне Людмила Вячеславовна, уезжая, и я дала ей слово собаку не бросать. А Маруся любит животных. Мы переезжаем из своей «гостиницы» к Марусе. Ничего, что мы спим теперь с Александром Васильевичем на деревянном щите, который убирается на день, в тесной проходной комнате. Зато Александра Васильевича ежедневно ожидают горячий обед и чистое белье.

Я превращаюсь в сибирскую хозяйку. Я учусь топить русскую печь, выпекать хлеб из муки, которая нам полагается на паек. Я достаю, вымениваю, покупаю какие-то продукты, целыми днями чищу и утепляю наши отрепья.

Наконец, устанавливается санная дорога по Оби, и к нам приходит посылка с теплыми вещами. И — верх мечтаний — я сама посылаю матери в Москву, которая, по слухам, сейчас голодает (результат раскулачивания деревни), посылаю ей посылку с сибирским сливочным маслом и поверх него — смолистой кедровой шишкой, наполненной орехами! Шишка вложена в посылку как символ жизни, возрождения. Сибирский суровый климат здоров, я выбегаю теперь часто на мороз не одетая и никогда не простужаюсь.

Из моих писем к матери:

«26 сентября 32 г. Колпашево. Mamочka, родная, я получила вчера твою телеграмму в 31 слово, из которой поняла одно, что ты больна и не приедешь... Я думала, что ты радовалась в день твоих именин, получив известие о том, что я, наконец, приехала, а ты грустишь. Ну как мне тебя убедить в том, что я здорова, весела и полна жизнелюбия! Неужели ты думаешь, что я тебя обманываю? Ведь я же сама тебе дала клятву писать только правду... Продукты здесь есть все и, видимо, дешевле, чем у вас. Александр Васильевич зарабатывает около 200 р. Самое сложное — устройство с квартирой, но как раз вчера мы, наконец, перебрались в почти отдельную комнату, очень чистенькую и у одиноких людей, но я должна ее стеречь и потому не могу поступить на работу. Материально я без работы смело обойдусь, буду устраиваться с квартирой так, чтобы зарабатывать лишь для того, чтобы посылать тебе... Никаких продуктовых посылок не посылайте... Я все ждала тебя, но, пожалуй, хорошо, что ты не приехала. Mamочka, не огорчай меня, не тоскуй, а радуйся, что мы с тобой будем вместе, что это счастье нам подарено... Не знаю уж, о чем тебе и писать: о переживаниях — не хочется, а основной тон моей душевной жизни — в каждом письме. Главное — это приобрести самостоятельное жилище, чтобы можно было сделать запасы на зиму, пока дешевы овощи и т. д. Мы тут начали одну постройку, я рискнула ста пятьюдесятью рублями (моя доля), но думаю, что все это провалится, поскольку А. В. внес туда метод полного доверия, не оформляя договор

ных отношений и т. п. Трудно мне с ним, хотя и хороший он, и теперь наши отношения сложатся легче и в той форме, в которой они были много лет тому назад: мы оба пришли к заключению за эти полгода, что брак был ошибкой... Я поставила себе целью довести дело до конца, устроиться и, если возможно будет, отделиться хозяйственно только после устройства.

Конечно, это все я пишу только для тебя. Мой идеал в будущем — жить только с тобой».

«30 сент. 32 г. Mamочка, ты пишешь «ужасное слово — разлука», а я каждый день думаю: какое чудесное слово — свидание и надежда — ею только и жив человек... Как хорошо бы я жила, если б знала, что так далеко и в то же время так близко (что значит для любви пространство!) моя родная ясно и в простоте переживает посланное испытание... Сейчас мои досуги омрачаются мыслью о твоём состоянии... Когда я вечером выхожу на опушку соснового леса, на которой стоит наш домик, и смотрю на высокое северное небо или на закат на берегу Оби (тут прекрасные, не виданные мною закаты), я грущу, что ты не разделяешь моего настроения, краски меркнут, и я ухожу домой. Mamочка, то, что нам суждено еще быть вместе — это такое счастье, неужели трудно потерпеть одну зиму? А потом ты слишком много возлагаешь надежд на свои и мои заботы о самих себе. Судьба сама ведет нас, как надо и как лучше... Насчет электричества — ну это преувеличение. Есть в одном или двух домах. Но планы — планы здесь огромные, и сейчас уже идет громадное строительство. Где я буду работать, когда смогу, не знаю. Мне предлагают секретарем в Окрплане, но я больше хочу по хозяйственной линии. Здесь с весны разовьются кролиководство, пчеловодство, и, может быть, там и устроюсь на службу. Это ведь моя давнишняя мечта — стать таким «водом». Ну, что загадывать далеко — вот сейчас сижу в тепле, около меня стоит фоксик Джек, на плече у меня один котенок, на коленях другой. На столе поет самовар. Хозяйка сажает в печь хлеба и все время приговаривает: «Ух, ты, язвы твою душу!» — это сибирское ругательство. Она совершенно дикая женщина, но ко мне пока добра. Хозяин в своей комнате бреется и ругает колпашевскую скуку (слова для меня непонятные за последние месяцы, так много содержания и впечатлений). А. В. ушел по квартирным делам, ну вот я и пишу тебе. Mamочка, сделай это для меня, радуйся жизни, столь милостивой к нам, и старайся всеми силами поправляться для будущей жизни со мною.

Нарисованная тобой картина так не соответствует действительности по настроению, что мне до слез тебя стало жаль. Было так, что и клопы кусали, и блохи, и раздеваться не приходилось, и дождь в комнате шел (голода продолжительного не было, немного на остановках в пути). Но отношение у нас к этому почти всегда было, как у ребят, когда они картошку на костре пекут, чихают от дыма, мокнув под случайным дождем и смеются. Mamочка, тебе это трудно понять, верь честному слову. Целую тебя. Г. с тобой. Ляля».

«8 октября 32 г. Mamочка, родная, сегодня целый день была в лесу и в поле. Не знаю, Нарым это или Крым, — такая погода, такое тепло, такие хорошие места! Как жаль, что тебе не удалось приехать, но сознание того, что мне хорошо, должно тебя совершенно умиротворить. Хотя я тебе и телеграфировала, чтоб ты приезжала зимовать, что-то не надеюсь. Может быть, так и нужно. Ведь я, мамочка, из-за тебя хлопочу, чтоб ты приехала, я спокойно и радостно прожду срока свидания... Как бы ты у меня поправилась! Какую комнату я тебе нашла — сегодня смотрела, за 15 рублей в 4 окна, прямо в кедровый лесок. Но мне она не годится, так как сдельные отдельных комнат самостоятельно иметь не могут, а живут на площади вольных... Хотела бы от Шурочки получить, пусть мне напишет правду о тебе, о твоём питании, образе жизни и душевном состоянии. Одна она напишет правду. Еще прошу тебя: оставьте вы эти утешения в письмах писать, — такого рода лирики надо избегать... С книгами А. В. пришли-те стихи, очень хочется, и кого-либо из моих любимых авторов, пусть Шура выберет. Ведь это предрассудок, что какое-то несчастье случилось. Несчастье, что вы портите себе здоровье из-за нас. Люди живут всюду, люди жили здесь добровольно десятки лет, а все пережитое нами — только на пользу».

Наша жизнь в этом доме была недолгой. Хозяин часто пьяный, его жена, раздраженная на все вокруг, начинает нас преследовать и в конце концов выгоняет на улицу. Мы продолжаем и в эти морозы своими руками строить избушку в компании с другим ссыльным. Пока идет стройка, Александр Васильевич поселяется в землянке с несколькими товарищами по несчастью. Я — у знакомой женщины в невозможной темноте.

Рассказать можно было бы и подробней, как мы строились без инструментов, без подходящей одежды, главное — без умения... Но все же, наконец, смогли переселиться в готовую избушку с одним потолком, но без крыши (крышу покроем весной — зимой здесь оттепелей не бывает). Зато есть у нас пол и, главное, отличная печь. Не могу обойти нашу умную печку молчанием. Она была каменная, раза в два больше всем известной буржуйки. Она обогревала помещение и одновременно пекла нам хлеб: топка ее была устроена со сводом. И, наконец, она служила перегородкой, отделяя темный угол «кухни».

Вся комнатка об одно оконце (такое, чтоб не пролез в него в наше отсутствие человек) была немногим больше вагонного купе, только подлиннее. Дверь всю зиму стояла обмерзшей толстым слоем инея, хотя мы и обили ее всем, что нашли теплого в своих лохмотьях. В домике пахло паром и смолой, дуло из щелей: он был построен из непросохшего леса. Но мы были, наконец, дома.

Мурзилка прижился у Маруси, но часто нас навещал. Мурзилка был предприимчив, любознателен, он бегал один на базар и приносил мне оттуда иногда «подарки». Так, однажды он принес мне в зубах толстый круг топленого масла; видимо, стащил с воза у зазевавшейся чалдонки. В другой раз принес мне круг молока: зимой всё продавалось в замороженном виде.

Нас навещал еще один пес, суровый и независимый, прямой антипод Мурзилке. Мы так и не дознались, кого он считает своим основным хозяином и как его зовут. Он появлялся у нас неожиданно, гостил, сколько ему хотелось, и так же незаметно исчезал. Приучить его было невозможно. Подачки он презирал. Звали его мы условно Тузиком, и он снисходительно на это имя отзывался.

Он не приносил нам никаких даров. Наружности он был неказистой: небольшой, на кривых лапах, неопределенно-рыжеватой масти, как вылинялая лисица. Но выражение лица его было на редкость умное, и мы его уважали. Я почему-то понимала Тузика как молчаливого свидетеля и судью своей жизни.

Относительно Александра Васильевича я поняла теперь ясно две вещи: я должна дотерпеть наш срок и расстаться навсегда. Другое, что я поняла в это время, ясно: несмотря на невозвратную потерю Олега и на пережитое в заключении, я в глубине своей души еще хотела любви здесь, на Земле. Так я и жила двойной жизнью.

С этих пор стал мне сниться все один и тот же неотступный сон. Мне снилось, что я бегу по каким-то длинным переходам в поисках Олега. Бегу вся в слезах, изнемогая от усталости, но полная надежды. Воздух сна тот же, что овеивает евангельских мироносиц и учеников, когда они бегут на рассвете ко гробу Спасителя. Предра рассветный холод, светящее небо, настроение тайны, радости, надежды. Наконец я вижу Олега. Я бросаюсь к нему, но он смотрит поверх меня, как бы не замечая. Он суров и равнодушен. Он не любит меня. Он уничтожает наше прошлое. Я умоляю его вспомнить, но он непреклонен. И я в отчаянии просыпаюсь.

От нашего домика шла стеной глухая тайга. Вероятно, нам, ссыльным, было запрещено ходить в лес, иначе чем сейчас объяснить, что за три года ни разу я не была в лесу, окружавшем наше селение. Но как часто в морозные лунные ночи, закутавшись до самых глаз, я выходила из своей избы на опушку, стояла под кедрами, осыпанными снегом, потом шла по спящему поселку к Оби. Река широко расстилалась, намертво скованная с октября по май. На противоположном низком берегу она продолжалась необитаемой снежной пустыней, и я была среди этой пустыни одна — жалкий комочек жизни. Такой бы я чувствовала се-

бя на Луне, и лунный пейзаж, наверное, был бы похож на картину зимнего ночного Колпашева.

Как я одинока была в эти минуты и как просто могла бы от этого одиночества освободиться, если бы сохраняла свободу и высоту, которыми жила в Томской тюрьме. Но они были утеряны: я не могла даже молиться! Это утешение было отнято, вероятно, жадной земной жизни, и я бросалась назад к нашей избушке, откуда светил слабый огонек семилинейной керосиновой лампы: это сидел за столом и работал Александр Васильевич. Вот он навстречу мне поднимает голову от вычислений, не выпуская из рук логарифмической линейки. Он увлечен своим изобретением. Он рассеянно бросает мне какие-то незначительные слова, сам в это время витая в море математических абстракций. Я подхожу к нему. Я кладу руку на голову Александра Васильевича, но он так глубоко погружен в свою мысль, что ничего не слышит...

— Какая красота на реке и какое там страшное молчание! — говорю я.

Александр Васильевич отводит машинально мою руку, мешающую думать. Я продолжаю бороться: я шуточно терблю его, он «просыпается» наконец, он теперь улыбается виновато:

— Ты говоришь, погулять с тобой к реке?

— Нет, я о другом...

— Ну все равно, если хочешь, пойдем... — Он с сожалением отрывается от бумаги, тяжело встает, потягивается, медленно одевается.

Тузик садится у двери, нетерпеливо оборачивается: «Скоро ли?» — говорит его напряженная, готовая к прыжку поза. Но я не знаю, на чьей стороне его сердце. Тузик, кто из нас прав?

Наконец, все трое мы выходим. От мороза захватывает дыхание и первые минуты ломит в груди. Александр Васильевич поминутно протирает очки. Он молча шагает у моего плеча. Рыжая шкура Тузика и борода Александра Васильевича мгновенно становятся седыми от пушистых кристаллов инея.

Морозная пустыня вокруг нас. Рядом с Александром Васильевичем я чувствую себя еще более одинокой. Нет, лучше уж в избу — там хоть книги!

— Вернемся? — вопросительно роняю я.

Александр Васильевич радостно поворачивает к дому. Он снова садится за тетрадку, а я из-за книжки, которой прикрываю лицо, за ним наблюдаю. Наконец, он складывает бумаги, удовлетворенно потягивается...

— Как хорошо! — говорит он. — Я бы мог всегда так жить. — Его улыбка скользит по мне, как по стенке.

— Тебе хорошо со мной? — спрашиваю я.

— Да, мне очень, очень хорошо с тобой. Одно только жалко...

— Чего? — спрашиваю я.

— Жалко, что тебе-то не так хорошо, как мне.

«Неправда, — думаю я, — ты тоже несчастен». — И мысленно его прошу: скажи еще что-нибудь, загляни поглубже в наши души, может быть, это и будет чем-то вроде счастья!

Александр Васильевич в ответ молчит.

Я соскабливаю лед с окошка, долго скоблю. Наконец вижу: на градуснике 60. Лампа меркнет — кончается керосин.

— Пора спать! — говорит Александр Васильевич.

Я думаю о своем теле, исхудавшем, сильном, окрепшем в суровой жизни и работе. Оно просит нежности, и эта мужская чувственная близость его не насыщает, более того — она унижает его.

Я знаю, с детства знаю: оно, это тело, существует у меня, человека, для иного — не просто для размножения себе подобных. Для чего? Я это уже начинала было узнавать... Помню, Олег как-то сказал мне: «Нет искусства для искусства, искусство — для молитвы». И я его спросила: «А плоть, а тело человека? — И тут же сама ответила: — И тело человека для молитвы». Неужели я это забыла? И если забыла, это значило, что небо закрылось для меня.

Теперь я думаю по-простому: тело не может жить отдельно от души. А душу мою Александру Васильевичу не дано видеть: он боится в нее заглянуть.

— Не будем рыться в душе! — говорит он с неизменным протестом и странным раздражением, говорит так уже давно, годы. Я лежу и беззвучно плачу под мерное дыхание моего мужа. Мужа? — нет! Это слово я не могу относить к себе: «Я не жена» — вот странная тема моей жизни с самого детства.

Да, надо дотерпеть «срок» и расстаться навсегда. Все лучше, чем это унижение нам обоим.

Вот почему я становлюсь особенно ровно нежна и внимательна к Александру Васильевичу все оставшиеся нам два года жизни в Колпашеве. Я ни о чем его не спрашиваю, ничего не требую. Я превращаюсь в образцовую сибирскую хозяйку. Забот у меня много, и мне они даже нравятся: иногда я забываюсь в работе и тогда думаю, что так можно дожить и до самого нашего конца — до старости, до смерти.

Может быть, и Александр Васильевич так же «забывается»? Может быть, и ему не менее больно и потому-то он не позволяет себе заглядывать в наши души? Может быть, отсюда рождается его интерес к логарифмической линейке и изобретательству?

Весной начинает оттаивать и протекать потолок нашей избушки. Мы покрываем крышу, обмазываем изнутри стены глиной с коровяком, белим их. Всё — к приезду мамы. Я развожу огород. В короткое лето на Крайнем Севере у меня на диво удаются огурцы и даже южные помидоры. Все растет здесь круглые сутки благодаря белым ночам.

«Даже растения борются, отстаивая у природы право на жизнь», — думаю я. Мне стыдно, мне страшно, я не признаюсь самой себе: столько пережив, столько потеряв, я вижу в себе неистребимую жажду любви — любви утраченной и неосуществленной.

С открытием навигации к нам собирается моя мать. Я готовлюсь к ее приезду, запасая необходимое. Но у меня нет очень нужного — корыта. Большого, круглого корыта, в котором можно и мыться, — здесь делают такие из деревянных планок, как бочки в обручах.

Я узнаю, что «политическая» (то есть партийная) ссыльная Екатерина Владимировна освобождается и распродает свои вещи. Так поступают все уезжающие. У нее-то я и нахожу такое корыто. Екатерина Владимировна провожает меня, стоя на крыльце. На руках у нее голубоглазый мальчик. Она кормит его грудью и счастливо улыбается ему. Она получила «минус» и будет теперь жить в каком-нибудь захолустном городишке с мужем.

— А потом, — говорю я ей, — кончится минус, и вы вернетесь домой.

— А потом, — иронически продолжает мою речь Екатерина Владимировна, — мы снова отправимся в лагеря или ссылку. Мы ведь не то, что вы, мы — политические враги... Вы — овцы, а мы для них — волки.

— И вы за него не страдаете? — спрашиваю я.

— Нет, с тех пор, как я стала матерью, я почувствовала себя еще сильнее и бесстрашней в политической борьбе.

— Неужели все страдания не открыли вам жизнь в иной ценности, чем ваша политическая текучая злободневность? Может быть, надо бросить это вам хотя бы ради этого чуда? — спрашиваю я, целуя мальчика.

Екатерина Владимировна не понимает меня. Она вежливо молчит. Вероятно, она мне не доверяет... Я ухожу.

Путь мой долог. Я несу корыто на голове, временами ставлю его на землю, присаживаюсь на пни, отдыхаю, осматриваюсь вокруг. Да, и на Крайнем Севере та же радость ранней весны: наст весело блестит на солнце, так блестит, что у меня ломит в глазах. Около темных пней снег оседает, и с южной стороны уже проталины. На небе среди быстро бегущих рваных облаков голубые оконца, тоже как проталины, — они напоминают глаза ребенка, которого я только что поцеловала.

И всплывает со дна души раз мелькнувшее и спрятанное там поспешно впечатление: это было пять лет назад. Олег рассказывал, как он вез вместе с На-

стей⁶ своего крестника — маленького Сережу. Когда он выходил с ним погулять на останках поезда, его все принимали за отца, и сочувствовали, и одобряли, и ему, Олегу, это было приятно. Олег рассказал мельком, весело, не принимая случая к сердцу, а меня рассказ его задел за живое, и, помню, мелькнула острая мысль: «Ему эта роль понравилась. Почему бы не ехать так ему с нашим ребенком?» Мысль была запретная, и я ее торопливо обрезала. Это был первый и последний раз, когда я пожелала своего ребенка.

И после всего рассказанного я смела еще желать себе жизни? Так спрашиваю я себя и отвечаю: но как же Лев Толстой, глубокий старик, мудрец, отец многочисленного семейства, любимый и прославленный всем миром человек, все помыслы отдававший заботе о страдающих людях, как же он записал в своем старческом дневнике: «Самое сильное и тайное желание мое — это любить и быть любимым»?

Объ тронулась. И мать моя отправилась в Нарым, повторяя прославленный путь «русских женщин». То были восемь вошедших в великую русскую историю жен декабристов, а здесь незаметные в своем множестве жены и матери бесчисленных русских людей, безвинно высланных в отдаленнейшие места огромной страны.

Мама проезжала Тюмень, где встретил ее с цветами и проводил старый друг Борис Дмитриевич Удинцев, отбывавший ссылку. В Томске она застала еще Людмилу Вячеславовну Кафку.

Когда я увидела мать, спускающуюся ко мне на берег по трапу, я уловила в себе странное разочарование: «Этого ли я так ожидала, об этом ли так томилась целый год?» Чувство было мимолетно, и я его тут же подавила. Но оно было не случайно, и, как ни тяжело, от этого воспоминания мне в рассказе уже не уйти. Я еще раз поняла в то лето, что на самом деле я жду чего-то или кого-то совсем другого, как бы ни старалась убедить себя и окружающих, что мечтаю только о будущей жизни с мамой...

Мама прожила с нами все лето и уехала с последним пароходом. Как хотелось мне проводить мать до Томска: создать ей иллюзию свободы! Я решила попросить об этом нашего начальника Жука. Он ответил вопросом на вопрос:

— Вы знаете, что я не имею права вам выдать такое разрешение?

— Но вы можете меня отпустить под честное слово, — ответила я.

— Хорошо, — сказал он, — поезжайте, только, вернувшись, немедленно явитесь ко мне.

Так я в положении «вольного» человека проводила до Томска свою мать. Хотя и Жук знал, что я не убегу. И я знала, что на каждом пароходе есть зоркие глаза его сотрудников. Зачем он говорил мне о своей хорошей среде, интересных людях, верных товарищах? Может быть, он сам так искренно думал? Разве не знал он, что делается под его началом, как страдают и гибнут бессмысленно невинные люди? Или вся эта даровая рабочая сила при огромных спешных заданиях строительства не помещалась в поле зрения начальника? Эти вопросы задавала тогда себе не одна я: неужели они не понимают? И сейчас, пожалуй, еще трудно ответить на вопрос, понимали ли исполнители этой злой воли, что они делали...

В ту последнюю нашу зиму постучал к нам однажды человек и сказал:

— Я слышал, вы москвичи и образованные люди. Вот я и пришел к вам. Я Клюев, Николай.

— Поэт? — воскликнули мы в один голос.

— Да, поэт, — ответил старик с горечью и устало сел на табурет. — Нет ли чего у вас покормиться? — спросил он, согревшись.

Клюев был еще не стар: его старили борода и манера держаться. Был он до крайности не устроен. Он часто стал заходить к нам. Я кормила его, чинила ему одежду, а он сидел и читал, вернее, пел своим «клюевским» неповторимым песенным речитативом неизданные колдовские поэмы, так и пропавшие, наверно, для человечества.

⁶ Скороходова Настя — знакомая Олега на Кавказе.

Он читал последнюю (которую?) часть «Песни о Великой Матери» под огонек нашей коптилки, перед замерзшим окном, и мы слушали его, забывая свое горе. И не было в те минуты для нас ни холода, ни темноты, ни таежной пустыни.

Почему я не записала тогда этих поэм? Не знаю, как и ответить. Знаю одно — судьбы русской литературы меньше всего меня волновали в те дни.

Мы уехали, он остался. Слышала, что, освободившись, он умер внезапно на вокзале в момент отъезда. «Песнь о Великой Матери» и еще многое другое, что было в его котомке, попало в руки какого-то его спутника. Был такой смутный слух.

И второе лето мама провела с нами. Я даже начала поговаривать о том, чтобы навсегда остаться в Нарыме: от Москвы, кроме тревог, было нам нечего ожидать.

Но вот, наконец, приблизился срок освобождения, и я затосковала. Я не находила себе места от тревоги: нас забудут, перепутают сроки, увеличат срок наказания... Так случалось нередко! Я потеряла всякую выдержку, потеряла, казалось, самый разум. И, когда пришло освобождение и мне выдали паспорт, я бросила все хозяйство, работу, бросила Александра Васильевича, которого задерживали на месяц-два служебные дела, и уехала в Москву.

Я бежала, и Александр Васильевич, возможно, понимал, что от него. Провожая меня, помню, он был очень грустен.

Перед моим отъездом явился пропадавший, как обычно, Тузик. Он был по-нур и не отходил от меня. На пристани он стоял рядом с Александром Васильевичем, и оба мы видали, как из глаз Тузика катились настоящие слезы.

Я не должна была уезжать раньше Александра Васильевича, я была виновата и, наверное, за эту вину тут же наказана.

В поезде я ехала на верхней полке. Мы переговаривались с соседом — каким-то вольным москвичом, возвращавшимся из дальней командировки. Дорога дальняя, разговоры бесконечные. Новая жизнь будто сдунула с меня налет осторожности, недоверия, приобретенный было в ссылке. Сосед заметил у меня на груди мешочек. Я доверчиво рассказала ему, что это деньги и документы: драгоценный мой паспорт и свидетельство об освобождении.

Утром на какой-то долгой остановке сосед ведет меня погулять. Мы выходим на сторону, обратную платформе, там пустынное поле. Меня тревожит, что мы отдаляемся от вагонов, но сосед настойчиво увлекает меня все вперед и крепко держит за руку. Наконец, я освобождаюсь от его руки и бегу к вагонам, подгоняемая страхом. Раздается свисток. Поезд трогается.

— Успели! — роняю я. — Так могли и остаться.

Сосед мой странно бледен, но я не вдумываюсь в происшедшее.

День тянется, как и предыдущие дни. Теперь я сняла свой мешочек с груди — он слишком там заметен — и держу его в сумочке. А сумочку не выпускаю из рук. И вот случается: на какое-то короткое мгновение я забываю о сумочке, и она исчезает. Мой ужас, поиски, сочувствие вагона... И сейчас страшно вспоминать. Мысль о матери: что я ей готовлю при встрече?

Но куда же делся мой странный спутник? Он долго не появляется. Потом приходит. Говорит, что задержался в ресторане. Он слишком спокойно выслушивает мой рассказ о случившемся и предлагает немного денег в долг: мне не на что купить себе пищи. Он вынимает бумажку, и я вижу: это, несомненно, моя — новая и сложена пополам, как лежали у меня в мешочке. Впрочем, я была в этом уверена раньше, чем ее увидела... Только б он вернул мне паспорт и бумагу об освобождении! Но он, конечно, их уничтожил.

На московском вокзале я вижу из замедляющего ход вагона счастливые лица матери и Александра Николаевича. Я сразу им говорю, что у меня украли документы и деньги.

Мы идем тут же в вокзальное ГПУ. Старый человек в военной форме с добрым лицом сочувственно меня выслушивает, записывает показания... И он дает мне совет: поступить на строительство Московского канала. Это единствен-

ное учреждение, которое берет людей без документов и даст мне возможность не уезжать, то есть не разлучаться с матерью. Он тут же помог мне написать письмо в Колпашево с просьбой выслать дубликат свидетельства об освобождении и письмо это заверил. Он сказал:

— Не ночуйте у матери, ни у кого не ночуйте, где вас знают,— предупреждает он меня.— Не отчаивайтесь, все равно бы вас не прописали в Москве. В провинции дают разрешение на въезд в столицу. И люди обманываются... А здесь железный закон: отбывших срок по пятьдесят восьмой статье в Москве не прописывать.

Трудная начинается жизнь: я боюсь подвести мать и знакомых. Человек из железнодорожного ГПУ оказался прав: единственный выход — Дмитров, где помещается управление по строительству Московского канала. Там работают заключенные. Там и множество вольнонаемного люда. И я отправляюсь туда.

На краю тихого старинного городка с традиционным валом-крепостью и оборонами посередине спешно достраивался новый город — управление Москва — Волгострой. Рядом с бараками, обнесенными проволокой, высились каменные корпуса. Там были жилые дома начальства и всевозможные лаборатории, где работали первоклассные специалисты по различным отраслям науки.

В центре здания была оборудована великолепная поликлиника, клуб, спортплощадка и ресторан для вольнонаемных служащих.

В перерыве между дневной и вечерней работой (день был удлинённый как у заключенных, так и у вольнонаемных служащих) мы шли в ресторан. Там нас обслуживали заключенные официантки в белых наколках и кружевных фартучках. На столиках стояли цветы из лагерных оранжерей. Оркестр заключенных, скрытый на высоких хорах, ежедневно исполнял однообразно и чисто одни и те же музыкальные номера. Под эту мертвую музыку мы ели и покорно возвращались на вечернюю работу.

В категорию привилегированных служащих, имеющих право ходить в этот ресторан, в поликлинику, спать на собственной постели, попала и я. И, главное, раз в неделю я могла навещать свою мать в Москве. Я поступила в гидротехническую лабораторию и стала взвешивать грунты и вычислять кривые их компрессии. Я была совершенно не приспособлена к этой работе и напоминала себе дрессированное животное, послушно выполняющее непонятные задания человека.

Устроиться на работу и найти себе кров в переполненном вольнонаемными городе было нелегко. Помог мне случай. Я приехала в Дмитров, никого там не зная, прошла пешком весь долгий путь от станции до управления и присела, усталая, на скамейку центральной площадки возле ресторана: «Передохну и буду искать отдел кадров».

— Глазам не верю! — услышала я знакомый голос. Передо мной стоял постаревший, будто побитый молнией, но все такой же подвижный и оживленный NN⁷. Оказалось, что он работает на строительстве. Мы уселись рядом и стали рассказывать друг другу о пережитом <...>.

NN устроил меня благодаря своим лагерным связям в гидротехническую лабораторию, которой заведовала Валя Я. и где работал преданный ей Сережа, ставший впоследствии ее мужем. Валя поселила меня, совсем ей чужую, на первых порах у себя, пока я не приискала себе угол у местных жителей.

Скоро приехал в Дмитров и Александр Васильевич. С паспортом и без паспорта — это был единственный путь для человека, отбывшего ссылку по 58-й статье. Он, подобно мне, снял угол. Я решила бороться с собой и не селиться на этот раз с Александром Васильевичем ни за что.

Встречались мы только на службе да в нашем ресторане. Тогда-то и сказала мне одна мудрая старая женщина, наблюдавшая нас:

— У вас разные тональности, вы должны его от себя освободить. И его, и себя...

⁷ Друг Валерии Дмитриевны по Институту Слова.

Но как это сделать, если я не могу без разрывающей сердце тоски видеть его, когда он бредет по улице такой молодой и уже похожий на старика, бредет в свою одинокую конуру?

Однажды глубокой осенью в дождь и сумрак я заметила его высокую понурю фигуру. У фонаря наши пути столкнулись. Он увидел меня, поднял мокрое от дождя лицо и, как бы продолжая внутренний разговор, который был прерван моим появлением, сказал без обычной маскировочной улыбки:

— Я понимаю! Конечно, разве таких, как я, любят?

Это было выше моих сил. Я стояла перед ним в холодном свете электрического фонаря и горько плакала. Он пытался мне что-то сказать, но губы не повиновались, и он прятал голову в поднятый воротник пальто. Ничего не сказав, я взяла его под руку, и мы зашагали снова вместе. Так прошла одна зима, потом наступила вторая.

Я томилась в своей лаборатории на однообразно бессмысленной работе, я к ней была не способна, как не способна оказалась к счетоводству, за которое было принялась по приезде в Колпашево. Так мы и жили в этой парадной тюрьме, называемой «строительством канала», где главной целью была якобы «перековка» нашего сознания и где А. М. Горький плакал от умиления на митинге бывших воров и убийц и просто бывших.

Парад нашей комфортабельной тюрьмы не заглушал, однако, в душе воспоминания о словах следователя, брошенных мне на Лубянке: «Не посмейте не прийти!» Та же непроизнесенная угроза висела теперь над каждым и бывшим, и настоящим преступником. «Не смей, а то!» — слышался нам окрик, и каждый ему повиновался.

Слов нет, трудно было выполнять государственное дело огромного строительства и одновременно управлять сотнями тысяч раздраженных, обиженных, ни в чем не повинных людей. Люди отбывали сроки наказаний, втягивались в работу, становились на места начальников. Так стирались границы справедливости, чести, верности... Люди переставали понимать себя. Внутри нашего городка тянулись бараки заключенных. Мы встречались с заключенными ежедневно в лабораториях и на трассе, как с равными товарищами: все мы были похожи друг на друга, как кирпичи, обожженные одним и тем же огнем.

Вот Леонид Иванович, с которым мы обрабатываем вместе грунты в лаборатории. Он бывший учитель. Я многократно выслушиваю его историю: надо же с кем-то поделиться горем — и Леонид Иванович делится со мной. Он украинец, обвинен в участии в националистической организации. У него десять лет заключения. К Леониду Ивановичу приезжает на свидание жена. Мы выхлопотали ему разрешение пожить с нею вне лагеря на частной квартире.

Он приходит теперь на работу как пьяный: то счастливый, то слабый и поникший. Наконец, жена уезжает, он остается один. Мы узнаём: жена приезжала прощаться — она молода, она не хочет его ждать. И на наших глазах Леонид Иванович начинает хиреть и угасать. Невидимая болезнь подтачивает тело. Не все ли равно, от какой болезни он умер, для нас было ясно: умер от тоски. Леонида Ивановича зарыли на лагерном кладбище, где могилы оставались безымянными и сравнивались с землей. Мы легко туда проникли: только на кладбище не было в зоне Дмитровского лагеря часовых. Мы обсыпали свежую землю синькой — она останется до весны на снегу. А весной приедет старуха-мать и мы покажем ей родную могилу. Больше, вероятно, не приедет никто. А если б кто и одумался и приехал, после первых дождей синька смоется, и никто никогда не найдет безымянную могилу.

Люди умирали здесь по-разному, бывали еще более страшные смерти. Об одной из них я узнала от Вали. Вот ее рассказ.

Одним из начальников Белбалтлага был Дмитрий Успенский, высокий сутулый и обаятельный в обращении человек. В лагерной больнице Валя познакомилась с очень молоденькой прелестной девушкой, почти ребенком. Стала она зваться у Вали «русалочка», а подлинное имя ее было Наташа. Девочка по-

теряла всех близких, осужденных по 58-й статье, была ожесточена и недоверчива, нелегко было Вале расположить к себе это существо, но когда русалочка Вале раскрылась — оказалась она с чистым и горячим сердцем и поэтическим воображением. Русалочка была совсем не образована, но писала стихи. Она привязалась к Вале как к старшей сестре и однажды ей открыла, что лежит в больнице по поводу аборта, а ребенок у нее от самого начальника Успенского. Наташа неутешно горевала о ребенке, но «Дима» требовал, и Наташа покори-лась.

Успенский не «соблазнял» Наташу — она сама потянулась к нему: она была уборщицей в управлении и без памяти влюбилась в обходительного начальника. Наташа стала его преданной рабой, мирилась с его охлаждениями, изменами, предупреждала о грозивших ему опасностях, спасла ему однажды жизнь. Наташа узнала, что уголовники готовят на Успенского покушение. Он был в это время километров за двадцать на какой-то глухой точке строительства, и Наташа, с риском быть подстреленной часовыми, покинула лагерь, всю ночь бежала, но успела его предупредить, и Успенский вовремя уехал с трассы.

Валя освободилась раньше и уже в Дмитрове получила от Наташи ликующее письмо: она окончила свой срок, и Успенский на ней женился. Наташа родила своему мужу двух детей и была счастлива. Переехав с Успенским в Дмитров, она прислала Вале письмо с просьбой ее навестить. Валя, искренно любя русалочку, все отсрочивала свидание: между ними стояло теперь новое положение Наташи — «жены начальника». Так длилось, пока по окончании строительства не были арестованы и расстреляны все ведущие начальники канала Москва — Волга: Фирин, Коган и другие. Несомненно, та же участь грозила и Успенскому. И вот разнесся страшный слух, что не Успенский арестован, а он сам арестовал и посадил в тюрьму свою беременную третьим ребенком жену. Ее приговорили к расстрелу, но дали родить ребенка, который был отправлен тут же в детдом. Говорят, она до последней минуты не верила в коварство своего Димы.

Последствиям служащие Дмитрова, переведенные на Куйбышевское строительное, рассказывали мне о выступлении там на митинге Успенского, проникновенно призывавшего к взаимному доверию, гуманности, будто бы даже он говорил о любви...

Приближались юбилейные пушкинские дни 1937 года. Не помню, как это случилось, но мне предложили написать текст популярной лекции о поэте и выступать с нею по городу и по Дмитровскому району. Устраивало эти лекции «вольное» учреждение — РОНО. По ходу лекции я читала стихи, со мной выезжали еще один чтец и певица. Мне разрешили не посещать вечерние занятия в лаборатории — это был уже шаг к свободе.

Так продолжалось всю «юбилейную» половину зимы. И в мороз, и в оттепель мы изъездили весь район со своей программой. Работа эта натолкнула меня на мысль, что с помощью бумажки о лекторской работе я найду себе внештатную должность в Москве, укрою прошлое и возобновлю прописку. Прописка в Москве и была, в сущности, единственной целью всех нас, вольнонаемных, работающих на канале. Для меня это значило всё: это значило вернуться к матери!

Однажды на мое выступление приехал Александр Васильевич. Я увидела его в антракте: он был приподнято оживлен и напомнил мне прежнего друга времен нашего студенчества.

Дома в тот вечер он сказал мне:

— Ты очень хорошо читала! И какая ты была красивая...

— Ты только сейчас меня заметил? — пошутила я. — Я читаю тебе стихи очень часто, а смотришь ты на меня ежедневно и даже круглые сутки...

— Да, это верно, — простодушно ответил Александр Васильевич. — Но когда ежедневно, то внимание притупляется, а тут я увидел тебя в новой обстановке...

— И заметил?

— Знаешь,— продолжал Александр Васильевич, все еще не понимая иронии,— я, кажется, снова влюбился сегодня в тебя.

Слова эти поднимали старое, еще не отболевшее, я не хотела к нему возвращаться даже мыслью: это лишало сил для осуществления одной насущной нужды — не пропустить момент, воспользоваться бумажкой, вернуться к матери.

И мне это удалось: я уволилась со строительства (это было не просто — помогла болезнь). Я устроилась на работу в школе рабочих-стахановцев на заводе имени 1 Мая на самой окраине Москвы. Там я стала преподавать русский язык и литературу рабочим. Среди учеников моих были подростки, были их сидящие матери и отцы.

— Мы учимся у вас не только по вашим словам. Мы смотрим, как вы движетесь, как думаете, улыбаетесь, встречаясь с нами на заводском дворе. Мы видим через вас новое, чего мы не знали и чего нам недостает.

Так говорила мне моя ученица, пожилая женщина, «знатная стахановка» и член партийного комитета.

— Мы полюбили вас,— говорили мне мои ученики. И я радовалась и одновременно смущалась, потому что они были искренни, а я их обманывала: они не знали историю моей жизни. Они не знали, что мне негде сегодня переночевать и, может быть, не придется даже на ночь раздеться. А я должна быть отдохнувшей, хорошо одетой, нравиться им, прийти к ним со свежей душой.

Только снятие судимости дало бы мне возможность жить с матерью, не бояться каждой встречи на улице, не скрывать на работе свое прошлое. И мне пришлось в голову обратиться за этой милостью к «всероссийскому старосте» М. И. Калинину. Вся бесправная и обиженная Россия тянулась легковерно в его канцелярию, хотя, как мы впоследствии убедились, сам Калинин был зажат в тисках сталинского режима и бессилен.

Отправилась к Калинину и я.

Не дойдя по улице несколько шагов, я увидела выходящим из дверей калининской приемной человека, кого-то мне напоминавшего. Мы оба остановились, вглядываясь друг в друга.

— Ляля! — воскликнул он и осекся.

— Тагор⁸! — вырвалось у меня.

Он стоял передо мной и молчал — выхолненный, полнеющий чиновник, прежний провинциальный мальчик, открывший мне некогда красоту симфонической музыки и заботливо провожающий по темным улицам разоренного города.

Молчала и я. У меня лихорадочно завертелась мысль в обратном движении: «Не доверять, не доверять, не доверять...»

Механизм, отточенный пережитыми десятилетиями, сработал верно: мы уже любезно улыбались, в какие-то короткие секунды попрощавшись с невинной простотой похороненной юности. Последний взгляд прежними глазами друг на друга — и мы переходим в настоящее.

Тагор берет меня под руку, и мы делаем с ним несколько кругов вдоль стен манежа. Он весело, шутливо вспоминает прошлое, рассказывает мне, что я была его первой любовью. Теперь он счастливо женат, приглашает меня навестить его семью.

— А ваша стенография? — вспоминаю я.

— Я благодаря знанию стенографии попал на работу в ВЧК.

— А теперь? — спрашиваю я.

— Теперь я работаю у М. И. Калинина.

— А как же наша музыка, поэзия?

— Некогда, некогда! — восклицает Тагор и даже отталкивается в воздухе руками. — Мы работаем часто ночами. Впрочем, когда мы хотим, артисты сами навещают нас в Кремле.

— Вы удовлетворены? Ничто вас не смущает? — вырывается у меня неосторожно. Он делает вид, что не понимает вопроса.

⁸ Прозвище молодого человека, с которым Валерия Дмитриевна работала в первые послереволюционные годы.

Теперь он расспрашивает меня. Я непринужденно лгу. Наконец, мы прощаемся, и я прохожу мимо канцелярии Калинина, никогда уже не заглядывая туда: это было в прямом смысле мне — не судьба.

Уроки в школе рабочих были не каждый день. Мне удалось устроиться и на вторую работу — в детскую школу библиотекарем и классным руководителем. Теперь я в силах содержать свою мать. Но жить с нею в доме, откуда я была отправлена в тюрьму, — это было невозможно. Я продолжала из милости пользоваться приютом у добрых людей, каждый раз — на новом месте, боялась их подвести.

Были дни, когда мне пришлось ночевать на московских вокзалах. Об этом я не рассказывала матери <...>.

Время от времени я делала попытки прописаться в Москве. Но все было напрасно: государственная машина работала четко. Отказ следовал за отказом. Но все-таки люди — не машина. Какой-то человек в милиции проглядел, ошибся — и меня временно прописали у знакомых на даче под Москвой. К тому же оканчивалось строительство канала, и Александру Васильевичу также удалось уволиться. Он поселился теперь в ста километрах от Москвы и оттуда ездил на работу в столицу.

Однажды я поехала его там навестить. Я знала, что застаю знакомую картину: книги, наваленные посреди вещей и пыли, и сам Александр Васильевич, полуголодный, неухоженный, с какой-нибудь новой вычитанной им математической или философской идеей. Благородный, самоотверженный, до конца, до смерти, принципиальный.

«У вас разные тональности, вы должны его освободить от себя. Вы должны вывести его из унижения», — повторяю я засевшие в сердце слова мудрой старухи из Дмитрова. Я решаюсь на операцию, болезненную для обоих, но раз навсегда. Не помню, что меня подвинуло на последний шаг. Весной 1938 года я повезла Александра Васильевича в один из его приездов за город и там среди природы, без свидетелей, долго, в отчаянных слезах горя и раскаяния поведала Александру Васильевичу обо всем пережитом, заставила все вспомнить, все выслушать — это был тот «допрос» и ему, и себе, которого он настойчиво избегал всю нашу совместную жизнь.

Я старалась безжалостно себя очернить, взять на себя всю тяжесть прошлого, облегчить всеми средствами для Александра Васильевича горе расставания.

Он нашел в себе силы проводить меня домой к моей матери. Мы коротко рассказали ей о происшедшем. Оба плакали. Мама молчала, она давно поняла неизбежность этого шага. Александр Васильевич стал церемонно прощаться, пошел к двери, обернулся. Я бросилась к нему, мы обнялись, как родные. И тем не менее расстаться нам было нужно.

Мы стояли в слезах, забыв о маме. А она смотрела на нас с глубоким изумлением и повторяла растерянно:

— Так зачем же вы расстаетесь?

Это случилось весной. С Александром Васильевичем продолжалась редкая переписка. Но расстались мы навсегда.

Проходило лето. Начинался новый учебный год. Директор средней школы давно уже присматривался ко мне. Теперь он вызывает меня в свой кабинет и предлагает настойчиво взяться за преподавание литературы в старших классах. Это было столь же заманчиво, сколь и рискованно. Рассказать о себе правду было нельзя, и мне удалось отказаться под каким-то предлогом.

Директор недоуменно пожимает плечами. Прошло какое-то время. И вот директор вызывает меня снова к себе. Но на этот раз ведет себя до крайности странно: он прежде всего закрывает за мной дверь кабинета на ключ, потом обращается ко мне очень взволнованно:

— У меня только что был товарищ из районного отдела НКВД. Он спрашивал о вас. Вы должны мне рассказать о себе всю правду.

Комната начинает медленно кружиться. Голос директора глухо доносится ко мне издали, я почти что теряю сознание. Но это лишь мгновение. Стены ос-

танавливаются в своем движении, я застаю себя сидящей по-прежнему в кресле, откинувшись на спинку, спокойно глядящей на директора.

«Мне надо выиграть время», — проносится отчетливая мысль в голове. Для чего — еще самой неясно.

— Тут какое-то недоразумение, — говорю я. — Попросите их точнее навести справки и передайте им, что мне нечего вам рассказать.

— Я так им и ответил, я был в этом уверен! — с облегчением говорит директор и трясет мою руку. Он искренно ко мне расположен, этот добрый человек.

— Что же мне делать дальше? — спрашиваю я, улыбаясь.

— Не беспокойтесь, — отвечает директор. — Они сами ко мне завтра придут за сведениями. Я вас вызову тогда.

С трудом досиживаю я рабочий день. Иду к матери, иду в последний раз: нам не вынести с ней вторичного испытания. Но я не должна раньше времени и виду подать о случившемся: мысленно прощаюсь, говоря о пустяках. Мать выходит в кухню, а я успеваю в эти минуты воровски выхватить из шкафа смену белья, еще что-то необходимое в тюрьме... Обнимаю мать, отводя глаза, боясь посмотреть в дорогое лицо.

Теперь найти Варю П., мою гимназическую подругу. Она меня устроила в школу на работу, ей за меня отвечать. Надо сговориться о показаниях на будущем допросе. И еще — пусть не оставит мою маму, недавно я делила ее горе: она хоронила любимого мужа, — теперь ей придется делить мое.

Я уезжаю ночевать в Малаховку по месту своей прописки, где живу сейчас одна в пустующей даче. Я и не пытаюсь заснуть в эту последнюю, вероятно, на свободе ночь. И вот второй раз в жизни я обращаюсь с мольбой к Богу. Опять прошу о спасении не ради себя — ради моей несчастной матери. И прошу, в сущности, о чуде. И удивительно — ко мне приходит полное спокойствие.

Так наступает рассвет. Я освежаю воспаленное лицо, собираю маленький чемодан. Открываю на прощание Евангелие. Читаю:

«Посмотрите на полевые лилии... Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче все, маловеры! Итак, не заботьтесь!»

На улице тепло: погожий день ранней осени. В поезде я сажусь у открытого окна и жадно дышу: самое трудное в тюрьме — духота. Автобус приближается к школе. Я приглядываюсь: нет ли у входа ожидающих меня людей?.. Раздеваясь, прохожу в библиотеку. Директор встретился в коридоре, ответил хмуро на поклон, отвернулся... Плохой знак! Но сила терпения, пришедшая ко мне на рассвете, меня не покидает. Так проходит весь томительный день. Меня к директору не вызывают. Наступает день второй. Я опять прошу милости ради моей матери. И в этот второй день ничего со мною не происходит. Наступает день третий. К маме я не показываюсь. И тут я чувствую, что нравственные силы истощаются, и я падаю духом. Мною овладевает та тоска черной безнадежности, в приступе которой люди, вероятно, накладывают на себя руки.

Я сижу одна в библиотеке, тупо уставившись на дверь. Она открывается, и входит Михаил Сергеевич У. — наш заместитель директора по хозяйственной части, проще говоря — завхоз. О нем необходимо подробней.

Он человек моих лет, сын сельского священника, бывший «лишенец», поэтому с трудом пробивается в жизни. Вуз ему не дали закончить, но ценят на работе. При школе у него однокомнатная холостяцкая квартира с отдельным ходом. Все молодые учительницы в него влюблены, но ни одна из них не может похвалиться его особенным вниманием. Он безупречно строг в отношениях, со всеми подряд танцует на уроках западных танцев: вся Москва теперь учится танцевать.

Мы часто по-дружески перекидываемся с Михаилом Сергеевичем при встречах в коридоре незначительными словами. Я замечаю на себе иногда внимательный взгляд его добрых голубых глаз. От Михаила Сергеевича веет необычной чистотой и свежестью, как от деревенского луга.

Сейчас он входит очень серьезный, без улыбки, прикрывает плотно дверь и говорит:

— Я наблюдаю вас уже третий день, с вами что-то случилось. На вас лица нет. Доверьтесь мне, прошу вас! Я, может быть, вам пригожусь. Мне кажется, вам не с кем поделиться... Если я ошибаюсь — прогоните меня, я не обижусь.

— Пойдемте куда-нибудь отсюда, где нас никто не услышит и не застанет,— отвечаю я.

Михаил Сергеевич ведет меня по коридорам, переходами, через множество дверей. Наконец мы в крыле здания. Он открывает последнюю дверь: это его отдельная квартира с выходом на улицу.

— Мы теперь одни,— говорит он,— я запер дверь на ключ!

И я рассказываю ему, незнакомому, всю свою жизнь. Рассказываю о нависшей надо мной новой беде. Он слушает, не перебивая. Я кончаю свой рассказ. Он берет меня за руку и говорит:

— Я вас запрю сейчас на ключ, и никто, кроме меня и вашей матери, не будет знать, где вы находитесь. Мы напишем с вами письмо нашему директору, что у вас кто-то близкий умирает и вы вынуждены срочно уехать из Москвы. Вы не знаете, вернетесь ли, и просите уволить вас с работы. Он все так и сделает: я знаю, как он относится к вам. Вы уехали, не оставив адреса. Ставка на то, что следователи вам не придадут особого значения и не станут возиться по розыску следов: у них и без вас достаточно дела. Мы выгадаем время. Прошедшие трое суток — это уже шанс на спасение. Протянем еще. К матери вашей я схожу сейчас же и все объясню.

— Где же вы сами будете жить? — нашлась я только спросить.

— В кухне,— коротко ответил Михаил Сергеевич и ушел.

Так началось мое добровольное заключение. Через несколько дней Михаил Сергеевич выведал, что мое увольнение оформлено. По школе он распространил слух, что у меня умирает в провинции муж и, все бросив, я уехала к нему. Директор мне явно сочувствовал и держал мою сторону. Он не подозревал, что я в это время нахожусь с ним под одной кровлей!

Вскоре Михаил Сергеевич явился ко мне с новым предложением: я перееду к его матери в деревню, это лучше, чем «одиночка», и осень стоит на редкость теплая, и мама приедет ко мне.

В темноте с предосторожностями Михаил Сергеевич вывел меня из школьного здания, и вскоре я очутилась в деревенском домике бывшей попадьи — неграмотной деревенской старушки. Подозрительно и ревниво встретила она незнакомую молодую женщину, неизвестно в какой роли приехавшую к ней. Михаил Сергеевич ушел на ночь в избушку на маленький свой пчельник, мы остались со старушкой одни. Она легла на широкую кровать под божницей, мне положила прямо на пол сеники. Попадья долго ворочается, вздыхает. Я тоже не сплю, и, как челнок у пряхи, снует и снует у меня одна и та же мысль: «Надо отсюда уехать, а сделать этого нельзя. Надо уехать — а нельзя...» Туда — назад, туда — назад...

Сна нет. Керосиновая лампочка подвернута, но не погашена и чадит. Старуха приподнимается на локте, вглядывается в полутьме сверху вниз на меня, лежащую на полу, садится и говорит, причитая, нараспев, покачиваясь в такт словам:

— Ты думаешь, я не вижу? Все вижу, матушка! Повисла ты на нем, бесстыдница, вижу — глаз с него не сводишь. Все вы такие теперь, ни стыда, ни совести, ни закона. Плох ли молодец мой? Статный, пригожий. Поживешь с ним, а потом на себе и окрутишь!

Всё, всё готовилась я вынести, только не такое! От оскорбления, от усталости я плачу, как малый ребенок, и тем не менее должна молчать об истинной причине моего здесь появления.

— Нечего плакать-то,— наставительно говорит старушка,— раньше надо было плакать, а уж коли честь потеряла... Ты его только не вяжи, видишь, какой он у меня теленок,— говорит мать, и голос ее смягчается от нежности к сыну.—

До тебя он и женщин совсем не знал, все берег себя... А у тебя он не первый, по глазам вижу — не первый...

Наконец старуха засыпает. Я неспешно одеваюсь, беру свой чемодан, выхожу на улицу. Небо — в роскошных переливах восхода. Сияющий мир в природе и мрак на моей душе. Путь до станции лежит мимо пчельника. Михаил Сергеевич уже встал и бродит с дымарем между ульями. Вот он увидел меня, радостно и недоуменно машет мне рукой. Бежит ко мне, светловолосый, босой, по высокой росистой траве.

— Куда вы, что случилось?

Мне пришлось рассказать без утайки об этой ночи. Он отбирает у меня чемодан, уводит в омшаник, там пахнет воском, солнцем, свежим сеном. Михаил Сергеевич укладывает меня на сено, что-то ласково говорит. И тут я сразу проваливаюсь в крепкий сон без сновидений.

Было уже за полдень, когда я проснулась. Толкнула дверь — она заперта снаружи. Я оглядываюсь: на столе между рамок с искусственной вошиной стоял жбан с молоком, на тарелке куски сотов со свежим медом и деревенский хлеб, предупредительно разрезанный ломтями. На хлебе записка: «Увожу мать в город. Немедленно вернусь. Прошу потерпеть заключение. Ехать Вам некуда. Всё будет хорошо».

Так и не пришлось мне бежать в тот раз из домика попадьи. Вскоре Михаил Сергеевич привез мою мать. И, наконец, пришел день, когда мы убедились, что обо мне забыли: безупречная машина опять дала осечку.

Передо мной встал новый вопрос: куда мне ехать и как жить? Проще всего было — за стокилометровую зону к Александру Васильевичу, но я с негодованием отбрасывала эту мысль: лучше мне погибнуть, чем новые ему мучения. По месту прописки под Москвой было опасно. Тем временем наступали зимние холода. Я перебралась с пчельника в город, вернулась на работу в школу стахановцев, по-прежнему ночевала в разных местах. И тут Михаил Сергеевич совершает еще один героический поступок: пользуясь своими связями в милиции, как администратор школы, он добывает мне постоянную московскую прописку, он прописывает меня в своей квартире...

Через того же Михаила Сергеевича я получаю новый источник заработка — готовить отстающих детей. Я отваживаюсь теперь в определенные дни появляться в квартире Михаила Сергеевича, куда приходят после уроков мои ученики. Время все сглаживает: видно, что в школе о происшествии со мной забыли, а я не попадаюсь директору на глаза.

Теперь я топлю свою жизнь в работе с утра и до позднего вечера. Мать Михаила Сергеевича живет вместе с сыном. Старушка и сам Михаил Сергеевич, как дети, радуются новому дивану, хорошей одежде — всему, чего им недоставало в дни их «лишенства».

— Вот и у нас жизнь, как у людей! — говорит удовлетворенно старушка и потом ко мне с откровенной просьбой: — Не хватает только молодой хозяйки!

Я упорно молчу. Я со всей ясностью понимаю: этого делать нельзя, иначе будет несчастье! Правда, Михаил Сергеевич — мой «благодетель», но любви к нему, как бы я того ни желала, ничто не может во мне пробудить: теперь-то уж я не спутаю ее ни с чем! Ни благодарность свою, ни сочувствие, ни даже тоску по любви за самую любовь мне больше не принять. Почему? Ответ очень прост: «Любит человека тот, кто любит мысли его»⁹. Михаил Сергеевич ненавидит мир моей мысли — я в его мире скучаю. Он настрадался от «идеализма», из-за которого погиб его отец, разорена семья. Он не променяет теперь свое право жить просто и благополучно на эти «фантазии», на эту «гниль». Пришвин, слушая меня, записал в дневнике: «М. С. в ответ на просьбу Ляли прочесть Евангелие назвал все это “гнилью”. “Гниль,— ответила Ляля,— это неплохо, это все равно, что навоз — земле: без навоза не родит земля, и мысль не родится, если что-нибудь в себе не умрет и не сгниет”».

⁹ Здесь и далее записи из дневника М. М. Пришвина 1940 года.

Я не дам ему свое согласие, хотя и знаю: я обрела бы дом себе и покой для моей матери. Надо бы решиться и сразу резко об этом сказать, но как скажешь, если я прописана на площади Михаила Сергеевича? Отнять надежду — значит вызывать его на борьбу: он прост и потому самоуверен, он мягок, но настойчив. Как он настойчив! И я молчу — оттягиваю срок последнего объяснения до тех пор, когда удастся обменять комнату матери и в ней прописаться. Мне так легче — молчать и ждать.

Михаил Сергеевич временами сердится: какие могут быть еще вопросы в моем положении и при его преданности, молодости, его наружности? Он даже намекает, правда, осторожно, на мою неблагодарность... Так длится еще один 1939-й год <...>.

Единственным выходом соединиться с матерью и обрести себе дом было поменять мамину комнату. Хождение по обменным адресам стало моей новой и бесплодной работой. Михаил Сергеевич по-прежнему не верит моему решению, тем более что от него не укрыты: мы с матерью то ли устали друг от друга, то ли опустошились от постоянных друг за друга тревог. Увы, наша дружба перестала быть радостной, как в прежние, правдивые годы. Я берегу записную книжку моей мамы, там несколько адресов да еще скорбная строчка уже стирающимся карандашом: «Дружба, бывшая основой их земного счастья, стала уже не та».

От Александра Васильевича получаю изредка тоскливые письма. Он пишет: «Расстояние и время — обычные помощники в разлуке — мне не помогают. И не могу теперь я дать тебе своего согласия на развод, что означало бы, что я отказываюсь от тебя и умываю руки. Нет, не отказываюсь!»

Он все еще считает наш брак действительностью, а не призрачным событием, каким он был и оставался для меня. Он так ничего и не понял в происшедшем.

Есть у Пришвина запись, сделанная им в конце первого года нашей с ним совместной жизни. Он пишет: «А. В. раскритиковал в письме “Фацелию”¹⁰ и распрощался с женой до встречи в Царстве Небесном.— Ах, А. В., прожили вы с Лялей столько лет и не поняли, что ведь она не женщина в вашем смысле и все ваши притязания к ней грубы и недостойны ее существа. И если вы действительно верите, что встретитесь с нею в загробном мире, то вы или не узнаете ее, или, узнав, впервые познаете и устыдитесь».

Я не решилась бы поместить эти слова Михаила Михайловича в свой рассказ, потому что они написаны в мою защиту и возвышение, я же вину свою знаю, знаю глубже, чем о ней пишу. В то же время я чувствую себя бессильной разобраться до конца в сложности пережитого и ищу одного — полного забвения наших прошлых общих страданий.

Но, желая сжечь прошлое, я предвременно воскресила его. Значит, я должна сохранить здесь и свидетельства единственного человека, который пожелал понять пережитое нами, а не просто его осудить.

Трагедию моей жизни Михаил Михайлович разъясняет своими многочисленными записями, которые здесь все собрать и привести невозможно. Скажу одно: они были, по существу, раскрытием темы, поставленной мною в этом повествовании давным-давно «среди пыльных книг» в замоскворецкой комнатке Александра Васильевича где-то в начале двадцатых годов, темы — о женщине.

«Л. только тем и замечательна, что умела отстаивать свои права на материнство, не отдаваясь... Лялина жизнь есть борьба за женщину в ее сокровенном значении как материнство личности (духовное материнство)».

«Как Ляля проста в своей сущности, и как трудно было из-за этой простоты ее понять. В том-то и была ее непонятная простота, что она была мать без детей».

Я знала, с каким поездом Александр Васильевич приезжает по утрам из Можайска. Меня не раз тянуло на Белорусский вокзал ему навстречу. Вот я сме-

¹⁰ Поэма о любви «Фацелия» (1940) — первая часть книги «Лесная капель».

шиваюсь с утренней толпой торопящихся на работу людей и вижу Александра Васильевича. Он идет, как всегда смотря себе под ноги или не видя ничего вокруг. В руках у него до предела раздутый знакомый потертый портфель. Александр Васильевич проходит близко от меня, но я могу быть спокойна — он меня не заметит. Я возвращаюсь с вокзала и думаю: надо поставить на своей жизни крест.

В этих мыслях тянутся первые дни новой зимы 1939/40 года без видимых в моей жизни перемен. Однако они стоят уже на моем пороге, и мой рассказ, который под конец становился все мрачней и безнадежней, получает неожиданное продолжение: в мою загубленную жизнь пришел художник, понявший смысл этой жизни и страстно, убежденно пожелавший ее оправдать. Он записывает: «Если я оправдаю ее, то тем самым и себя оправдаю. Как много в этом смысла — оправдать! Положу всё на это — и Лялю свою оправдаю». «Наша встреча дана нам в оправдание прошлого». Понять — значит найти в прошедшем смысл, что делает рассказ о себе рассказом для всех.

«Ее память в отношении своей жизни работает, как память художника-реалиста: утверждаются как реальность не все факты, а только те, которые характеризуют направление сознания личности. Факты — это следы на песке существа, обладающего крыльями. Но вот следы ног кончаются, по обеим сторонам этих последних следов на песке виднеются удары маховых перьев крылатого существа, и дальнейшее преследование его по следам на земле невозможно.

Камень отвален от гроба, книжники и фарисеи одурочены, земные следы крылатого существа потеряны... Христос воскрес и через какой-то необходимый срок переживаний обманчивой земной радости придет всех судить... Этот суд Христов в противоположность суду человеческому будет совершаться уже не по земным следам, а по тем существенным следам крылатой личности, которые ускользают от глаз земного следопыта».

Я хотела бы ответить себе еще на один вопрос: смогла ли я сохранить свою детскую веру в смысл нашей жизни, любовь, Невидимый град, Школу радости, Остров Достоверности — в мир нравственного совершенства? Да. И если бы даже весь океан бытия мне удалось процедить сквозь решето своего рассудка, я все равно в нем ничего бы лучше не нашла, чем та жемчужина веры, что единственная лежала на весах моей совести и сознания с далекого детства. Но вот что новое узнала я за свою жизнь: вера становится уже невидимой тайной души, тайной личности.

«Есть только я и Тайна. Всё остальное — счеты людей между собой», — сказал в дневнике М. М. Пришвин.

«Есть только Бог и мы. Больше нет ничего. Бог и человек относятся, как Тайна и внимание. А все прочее — тень и сон», — сказал в своем «Острове Достоверности» Олег.

Мы все идем общим путем рядом друг с другом, и иногда по пути вдруг тихо повеет чем-то знакомым, родным. Мы оборачиваемся, ищем и радостно догадываемся: это с полей нашего Китежа — невидимого града нашей общей души, он рядом, он близко, невидимый, — цветет.

*Вступление и подготовка текста Я. З. ГРИШИНОЙ.
Рукопись из архива В. В. КРУГЛЕЕВСКОЙ и Л. А. РЯЗАНОВОЙ.*



Александр СЕКАЦКИЙ

Я к вам пишу

Незадолго до наступления безумия в своей итоговой книге «Ессе homo» Ницше задает несколько вопросов, которые на первый взгляд могут показаться странными: «Почему я так мудр?», «Почему я так умен?», «Почему я пишу такие хорошие книги?». Между тем перед нами подлинно философские вопросы, и притом из числа главных. Так о себе не говорят, но так о себе думают. И вот философ бесстрашно высказывает скрытое, преодолевая различные неудобства и, в частности, неудобство «нескромности»: ведь честность отчета для него — единственный критерий профессионально выполняемого дела.

Вопрос о движущих силах авторствования выдвинулся на первый план незаметно. С тех пор как «вклад в культуру» стал сопровождаться персональной пометкой «произведение автора N» (а это произошло в Греции в период расцвета софистики), цена такой пометки непрерывно растет. Кажется, что из всех видов вкладов именно этот наиболее надежно защищен от инфляции: ведь произведение обладает самовозрастающей стоимостью и после смерти вкладчика. Пожалуй, посмертное начисление процентов идет еще быстрее, чем прижизненное: подпадающие учету упоминания, цитаты, переиздания и различные проявления почтения, для которых уже не существует надежного счетчика, какого-нибудь точно градуированного дозиметра. Среди начисляемых процентов — имя вкладчика-автора, произносимое с придыханием, увековеченные сельские домики и городские маршруты. Некая часть среды обитания, и без того переселенной, изымается в Мемориал — и народная тропа не зарастает. Поводыри и стражники кормятся вокруг культа, получая свою долю процента и клеймя позором не слишком ретивых прихожан: «В греческом зале, в греческом зале...»

Мы вправе говорить о формировании новых пантеонов: исчезают Зевс, Гера, Артемида, но воистину, свято место пусто не бывает, восходят новые светила — Гораций, Тициан, Гете.

Философ и мистик Даниил Андреев говорил о «затомисах», простирающихся над цивилизациями. В этих затомисах и обитают новые национальные покровители: Бах и Гете обосновались в *заоблачной Германии*, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Блок образуют *синклит небесной России*.

Персональные святилища Древней Греции, вроде храма Ники Самофракийской, коррелируют с нашими мемориалами, такими, как Веймар, Михайловское и Ясная Поляна. Есть основания полагать, что и психология паломников, их специфическая восторженность, в общем и целом соответствуют языческим эталонам.

Канонизация автора, следовательно, может быть представлена как высшая и последняя стадия капитализации процента по вкладу. Стоит ли удивляться, что вклады такого рода приобрели в конце концов неслыханную популярность? Однако Банк Памяти с его сверхнадежными сейфами имеет ряд особенностей: число единиц хранения в нем ограничено, а проценты начисляются только первым, первым в своем роде. Одним словом, этот депозитарий, принимающий «произведения господина N», больше всего напоминает финансовую пирамиду. И вот случилось наконец то, что и должно было случиться: XX век стал эпохой обманутых вкладчиков. Число авторов сравнялось с числом «прихожан» (т. е. текстопотребителей, способных обращать внимание на персональную пометку при тексте и тем самым быть источником фирмиама).

Еще задолго до начала персональной атрибуции вложений в культуру Гераклит утверждал, что «душе присущ самовозрастающий логос». Но неожиданный смысл этих слов раскрылся совсем недавно. Оказалось, что культура, в которой мы жи-

вем,— это саморасширяющаяся Вселенная текстов. Причем явная перегруженность памяти отнюдь не привела к прекращению расширения, «обманутые вкладчики» не торопятся расходиться — напротив, толпа все прибывает и прибывает. Просто *высокая болезнь* (воспользуемся прекрасным определением Пастернака) приобрела характер эпидемии и перешла в стадию маниакального авторствования.

В Гамбурге проходил фестиваль современного искусства. Собравшиеся в огромном количестве художники (а также арт-критики, арт-мейкеры и прочие загадочные персонажи) выставляли выставки, инсталлировали инсталляции и представляли представления (то бишь перформансы). Шла кипучая работа, преисполненная повальной гибели всерьез,— не хватало разве что публики, а сами художники не баловали друг друга посещениями.

Меня с самого начала заинтересовала рыжая девушка, покуривавшая травку и, кажется, постоянно находившаяся под воздействием *microdose*. Она заметно выделялась из общей взволнованности, демонстрируя отстраненность и легкое отношение к бытию. У нее для каждого находилось доброе слово, впрочем, как правило, всегда одно и то же: «Take it easy»: дескать, «Не бери в голову». Но в один прекрасный день рыжеволосая красавица изменилась до неузнаваемости: откуда-то появились напряженность, скованность и даже выражение муки на лице. Я спросил у нее, в чем дело, предположив, что скорее всего кончилась травка. «Понимаешь, у меня сегодня выставка»,— ответила девушка и отвернулась, уйдя в свои переживания, попросту не услышав моего «доброго слова».

Теперь я склонен считать это типичной клинической картиной высокой болезни. Универсальный пофигизм дает трещину — вот верный признак того, что вирус авторствования проник в душу. Видно также, что этот симптом высокой болезни не входит в группу желаний, объединенных фрейдовским *Lustprinzip*, принципом наслаждения. Большинство влечений допускает раз-влечения или даже требует их. Секс, алкоголь, воинственность, рыбалка частично конвертируемы друг в друга. Но специфический *фимиа* авторствования, увы, не обменивается на другие блага. Ярким примером запущенной высокой болезни с проникшими во все личностные центры метастазами может служить скрипач Ефимов из «Неточки Незвановой». Он буквально погибает от нехватки *фимиама*. Ни любовь Неточки, ни алкоголь не способны заменить ему признательности публики. А ведь две-три капли фармакона в месяц могли бы поддерживать его существование: толика аплодисментов, тихий шепот за спиной: «Смотри, это он», простодушное признание: «Да, ты, брат, силен...»

Впервые симптомы высокой болезни описаны Платоном в диалоге «Ион». Сократ, исследуя природу поэзии, говорит: «Поэт — это существо легкое, крылатое и священное, он может творить лишь тогда, когда сделается вдохновенным и исступленным и не будет в нем более рассудка».

Здесь верно указано, что быть автором — значит находиться в измененном состоянии сознания, быть «вне себя». И все же кажется, что поэты одурачили Платона насчет божественного происхождения своей одержимости. Ясно, что сакрализация источника заражения имела вполне определенную цель: «...чтобы мы, слушая их, знали, что не они, лишённые рассудка, говорят столь драгоценные слова, а говорит сам бог и через них подает свой голос». То, что авторам удалось убедить самих себя и друг друга, не слишком удивительно. Но убедить прихожан и перехватить сладковатый дымок жертвенников — тут требовался некий грандиозный иллюзион. О его устройстве с неподражаемым простодушием высказался сам Ион: «Я каждый раз вижу с возвышения, как зрители плачут и испуганно глядят, пораженные тем, что я говорю. Ведь я должен внимательно следить за ними: если я заставлю их плакать, то сам, получая деньги, буду смеяться, а если заставлю смеяться, сам буду плакать, лишившись денег». Трюк в принципе удался — на смену поэту, зарабатывавшему место на пиру воспеванием подвигов суверена, пришел гордый автор, пред которым заискивают сильные мира сего. Триумф, однако, был омрачен (и поставлен под угрозу) дальнейшим распространением эпидемии.

Если автор есть одержимый, то какова природа «одержавшего»? Кто вдохновляет поэта, если вдохновляющая инстанция вообще отвечает на вопрос «кто»? Быть может, автор, гордо считающий себя творцом, является простым агентом воли-к-произведению, промежуточным звеном, обеспечивающим самовозрастание всемирного массива текстов... Воля-к-произведению возникает из прочтения критической массы текстов, семечко авторствования западает в душу, как льдинка в глаз Кая, и начинает свой внутренний метаморфоз. Субъекты, пораженные волей-к-произведению, с какого-то момента уже не принадлежат более самим себе, реализуя программу Чужого, передающую

юся через вирус авторствования. Как масштабы графоманства, так и его печальные последствия еще не подвергались серьезному анализу. Возможно ли излечить своевременно выявленное графоманство «хирургическим» путем, уничтожить семечко в зародыше, выжечь каленым железом насмешки, подчеркнутого пренебрежения или доброго, но твердого совета? Увы, не все так просто.

Возьмем чеканный афоризм Льва Толстого: «Лучшее, что в нем есть, писатель отдает книгам — вот отчего книги его хороши, а жизнь дурна». К этому времени роман «Война и мир» уже написан и Толстой известен всей читающей России. Для пораженного вирусом авторствования его предостережение просто смешно и скорее воспринимается как поощрение: подумайшь, «жизнь дурна» — при хороших-то, признанных книгах.

Неутомимым борцом с маниакальным авторствованием был Василий Розанов. В «Опавших листьях» целые страницы полны насмешки над завышенными претензиями литераторов. Кто-кто, а Розанов прекрасно чувствовал нестерпимую фальшь рефрена. «В греческом зале, в греческом зале», утверждая без обиняков: «У меня нет никакого стеснения в литературе; литература есть просто мои штаны. Что есть еще литераторы и вообще что они объективно существуют — до этого мне нет никакого дела». Действительно, что может быть лучше, чем просто жить, погрузившись в слишком человеческое: летом собирать ягоды, варить варенье, зимой пить чаек с этим вареньем?..

Однако эффективность предложенного рецепта вызывает большие сомнения. Тем более что буквально через несколько страниц Розанов подробно описывает план издания своих сочинений — с расчетом томов этак на двадцать, с подробными указаниями, что куда включить. Здесь же, в «Опавших листьях», находим мы и уже знакомые вариации на тему «Почему я так гениален?». Василий Васильевич пишет: «Да, мне многое пришло на ум, чего раньше никому не приходило, в том числе и Ницше и Леонтьеву. По сложности и количеству мыслей (точек зрения, узора мысленной ткани) я считаю себя первым». Отсюда видно, что «штаны» пришили Розанову впору. И вообще литературные штаны больше всего похожи на те, которые носили на планете Плюг в галактике Кин-дза-дза. Там перед обладателем штанов определенного цвета полагалось делать двойное «ку» с приседанием.

Заявление Ролана Барта о «смерти автора» трудно расценить иначе как форму кокетства. Фактически же дело обстоит с точностью до наоборот. Наше столетие показало: среди призраков, склонных принимать человеческий облик, нет более живучего, чем дух авторствования. Взаимоотношения между автором и текстом могут сколь угодно варьировать, может меняться квота оригинальности, необходимая для персональной фиксации вклада; на смену «сплошному» письму может прийти коллажирование. Но императив, сформулированный Ницше, остается в силе: «Только не спутайте меня с кем-то другим». Вопль авторов всех времен: «Что угодно, только не это».

Аналогия с призраком может быть продолжена: согласно индуистской традиции, существует сонмище «голодных духов», тоскующих по воплощению. Они собираются возле узкого жерла, ведущего к материализации, пытаясь протиснуться во что бы то ни стало. И нет иного способа успокоить голодных духов, кроме как дать им осуществиться: обретая дефицитную плоть или, скажем, материализуясь в текстах, дух постепенно насыщается, принимает несуетную, благородную осанку. Олимпийское спокойствие классика, его безмятежность, можно рассматривать как результат такого успокоения. В воспоминаниях о Мерабе Мамардашвили можно прочесть, что на заседаниях кафедры философ обыкновенно помалкивал. Слушая горячие речи коллег, он покуривал свою знаменитую трубку, изредка вставляя междометие: «гм...» Несколько авторов воспоминаний единодушно приводят этот факт, очевидно, как пример мудрости. Но «гм-эффект» является скорее примером другого рода. Можно сказать, что это демонстрация позы уверенного в себе классика, если угодно — наименее назойливая из всех возможных демонстраций, но все с той же хитринкой, что и варенье Розанова. Любой неофит убедился бы в этом тотчас же, вздумай он так же безмятежно покуривать в момент борьбы честолюбий. Для него «гм-эффект» был бы просто не по чину, впрочем, любому участнику авторских войн это прекрасно известно.

Профессор, пользующийся заслуженным авторитетом и любимый студентами, может сказать им: «Вы такие умные — слушаю вас и радуюсь. А я-то, старый дурак, ничего в этом не понимаю». Начинающий преподаватель так сказать не может, ему не по чину признаваться в собственном незнании.

Известный журналист, несомненный мастер своего эфемерного жанра, говорит, что его интересует мнение лишь двух-трех человек, остальное — до лампочки. «Сытый голодного не разумеет» — эта пословица особенно верна, если ее применить к отношениям между «голодными духами» и теми, чья жажда авторствования отчасти уже утолена в признанных произведениях. Впрочем, ненасытность представляет собой скорее правило, чем исключение.

Итак, вирус авторствования, размножившись необычайно в последние два века, привел мир к состоянию всеобщей яростной графомании. К счастью для человечества, даже во времена самых страшных эпидемий всегда оставалось некоторое количество людей, обладающих естественным врожденным иммунитетом. Этот закон действует и в отношении «воспалений внутреннего мира». Перед нами сколько угодно примеров страшных разрушений, вызванных духовными наваждениями. Волны религиозного фанатизма, изуверства, политических утопий оставляют после себя руины, но мерзость запустения в конце концов преодолевается теми, кто продолжает собирать ягоды и варить варенье.

Иммунитет к маниакальному авторствованию имеет и некоторые национальные особенности. Англосаксонская традиция сформировала наибольшую вирусоустойчивую группу, Америке даже отчасти удалось подчинить механизм текстопроизводства денежному обращению, во всяком случае, удалось внедрить стимул, конкурирующий со сладостью персонального вклада в культуру. Образованная Франция и тем более Германия отличаются куда меньшей резистентностью к вирусу авторствования. Что касается России с ее литературоцентризмом, то здесь высокая болезнь приняла наиболее разрушительную форму, а картина симптомов оказалась самой причудливой.

Чтобы разобраться с природой той силы, что «авторствует во мне», нам придется воспользоваться открытием Фрейда, предварительно придав ему расширительный смысл. Фрейд обнаружил принципиальную неоднородность психики субъекта, невозможность существования Я без Оно. Теневая сторона психической реальности содержит скрытые мотивы, запретные влечения, вытесненные желания, но главное — огромный запас энергии, которым Я так или иначе пользуется, перераспределяя его в своих интересах.

Можно предложить еще более радикальную трактовку: бессознательное существует не только у того, кто говорит о себе «Я» в повседневном общении, но и у всех квазисубъектов. Есть, скажем, подсознание Государства, его темное подполье, населенное мрачными персонажами, демонами государственности, которым Даниил Андреев дал имена: уицраоры, игвы и т. д. Есть теневая, невыговариваемая сторона национального самосознания. Существуют изнаночные мотивы целых цивилизаций, снабженные *прекрасной видимостью* и лишь в таком виде допускаемые цензурой.

И есть, конечно, специфическое бессознательное автора как особого субъекта-деятеля, резервуар дикой энергии, привнесенной голодными духами в момент воплощения — в конечном счете эта энергетика и движет рукой пишущего (через систему промежуточных инстанций).

Поиск скрытых мотивов авторствования не имеет прямого отношения к психологии, поскольку предметом исследования здесь является не «psyche» (душа), а воля-к-произведению. Но обитатели этого подполья замаскированы не хуже вытесненных влечений либидо; нам не известны даже их имена. Сам автор привычно пользуется камуфляжем, который довели до совершенства романтики: тут и «муза», и «гений», и «вдохновение» («осеенность»); причем мифологизация процесса текстопроизводства шла по восходящей путем последовательного присвоения атрибутов: так, выражение «мой гений» сменилось утверждением «я гений», произошло самозванное повышение в чине. Сохраняющаяся и по сей день кредитоспособность этих расхожих мифов связана как раз с распространением эпидемии, с тем, что круг симулирующих симптомы высокой болезни неуклонно расширяется. И все же, несмотря на совершенство камуфляжа и мощное сопротивление, в бессознательное Автора можно заглянуть.

Прежде всего по аналогии с «первичной сценой», рассматриваемой Фрейдом в качестве сексуального источника неврозов, мы можем выделить «первичную кражу», лежащую у истоков *невроза авторствования*. Речь идет о решающем заимствовании, когда неофит присваивает поразивший его *взгляд на мир*, причем факт присвоения тут же погружается в «подсознание», в специфическое бессознательное автора. Новоявленный автор, в других отношениях весьма пронизательный, как бы «в упор не видит» очевидного — что как раз соответствует травматическому воздействию первичной сцены.

Нечто подобное имел в виду философ и критик Хэрролд Блум, когда говорил о «страхе влияния» (anxiety of influence), чувстве, которое всякий творческий испытыва-

ет по отношению к фигуре *сильного предшественника*. В борьбе с этой теневой персоной и разворачивается событие авторствования. Сам Блум в книге «Poetry and repression» прослеживает перипетии кражи и ухода от преследователя на примере XVIII — XIX веков. Здесь «творческие муки» обнаруживают свою близость к мукам совести и текст предстает как попытка избавления от них. Скажем, Габриэль Гарсия Маркес, снисходительно и даже доброжелательно относясь ко всем сопоставлениям критиков (порой весьма причудливым), начинает вдруг категорически отрицать сравнение с Фолкнером, напоминая фрейдовского пациента, отрицающего во что бы то ни стало именно факт первичной сцены. Но оправданием автору служит его собственное произведение: в отличие от пациента ему и незачем признаваться, удавшееся, признанное произведение содержит в себе окончательный приговор: «неподсуден».

В понятии страха влияния уже объединены два элементарных мотива: первичная кража и замечание следов; именно в такой последовательности импульс приобретает необходимую длительность. Кража происходит через соблазн произведением, запавшим в душу. Испытавший восхищение расплачивается похищением, этот момент можно назвать передачей эстафеты. Сильный предшественник соблазняет мастерством, правом «творить так» и тем самым как бы провоцирует первичную кражу. В этом акте *порочного зачатия* и рождается автор.

Среди внутренних мифов, которыми поэты потчуют друг друга (и еще охотнее — читателей), самым беспомощным и неубедительным является миф о «писателе без влияния».

В классической, наивной форме история звучит так: настоящий писатель (художник, философ, мыслитель) сидит себе вдали от людской суеты и несуетно творит; во избежание помех и подражаний он никому не внемлет, ничего не читает, а лишь прислушивается к внутреннему голосу — и создает оригинальное произведение. Якобы потому, что избегает соблазна украсть (попасть под влияние).

Тут, увы, одно из двух: либо чистый блеф, либо «иллюзия кондовости». Тот, кто пока не совершил первичной кражи, еще не родился как автор. Даже писатель, который вообще мало что читал или читал и «не проникся», не был соблазнен, отнюдь не освобождается тем самым от подражаний. В таком случае он подражает усредненному анонимному канону *писательства*, некоему набору общих мест — и в силу этого неизбежно банален. Данное обстоятельство прекрасно известно любому редактору журнала, получающему произведения самотеком. Если обнаруживаются узнаваемые мотивы, элементы «творческого заимствования» — тогда есть шанс, что произведение окажется достойным внимания и будет содержать хотя бы минимальную квоту оригинальности. Если же текст является совершенно девственным в смысле заимствований, то нет и такого шанса: опус можно смело швырнуть в корзину. Ибо дело обстоит так: писатели крадут у писателей, дрожа от страха и «бледнея от соперничества» (А. Вознесенский), а графоманы списывают друг у друга, сами того не ведая.

Сюда же можно добавить и тонкое наблюдение Бориса Гройса: «Искренность в искусстве не имеет ничего общего с искренностью в жизни. Как раз психологически вполне искренние художники или писатели, верящие в силу своей традиции, в культурном контексте чаще всего воспринимаются как неискренние эпигоны, следующие принятым условностям... И, напротив, художник считается искренним и аутентичным, когда он покидает собственную среду и отправляется куда-нибудь на Таити или в Африку, создавая для себя сугубо искусственную ситуацию» («О новом»).

Как бы там ни было, только тот, кто оболещен сильным предшественником, по-настоящему инициирован в авторствование: в него заронено семя, из которого может родиться агент воли-к-произведению. *Крестный отец* при этом оказывается вовлеченным в конфликт, описанный Фрейдом как «восстание против Отца». В нашем случае тоже воспроизводится «амбивалентность чувств» — отношение к приемному родителю насыщено самыми противоречивыми интенциями: тут и страх, и благодарность, и желание занять *его* место. А сообщество пишущих в свою очередь несколько напоминает стадо приматов: в нем много мужских особей, но перенос генов (в нашем случае — передача влияний) осуществляется либо исключительно вожаком (лидером направления), либо несколькими доминирующими самцами...

Если рассмотреть литературу XX века, то можно назвать имена Пруста, Фолкнера и Борхеса — их литературное потомство неисчислимо. В сфере современного нефигуративного искусства доминирующая роль в передаче генов принадлежит Марселю Дюшану, Йозефу Бойсу и Энди Уорхолу, произведенная ими сила соблазна сопоставима с суммарным вкладом остальных художников. И хотя именно эти

остальные очень любят предъявлять обвинения в краже своего творческого достоинства, чаще всего они выдают желаемое за действительное.

Нарисованная Фрейдом картина восстания против Отца (в работе «Тотем и табу») предполагает, что рано или поздно ущемленные потомки, «сговорившиеся братья», убивают своего могучего и властного родителя, испытывая затем муки совести. В этом отношении картина высокой болезни (неодолимой тяги к авторствованию) существенно отличается: желания сбросить кумира с корабля современности, конечно, хватает, но соперничество между «братьями» оказывается сильнее, и коллективный сговор не удается. Мандельштам, оплодотворивший русскую поэзию XX столетия, был прав, когда говорил в полном сознании своей силы: «И меня только равный убьет...»

Крестный отец, породивший множество авторов, не спешит с разоблачением мелких хищений. В нем успокоен голодный дух, утолена жажда. Его вклад помещен в надежный сейф, в ячейку культурной памяти с пометкой «хранить вечно». Ранг прижизненного олимпийца позволяет ему покуривать трубочку, наслаждаясь «гм-эффектом».

Но дело не только в этом. С достигнутой высоты хорошо видны многие вещи, неразличимые в ином ракурсе, в состоянии промежуточного, неутоленного авторствования. Глядя на соблазненное им юное дарование, на свежеспеченного художника, писателя или поэта, пытающегося уйти от влияния, нарушить равновесие «уже сказанного» (иначе не уйти), мэтр узнает себя «в осьмнадцать лет» и думает: «Ишь, какой строптивый жеребёночек попался, так и норовит то лягнуть, то сбросить... Ничего, подрастет, окрепнет — то-то носить будет...» Мэтр уже знает, что попытка преодолеть влияние продвигает в нужном направлении (против течения Леты, реки забвения) и того, кого стараются превзойти, — вот отчего тому любви «резвые кони». Известно ему и другое правило, незримо объединяющее цех творцов: «Не пойман — не вор, не украл — не автор».

Сразу же вслед за первичной кражей или даже одновременно с ней начинается действие и другой движущей силы из области авторского бессознательного. Речь идет о «запутывании следов». При этом творческая траектория выстраивается как *побег от преследования* — дистанция отрыва и длина пути суть прямые показатели мастерства. Скажем, мелкого воришку, дилетанта и графомана, легко поймать за руку. Легко и поэтому неинтересно, никто из профессиональных сыщиков (критиков, филологов, искусствоведов, взыскательных читателей) не станет тратить на это время. Профессионалы занимаются профессионалами, тем более что умелый преследователь, первым почуявший рождение Автора и сумевший точно отследить, где оно произошло, в силу какого соблазна свершилось, тоже получает свою долю фимиама — ему отчисляется небольшой краткосрочный процент.

Чем ярче выражены первичные мотивы, тем сильнее энергетика произведения. Владимир Набоков в романе «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» рисует портрет идеального автора как мастера ослепительных пропусков и эффектных сокрытий. Герой романа подытоживает свои размышления следующим образом: «Не следует сохранять ничего, кроме совершенного достижения — напечатанной книги». Заметая следы, следует выбрасывать черновики, уничтожать восторженные письма, вырывать или переписывать наивные страницы дневников, чтобы сбить со следа, подставить собственный облубованный образ, желательно двоящийся, ускользающий от окончательной разгаданности. Сам Набоков — один из немногих, кто принял осознанную и выверенную стратегию авторствования, его тексты полны мистификаций и фальсификаций, разного рода ловушек и тонких намеков, ведущих не туда. Можно сказать, что он преднамеренно вошел в долю с грядущими сыщиками: разоблачать себя заставил и лучше выдумать не мог. С тех пор филологами написаны многие тома, раскрывающие эллипсисы и потайные дверцы заимствований, а работы еще непочатый край.

Следующую причину невроза авторствования точнее всего будет назвать комплексом самозванства. Когда поэт апеллирует к музам, при каждом удобном случае говорит о своем призвании, он не просто воспроизводит цеховое клеймо, некий дежурный рекламный клип для потребителей произведения. Дерзнувший нарушить равновесие бытия пытается прежде всего сокрыть свою собственную неуверенность, отсутствие правомочного посвящения в мастера. Именно этой исходной неуверенностью вызваны всевозможные margins и supplements, исследуемые Жаком Деррида, — предисловия, вступления, уведомления и прочие экивоки, призванные ответить на вопрос: «Почему я?»

Нам время от времени сообщают, что рукопись была найдена в Сарагосе, на чердаке, в бумагах покойного деда и еще черт знает где, вместо того чтобы просто сказать: «Я к вам пишу, чего же боле...» И предъявить произведение.

Тут, правда, можно сослаться на обыгрывание приема, но и прием, и его обыгрывание явно получаются в духе известного афоризма: «Нет столь избитой истины, которую нельзя было бы избить еще раз». Любопытно, что читатель, даже тот, кто сам поражен вирусом авторствования, пропускает эти писательские находки мимо ушей с привычным легким вздохом о неизбежности у банана кожуры. Немногие смельчаки рискуют начинать так, как Кафка: «Грегор Замза превратился в насекомое». И это понятно: ведь право другого быть автором обычно не подвергается сомнению. В отличие от собственного права на авторствование, которое всегда проблематично. В картине высокой болезни комплекс самозванства далеко не последний, его даже можно назвать первым — в том смысле, что сильнее всего он выражен у начинающих авторов.

Неофит, отдающий свой опус на суд публики (или коллег), с трепетом ждет самого страшного недоумевающего вопроса: «А ты кто такой?» Вдруг суд сразу же разберется и определит самозванство? И вынесет приговор: «Пошел вон». Поэтому, когда отступают периодические приливы мании величия, подсудимый умоляет про себя: «Только бы не сразу...» И вот (о счастье!) выясняется, что фокус удался. Прочитавшие (если таковые, конечно, нашлись) судят о произведении, а не праве неофита на произведение. Его критикуют (допустим), но как автора, не догадываясь, что имеют дело с самозванцем. И это, безусловно, маленькое чудо, неожиданный оазис блаженства среди действительных мук и страданий, причиняемых автору вселившимся голодным духом.

Потом наступает постепенно привыкание — *хроническое авторствование*, оно как раз характеризуется частичной утратой страха перед разоблачением. Но полное алиби не достигается никогда, призраки *сильных предшественников*, обобранных до нитки, время от времени грозят пальцем из своих затомисов и синклитов.

Страх самозванства особенно ярко проявился в романтизме, именно это направление выработало самые совершенные приемы очковтирательства, их отголоски до сих пор звучат в расхожих формулах школьно-музейного камлания: «В греческом зале, в греческом зале...» Художники Ренессанса были гораздо честнее в самоотчете (или, может быть, просто не изобрели еще столь совершенных форм сокрытия). Во всяком случае, «Жизнеописание» Бенвенуто Челлини свидетельствует, что было время, когда подобные приступы переносились легче (речь не идет о болезни в целом).

Тот же Набоков, действительный мастер в обыгрывании приема, принадлежал к числу самых пронизательных аналитиков (диагностов): «Я должен представляться несуществующим, поддельный родич, словоохотливый самозванец». Один из его романов так и называется — «Bend sinister», геральдический термин, означающий особую полосу на гербе, знак незаконнорожденности. Смелый ход, но точно рассчитанный, — всякому, кто пренебрежительно пожмет плечами, придется ответить на вопрос: «А ты кто?» Правила для всех пробивающихся в пантеон одинаковы: ни до произведения, ни после никакие претензии не принимаются; зато спрессованная в тексте сила обольщения оправдывает все. Приходится согласиться с тем, что у художника самая легкая этическая участь (тут с него нечего взять) — и самая трудная эстетическая.

Из всех известных мне исследований тайны творчества лучшим (в смысле лаконичности и точности) является притча китайского философа Чжуан цзы. В иносказательной форме ему удалось сформулировать тайный кодекс авторствования:

«У разбойника Чжи спросили:

— Есть ли у разбойников свое учение?

— Разве можно выходить на промысел без учения? — ответил Чжи. — Судите сами: **Мудрость** состоит в том, чтобы узнать по слухам, есть ли в доме сокровища, отсеивая ложные слухи. **Смелость** — войти туда первым. **Справедливость** — выйти оттуда последним. **Знание** — это распознать, возможен ли грабеж. **Милосердие** — разделить добычу поровну. Без этих пяти добродетелей никто в Поднебесной не сможет стать Большим Вором».

Пять добродетелей Большого Вора суть сжатые пружины, выталкивающие дерзнувшего художника на соискание бессмертия. Они не для мелкого воришки. Ибо искусствоведы и критики, приговаривая плагиатора, застигнутого на краже, к позору, канонизируют Большого Вора, владеющего мудростью разбойника Чжи. Ведь, собственно говоря, только он и дает им работу.

Нина МАЛЫГИНА

Здесь и сейчас: поэтика исчезновения

В современной газетно-журнальной критике к текущей литературе наметился подход, основанный на откровенно выражаемом сомнении в самом факте существования литературного процесса. Во всех недавних интервью с писателями критики настойчиво пытаются выяснить: да есть ли еще литература?

Знакомство с журнальными публикациями и книжными новинками последнего времени рождает догадку, что причина скептического взгляда на современную прозу — в недостатке внимания и интереса к ней. Образцом такой критики является газетная рецензия, автор которой, воспринимая очередной объект своего недовольства как «образчик типичной «толстожурнальной» повести конца девяностых», заранее уныло оговаривается, что она «вроде бы и не заслуживает отдельной рецензии», ностальгирует по литературе советского периода, якобы сплошь проникнутой «вкусом к жизни» и населенной положительными героями (Т. Кравченко. Нелюбовь к собственным персонажам. «Независимая газета»).

Вместе с тем более доброжелательный взгляд улавливает обнадеживающие симптомы того, что «у отечественной прозы открылось новое дыхание» (Александр Архангельский). Андрей Дмитриев в интервью с критиком Еленой Михайловой на вопрос, воодушевляет ли его состояние нынешней литературы, ответил: «И говорил, и повторю не раз: да!.. *Теперь* — в каждом номере едва ли не каждого журнала вы найдете разогретое слово, качественную прозу, поэзию и, главное, новое имя» (курсив мой.— Н. М.). Писатель изнутри литературной ситуации почувствовал наметившиеся в ней в конце 90-х перемены.

Объектом скрытой, но напряженной критической полемики является и вопрос наличия у современной литературы читателя. «Литпроцесс, как ему и положено, идет своим чередом, не задевая никого, кроме его непосредственных участников», — утверждает Т. Кравченко. Едва ли не признаком хорошего тона становятся адресованные сегодня прозе критические упреки в чрезмерной сложности, в ориентации на элитарный вкус узкого круга профессиональных читателей. Претензии такого рода заставляют вспомнить размышления Мандельштама о разрушительном для поэзии стремлении сделать ее доступной каждому: «...обращаться к совершенно поэтически неподготовленному слушателю столь же неблагоприятная задача, как попытаться усесться на кол. Совсем неподготовленный совсем ничего не поймет, или же поэзия, освобожденная от всякой культуры, перестанет вовсе быть поэзией, и тогда уже по странному свойству человеческой природы станет доступной необъятному кругу слушателей».

У серьезной современной литературы был и остался свой читатель, облик которого попытался определить Андрей Дмитриев, — это «провинциальный интеллигент», ищущий в литературе ответы на «проклятые вопросы»: «В диалоге с литературой он преодолевает растерянность, страх, одиночество».

Именно потому вызывают интерес попытки современных писателей осмыслить нынешнее состояние российского общества. В романах Ольги Славниковой «Один в зеркале», Андрея Дмитриева «Закрытая книга», повести Людмилы Улиц-

кой «Веселые похороны», повестях и рассказах Марины Вишневецкой создается целостная картина современного мира.

У этих произведений словно бы один общий герой — близкий по духу авторам отечественный интеллигент, вовлеченный в мучительный процесс ломки привычного жизненного уклада. Вместе с ним на первый план выдвигается проблема творческого потенциала отечественной интеллигенции, судьбы духовных ценностей, носителем которых она несмотря ни на что остается.

Роман Ольги Славниковой «Один в зеркале» привлекает точностью отображения нашей сегодняшней жизни. Детали и подробности пережитого Россией в конце XX века очередного «великого перелома», на которые так щедро история страны, цепко схвачены внимательным взглядом автора. В рецензии А. Марченко, опубликованной «Литературной газетой», обозначены особенности творческой манеры О. Славниковой: «необычное для нашей нынешней прозы сочетание тончайшего психологизма и безудержной живописности с умным, аналитической складки, математически отшлифованным умом».

Словесная живопись Ольги Славниковой воссоздает в запахах, звуках и красках современный облик российского провинциального города. Одна из его примет — фальшивая показная роскошь коммерческих фирм и магазинов на сером фоне всеобщей разрухи. Яркими заплатами проступают на фасадах запущенных домов золоченые крылечки фирм, занятых неведомым бизнесом.

На первых страницах романа его молодые нарядные герои появляются на фоне грязного подъезда. Возникает образ *непригодного для жизни пространства*, от которого пытаются оградиться сейфовыми дверями и замками.

Герой романа — вузовский преподаватель математики Антонов, интеллигент во втором поколении. Рассказана история его жизни, предыстория его родителей: знакомство приехавших на учебу в большой город провинциалов; прописаны эпизоды детства и юности героя. Роман фиксирует контраст таланта и убогого места службы Антонова, который продолжает свои исследования вопреки обстоятельствам.

Творчеству ученого, его работе над рукописью монографии посвящены поэтические авторские отступления о вдохновении, о мучительном и прекрасном саморазвитии научной мысли, неисповедимыми путями проникающей в тайны мироздания. Сравнения «живых» работ Антонова с «математическими растениями» — аллюзии из авангардной поэзии Хлебникова и Заболоцкого. Трагедия героя романа в том, что ему не суждено сделать открытия, на пороге которого он находился. Российская глубинка — отнюдь не благодатная почва для духовных ценностей, которые способен создать талант. Успех приходит к другому человеку, живущему за океаном, где умеют ценить таланты и создавать условия для научного творчества.

Все, что наполняло жизнь Антонова содержанием и смыслом, исчезает: у него «отняли жизнь». Таким ощущением врывается в жизнь Антонова любовь к студентке-первокурснице. Впервые встретившись с нею, он мгновенно понимает, что больше себе не принадлежит. Антонову не удастся проникнуть в ту реальность, где существует Вика, и он лишь одиноко отражается в ее непроницаемой поверхности. Лейтмотивом романа становится открытие, которое каждый человек (и каждый писатель) делает для себя заново: живущие рядом люди могут находиться очень далеко друг от друга, в параллельных измерениях. В отступлениях, временами прерывающих повествование, поясняется, что образ героя романа в известной мере навеян человеком из очереди, видимым только со спины. Бессознательная потребность держаться спиной друг к другу — знак несоприкасающихся миров Антонова и Вики.

Символика названия романа связана с тем, что мир каждого из его героев закрыт и непонятен для другого и воспринимается им как зазеркалье. Ольга Славникова, выступая как критик современной прозы, не только тонко интерпретирует произведения собратьев по перу, но и раскрывает код собственных вещей. В одной из ее рецензий истолкована суть происходящего в романе: «дурная наоборотность зазеркалья, порочная симметрия... относительно некой непроходимой границы». В критических статьях писательница явно стремится определить жанровые приметы романа: «сюжетная и персонажная соподчиненность», попытка поведать об «исто-

рии всей жизни» героя — прежде всего для того, чтобы понять, насколько им соответствует ее собственный текст.

Повествование о мучительной любви героя романа «Один в зеркале» почти цитирует забытый сюжет горьковского «Рассказа о безответной любви». Любовь без взаимности уничтожает все, из чего складывалась жизнь Антонова: дар научного творчества, друзей, настоящее и прошлое.

Драма любви человека, способного к переживанию глубокого чувства, над которым он не властен, к женщине с пустой душой и «тверденьким» сердцем, не умеющей полюбить мужа, напоминает чеховскую «Попрыгунью». Но героиня Чехова, прозревшая после смерти мужа, талантливого доктора, которого она не сумела оценить при жизни, — образ недостижимой духовной высоты по сравнению с возлюбленной Антонова. С проникновенным психологизмом О. Славникова раскрывает приметы «нелюбви» женщины, создает обобщенную модель поведения равнодушного человека.

Мучительная неразделенность любви не помешала Антонову пережить мгновения счастья, возвыситься до кротости и смирения, до готовности вынести ради любви все, что несет с собой чувство.

Самым тяжким испытанием героя становятся постоянные исчезновения Вики. В самом начале их знакомства она выбирает один из самых безжалостных способов бегства от близких людей — ничем не мотивированное самоубийство — и в результате неудавшейся попытки покончить с собой попадает в больницу. Вполне здоровая Вика своим эгоцентризмом доводит почти до безумия близких. Появление психиатрической больницы на карте реальности героя романа становится знаком безумия происходящего.

Антонов открывает свойство серых стен больничных коридоров: они способны сделать человека несуществующим. Безумие предстает в романе вариантом возможного *исчезновения человека из реальности*, в которой ему не находится места.

Неудавшееся самоубийство Вики подталкивает Антонова к решению сделать ей предложение, но оно же предсказывает обреченность их брака. Парадоксальность ситуации заключается в том, что испытываемый героем страх утраты возлюбленной, потребность в ее постоянном присутствии усиливают в ней стремление «исчезать». Исчезновение становится лейтмотивом супружеской жизни Антонова, где навязчиво повторяется одна и та же сцена «исчезновения» неверной жены то к мифическим подругам, то на «служебные» вечеринки. Переживание ее отсутствия оборачивается для героя *исчезновением времени*: без нее жизнь для него останавливается.

Драматизм ситуации усиливает прервавшаяся связь времен, конфликт поколений. Пятнадцатилетняя разница в возрасте Антонова и его жены вызывает у героя мысль о сходстве его «банально-беззаконной» любви с сюжетом набоковской «Лолиты». В аннотации к роману говорится о «черте», разделявшей поколения тридцатилетних и двадцатилетних. Любовная история героя романа — зеркальное отражение его лишенных взаимности отношений со временем. Вика отказывается признать право мужа на прошлое, воспринимая жизнь Антонова до встречи с нею как несуществовавшую. Тщетно он старается убедиться в том, что его прежняя жизнь все-таки была. Перемены в реальности, в облике мест, с которыми связаны события ушедших лет, воспринимаются как *исчезновение прошлого*.

Приметой изображаемой эпохи становится разрыв прошлого и настоящего в судьбе героя романа. Аннотация к роману предупреждает, что он — о расколе времени, которое «лишилось возможности складываться в историю».

В романе настойчиво звучит мотив, обозначенный в «филологическом романе» Александра Гениса «Довлатов и окрестности»: «...неуверенность в прошлом — реакция на гибель режима».

А. Марченко обнаружила в романе «математически вычисленного» автором героя нашего времени, которого так жаждет найти и показать современная литература, — это исполнительный директор фирмы ЭСКО, молодой человек, «демон и гений», сумевший изобрести «механизмы извлечения денег из воздуха». Но экзистенциальный смысл романа подсказывает, что это скорее псевдогерой. Истинным же его героем является все же Антонов — тот, кто в результате разрушения прошлого

и настоящего лишился способности прорываться к вечным надвременным ценностям, которые позволяют человеку преодолеть ограниченность собственной жизни, наполнить ее высшим смыслом.

Мотив *исчезновения* как результат губельного для героев стремления включиться в новую — закрытую для них — реальность, настойчиво звучащий в романе Славниковой, разворачивается и в романе Андрея Дмитриева «Закрытая книга».

Публикация «Закрытой книги» сразу привлекла внимание критики, роман был воспринят как «вещь... значительная... и поворотная», которую вполне можно поставить в один ряд с «лучшей русской прозой» (Александр Архангельский). Развивая эту мысль, высказанную в первой рецензии на журнальный вариант повести, критик Евг. Ермолин связывает «Закрытую книгу» с реалистической и гуманистической традицией прозы Тургенева и Чехова.

Невозможно не заметить того, что «название романа выворачивает наизнанку каверинскую «Открытую книгу»» (Александр Архангельский). Знатор творчества русских формалистов начала XX века Вл. Новиков первым узнал в персонажах романа Дмитриева переименованных героев романа В. Каверина «Скандалист»: «Тынянов здесь назван Плетеневым, Шкловский — Новоржевским, Каверин — Свищовым, а его брат Лев Зильбер предстает как академик Жиль». Символика названия романа толкуется в критике диаметрально противоположно. Вл. Новикову она показалась слишком мрачной: «Жизнь может быть только открытой книгой, выражение же «закрытая книга», как мне кажется, можно отнести к замкнутой в себе и в своем времени инерционной словесности». Между тем А. Архангельский уловил в ней совершенно иной смысл: «Люди — «закрытая книга», загадка, которую лучше не пытаться разгадать. И потому, что может обнаружиться тщательной скрываемаемая пустота. И потому, что мы часто принимаем за пустоту — тайну».

В тексте Дмитриева литература и реальность тесно переплетены: события литературной жизни вторгаются в судьбы героев, влияют на них и наоборот — герои имеют глубоко личное отношение к литературным явлениям. Другом юности известных писателей оказывается главный герой романа, именуемый автором — В. В. Узнаваемо зашифрованное упоминание о популярном романе Каверина «Два капитана», который сыграл определяющую роль в судьбе матери героя-рассказчика, а через нее повлиял на его собственную жизнь: несбывшаяся материнская мечта о море привела сына в мореходное училище, сделала его капитаном.

Повествование о судьбах персонажей романа Дмитриева заставляет вникать и вчитываться в него, чтобы понять, кто же здесь — главный герой. Роман воспринимается как семейная хроника XX века, пережитого тремя поколениями семьи провинциальных русских интеллигентов. Евг. Ермолин в своей рецензии замечает, что воссоздание хронологии событий в произведении требует реконструкции. Высоко оценив произведение А. Дмитриева, критик усомнился в определении его жанра. Признав, что автор умен и знающ, изыскан в деталях, Ермолин все же называет А. Дмитриева «мастером фрагмента», которому не удалось создать ожидаемой от романа «целостной концепции бытия».

Старший представитель рода провинциальных интеллигентов, школьный учитель географии В. В., живая легенда города, его «достопримечательный персонаж», как определила О. Славникова одного из героев «Прусской невесты» Ю. Буйды. В этом городе происходили события романа «Два капитана», и потому его обитатели были «больны» географией. В. В. участвовал в первой мировой войне и удивительным образом спасся от участия в революции и гражданской войне: на далеком севере. Его «исчезновение» из времени и пространства было скрашено романтической любовью сказочно-прекрасной женщины из северного народа саамов.

Великая Отечественная война показана через детские воспоминания сына В. В. Серафима, сохранившие подробности индивидуального переживания трагических событий. Жизнь в глухой северной деревне, где неотвратимо умирали от голода и местные жители, и эвакуированные, отпечатались в памяти в лаконичных и суровых картинах. Серафим и его мать спаслись чудом: они не умерли от голода благодаря уполномоченной Левковой. Но она же отбирала продовольствие у жителей деревни, обрекая их на голодную смерть. И Серафим оказался свидетелем ее убийства, совершенного деревенским мужиком.

Последствия войны неотвратимо настигли Серафима позднее. В детстве у него обнаружился редкий математический талант, но его здоровье, подорванное в годы голодного военного детства, не позволило выдержать учебные перегрузки. Он перенес тяжелый нервный срыв. От полного нарушения психики Серафима спасли длительные пешие прогулки, сменившиеся походами по трудным туристическим маршрутам. Один из таких походов стал причиной преждевременной смерти его жены, для которой оказались непосильными тяжелые физические нагрузки. Отмеченный трагическими утратами жизненный путь Серафима привел его в заштатный провинциальный вуз; но его испытания еще не закончились. В годы «застоя» герой публикует в провинциальной газете статью о нелепости социалистического хозяйствования и его губительных последствиях для природы страны и здоровья людей. Преследования со стороны сотрудников КГБ вновь приводят Серафима на грань психического расстройств. Не вступая в борьбу с системой, герой романа исчезает на незаметной должности лектора планетария. Суть образа «провинциального философа в планетарии» точно определена в рецензии Евг. Ермолина.

Внук В. В. Иона — сверстник и двойник героя-повествователя, о нем известно, что он родился в 1957 году. Лишившись матери в момент рождения, Иона растет у деда с бабушкой и становится непосредственным восприемником духовных традиций, унаследованных от деда и прадеда. Дмитриев создает в романе редкий образ идеального делового человека, который начинает крупное дело не ради личного обогащения, а из высоких патриотических устремлений, мечтая вывести наконец своих земляков из состояния безработицы, бедности и вечной нехватки продовольствия.

Критика уже отмечала, что «романное зерно» зиждется на классической ситуации любовного треугольника: возлюбленная героя-рассказчика, не дождавшись от него жизненной инициативы, уходит к более удачливому Ионе. Она и становится инициатором встречи влюбленных в нее мужчин.

Встреча героя с разбогатевшим Ионой, когда тот был на гребне успеха и у него на службе оказались самые влиятельные люди города,— один из кульминационных эпизодов в сюжете романа. Тогда и обнаружилось, что внешне процветающий человек совершенно не уверен в завтрашнем дне: ощущая непрочность своего положения в родном городе, он предлагает рассказчику стать капитаном баржи, где Иона надеется создать надежный плавучий дом.

Худшие опасения Ионы оправдываются: символом крушения его замыслов становится стоящая на мели разоренная баржа.

Мотив преследования, намеченный в повествовании о судьбе Серафима, распространяется на историю его сына и завершается в финале романа. Серафим погибает, приводя преследователей сына на баржу в надежде сбить их с толку. Серафим верит, что, покончив с ним, охотившиеся за Ионой люди оставят сына в покое. По мнению Евг. Ермолина, конец романа — минорный, «зауспокойный», но смысл финала далеко не так пессимистичен: Иона уверен, что сможет спастись за границей.

Заграница становится местом, где рассказчик-повествователь пишет о своей жизни: корабль, на котором он служит капитаном, арестован за неуплату в гамбургском порту. Но рассказ о себе незаметно превращается в обобщенную историю русского интеллигента. Замысел раскрыт в авторском признании: «Скажи любой из нас: “Где я — там Россия. Россия — это я” — и стыдно будет унывать, не на кого будет жаловаться...»

Эти слова смело можно поставить эпиграфом к повести Людмилы Улицкой «Веселые похороны». Повесть Улицкой показывает, что происходит с людьми, когда граница пересечена. Эмиграция — одна из форм перемещения в иную реальность, не менее загадочную, чем зазеркалье. Повесть Л. Улицкой тесно связана с контекстом произведений о судьбе третьей волны российских эмигрантов в Америке, но, продолжая темы «Иностранки» и «Филиала» Сергея Довлатова, писательница не повторяет своего предшественника. Повесть скорее представляет собою художественное воплощение документально достоверного публицистического повествования Петра Вайля и Александра Гениса «Потерянный рай».

О замысле повести писательница рассказала в интервью, напечатанном в конце 1998 г. в газете «Книжный клуб». Первые отклики критики на повесть оказались недоброжелательными.

Улицкая изображает *исчезающую* натуру — уникальный жизненный опыт персонажей «Веселых похорон», эмигрантов третьей волны, который в наши дни осознается совершенно иначе, чем во времена Довлатова, и вызывает особый интерес потому, что люди той волны двадцать лет назад пережили болезненное перемещение из социализма в капитализм. Сегодня в такой ситуации оказались жители России. Они далеко не всегда способны понять то, что уже выстрадано горьким опытом эмигрантов: невозможно войти в новую реальность, не изменив самих себя.

Писательница верно улавливает одну из спасительных и непостижимых особенностей психологии эмигрантов — способность не замечать драматизма тех абсурдных ситуаций, в которых им случается себя обнаружить. Отсутствие жилья и средств к существованию, необходимость самыми фантастическими способами зарабатывать на пропитание воспринимается героями повести как нечто вполне естественное. Улицкая показывает, что абстрагироваться от происходящего помогает человеку инстинкт самосохранения.

Повесть «Веселые похороны» — удивительно густонаселенное произведение, где смоделированы все, казалось бы, возможные варианты эмигрантских судеб.

Персонажи повести — «люди, родившиеся в России, различные по дарованию, по образованию, просто по человеческим качествам, сходились в одной точке: все они так или иначе покинули Россию... все они одинаково нуждались в одном — в доказательстве правильности того поступка». Как заметила В. Петрова в рецензии на повесть: «Вся эта компания чем-то напоминает театральную труппу: будто сыгранные спектакли, их связывают прошлые браки, совместная учеба, любовные истории».

Героев повести тревожит загадка странной, не проходящей любви к стране, которую пришлось покинуть. Со временем они все яснее осознают, что Родина продолжает жить в их душах и расстаться с нею нельзя.

Мироощущение людей, лишенных почвы под ногами, передает образ *нежилого помещения*, где происходит действие повести. Вход в бывший склад, приспособленный под мастерскую художника, — за неимением дверей прямо из лифта — создает впечатление, что находящиеся здесь люди подвешены в пространстве.

Главный герой повести — талантливый художник, личность незаурядная. Как это ни парадоксально, именно интеллигентская рефлексия всеобщего любимца рыжего Алика помогает ему освоиться в Нью-Йорке. Его вживание в американскую реальность объясняется удивительно и просто: «В Манхэттене он жил как на Трубой, как на Лиговке... Америка явственно отвечала приязнью на его восхищение».

Судьба его жены — прямо противоположный пример предельной неспособности человека адаптироваться к чужой стране. Совершенно иррациональны ее намерения, не зная английского, изучать французский, неумение отказаться от привычки к богемному образу жизни, полная беспомощность.

В повести рассказана история смерти художника от неизлечимой болезни. «Эта смерть... собирает вокруг себя всех людей, которых он когда-то любил... Человеческая природа главного героя настолько оптимистична, что смерть в его исполнении становится событием не страшным», — пишет В. Петрова. По мысли критика, суть повести — в изображении «искусства талантливой смерти, ничего не оставляющей небытию», в способности человека без остатка раствориться в близких и друзьях.

Смерть героя становится многозначным символом.

Умиравший Алик втайне от всех записывает на пленку обращение к друзьям. Зазвучавший на поминках голос умершего завещает ценить жизнь и радоваться ей.

Трагизм финала словно бы приглушен известием о том, что картинам Алика предстоит долгая жизнь в музее. Наследство художника остается людям.

Символично и то, что Алик обретает наследницу своего духовного опыта. Пятнадцатилетняя Майка — дочь бывшей цирковой акробатки Ирины, ставшей в Америке дорогим адвокатом, страдает странным расстройством психики: отказывается контактировать со взрослыми. Благодаря редкому таланту искреннего интереса к людям Алику удалось мгновенно подружиться с Майкой и тем самым избавить ее от болезни. Возникшее между ними взаимопонимание вселяет надежду, что духовные ценности российской эмиграции будут восприняты и оценены поколением ее детей,

что будет преодолен конфликт «отцов и детей», приобретающий в эмиграции трагическую остроту. Дети гораздо быстрее взрослых приспосабливаются к новой среде, и чем лучше они осваиваются, тем неизбежнее и глубже их разобщение с родителями. Дети эмигрантов перестают быть эмигрантами, они становятся американцами. Так завершается драматичный процесс растворения в Америке российской эмиграции третьей волны, означающий ее «исчезновение».

Мотив отъезда в эмиграцию присутствует и в картине мира, возникающей в книге Марины Вишневецкой «Вышел месяц из тумана». Герой рассказа «Брысь, крокодил!» — мальчик Сережа — знает, что вскоре уедет в Америку близкий знакомый его матери «дядя Боря». О нем мальчику известно, что он, в отличие от папы, умеет зарабатывать и обеспечивать свою семью. Исчезновение «дяди Бори» означает для мальчика надежду избежать развода родителей.

Мотив утраты самого близкого и дорогого человека — чаще всего матери, — потеря которого лишает опоры в жизни, пронизывает всю книгу Вишневецкой. Страх утраты — расплата за совершенный или воображаемый низкий поступок, обратная сторона устойчивого комплекса вины. Потребность раскрыть причины этих страхов объясняет интерес автора к экзистенциальным проблемам, обозначенным в открывающей книгу лирико-философской новелле. «Своими словами» пересказаны вторая и третья главы ветхозаветной Книги Бытия о пребывании первого человека в Раю, о его прямом диалоге с Богом, об интензивности его постоянного переживания присутствия Бога во всем, что его окружает: зверях, птицах, деревьях, об ощущении единства с миром и Богом. И о том, как была нарушена райская безмятежность его существования, расколот цельный мир в момент, когда из ребра мужчины Бог создал женщину. Раздвоение единого человека повлекло за собой искушение, ревность, страх утраты былого контакта с Богом, чувство вины за нарушение Божьего запрета.

В новелле Вишневецкой женщина смущает человека вечной загадкой: та ли она, что создана из его ребра, из его плоти. Она прельщает едой, утоляя голод человека, она меняет его отношения с Богом, оставляя возможность находить в близости с нею лишь краткие мгновения былой безмятежности. В этом, по словам Андрея Немзера, «чрезвычайно рискованном тексте, к которому трудно подобрать жанровое определение», спрятан «ключ к поэтической прозе Вишневецкой», в нем раскрывается «ущербность земного повествования, агрессия похоти, томительный холод бесплотности, марево самообмана...»

Рассказ «Брысь, крокодил!» развивает мотивы, намеченные в первой новелле книги. Здесь переданы напряженные переживания мальчика с «впечатлительной, талантливой душой», открывающего мир и самого себя.

Сережа запечатлен в том возрасте, когда в мальчике пробуждается мужское начало. Он постигает сложность отношений мужчины и женщины, наблюдая постоянные конфликты родителей: мама мучает папу, встречается с дядей Борей, обещает покончить с этими отношениями, но не может; учительница оговаривается, что у мальчика «пока» есть отец, обостряя в его сознании мысль о возможности в любой момент лишиться отца.

Мальчику открывается ненадежность и непостоянство женщины. Столкновение с женским началом разрушает безмятежность детского существования. Он вызывает женский интерес: девочка Вика из Полтавы требует от него клятвы в вечной любви, смущающая своей женственностью соседка Диана замечает, что он — «чудо», которое растет на женскую «погибель». Сережа, испытывая новые чувства и ощущения, видит в них проявления собственной низости.

Мальчик живет в атмосфере страха и вины: в школе его обвиняют за призывы к войне, он переживает из-за ненаписанного сочинения. Он страдает, ожидая наказания, мучается, что папа будет им недоволен, и мысленно готов перевоплотиться в дворового дурачка, с которого ничего спросить.

И все же когда оставленный под присмотром Сережи соседский малыш плачет, испугавшись, что солнце «проглотил» Крокодил, а в наступившей темноте потеряется мама, Сереже удается успокоить ребенка, прогнать все его страхи.

Воспроизведение душевных состояний героев — сильная сторона писательского дара Вишневецкой. Героя повести «Вышел месяц из тумана» всю жизнь мучает вина за проступок юности. «...Умник, мазохистски ищущий возмездия за юношеский самообман, замешанный на любви и обернувшийся преступлением», — пишет о нем А. Немзер. Но чувство вины выдает в нем интеллигента, ибо сегодня: «интеллигенция одна заявляет о своей вине — там, где вина есть, и даже там, где ее нет. Интеллигенция переживает и переосмысливает свою вину» (Андрей Дмитриев). В финале герой повести уничтожает свои записные книжки, принося их в жертву тем роковым силам, которые могут наказать, отняв самое дорогое — сына.

К сожалению, писательница не избалована пониманием. Рассказ «Воробьиные утра» (Знамя, № 5), повесть «Есть ли кофе после смерти?» (Знамя, 1998, № 10), не вошедшие в книгу «Вышел месяц из тумана», торопливая критика восприняла как «чернуху». Poleмика, разразившаяся после публикации этих вещей, напоминает споры о прозе Бабеля, поражающей контрастным сочетанием физиологизма и яркой поэтичности. Автор понимает, что «грязь, грех и боль не властны поглотить живую душу» (Андрей Немзер), но не выставляет всего понимания напоказ, заставляя читателя самого доискиваться сути.

Рецензия Т. Кравченко на повесть «Есть ли кофе после смерти?» удивляет пренебрежением, с которым повесть отнесена к текстам «вроде жевательной резинки». Оскорбительный тон подобной критики напоминает о тех рецензиях, которые собирал и клеивал в свой альбом в конце 20-х годов М. Булгаков. Ученическая незрелость критика, пытающегося применить к повести Вишневецкой методики полузабытых студенческих семинаров, сочетаемая с предвзятостью оценок, вызывает тот же вопрос, который поставлен в рецензии: зачем писать о творчестве писателя, который так несимпатичен?

Романы, повести, рассказы Людмилы Улицкой, Андрея Дмитриева, Ольги Славниковой, Марины Вишневецкой воспринимаются как воссоздающий целостную картину современности метатекст, где «...сюжеты схожи, мотивы переплетаются, коллизии повторяются... Писателям свойственно бить в одну точку, так и сяк пробовать один, зато волнующий мотив...» (диалог Елены Михайловой и Андрея Дмитриева).

В современной прозе настойчиво повторяются вариации мотива утраченного (как в новелле М. Вишневецкой «Своими словами») или возвращенного рая (как в повести Улицкой «Веселые похороны», где, по словам В. Петровой, любовь человека к окружающим творит чудо: «...женщины вокруг умирающего ходят почти обнаженными, будто в раю... нечто райское чудится в том, как примиряются между собою жены и любовницы»). Фантастическое перемещение в рай напоминает история, случившаяся с В. В., попавшим на крайний север в коте красавицы из племени саамов. Попытку создания спасительного Ноева ковчега напоминает мечта Ионы о доме-барже.

Но как трудно разглядеть черты утраченного рая в современности! Сегодняшняя российская реальность воспринимается героями-интеллигентами как пространство, мало пригодное для жизни. Они чувствуют, что меняющийся мир остается для них непроницаемым «зазеркальем», и (как во времена Блока, Булгакова и Пастернака) больше всего беспокоятся за возможность реализовать свои творческие замыслы. Поскольку на родной почве духовные ценности нередко умирают, не родившись, герои попадают в эмиграцию, где порой обнаруживают способность вжиться в чужую среду. Но — на родине ли или на чужбине — они обречены на исчезновение: в первом случае потому, что не могут приспособиться к новым условиям в собственной стране, а во втором — потому, что превращаются в иностранцев.

Сигнализируя об опасности исчезновения интеллигенции в России, проза конца 90-х стремится напомнить: «Интеллигенция — это лучшее, что у нас есть. Она вовсе не прекрасна, но — даже будучи скверной — она лучшее, что у нас есть» (Андрей Дмитриев).



Письма А. В. Дружинина к В. П. Боткину

В первом номере журнала «Голос минувшего» за 1922 г. редактор журнала С. Мельгунов сообщал: «В распоряжение редакции журнала и книгоиздательства «Задруга» поступил довольно значительный литературный архив В. П. Боткина, заключающий в себе письма за 50-е — 60-е годы виднейших представителей русской литературы. Достаточно назвать имена Грановского, Огарева, Бакунина, Тургенева, Гончарова, Фета, Каткова, Краевского и других, чтобы судить о ценности нового литературного приобретения» («Голос минувшего», 1922, № 1, с. 129).

На страницах журнала стали появляться публикации вновь поступивших материалов, но в 1923 г. журнал перестал существовать, материалы архива В. П. Боткина вернулись к их владельцу В. Д. Левенштейну.

В 1926 г. Виктор Дмитриевич Левенштейн предложил Толстовскому музею купить у него архив В. П. Боткина. Архив перешел к нему от его дяди В. А. Крылова, драматурга, бывшего секретарем Василия Петровича Боткина в последние годы его жизни.

С 1926 г. фонд В. П. Боткина хранится в Государственном музее Л. Н. Толстого.

К тем именам, которые называет С. Мельгунов, можно добавить имена других корреспондентов В. П. Боткина: Д. В. Григоровича, А. К. Толстого, Ф. И. Тютчева, Н. А. Некрасова, П. В. Анненкова, Ап. А. Григорьева, И. И. Панаева, а также А. В. Дружинина.

Письма адресованы одному лицу — Василию Петровичу Боткину (1811—1869).

Он был связан дружескими и творческими отношениями со всеми известными русскими писателями, критиками, издателями и многими учеными и общественными деятелями 40—60-х годов XIX века.

Человек безупречного художественного вкуса, остроумный собеседник, знаток живописи и музыки, архитектуры и литературы — таким был сын известного московского чаепроговца Петра Кононовича Боткина, один из его двадцати пяти детей, среди которых были и врач Сергей Петрович, и коллекционер Дмитрий Петрович, и академик живописи Михаил Петрович.

В. П. Боткин был ближайшим другом Белинского и Станкевича, советчиком Тургенева, наставником молодого Льва Толстого, к его мнению прислушивались Гончаров, Островский, Некрасов. Он сотрудничал в «Телескопе», «Молве», «Московском наблюдателе», «Отечественных записках» и «Современнике».

В 1999 г. исполнилось 175 лет со дня рождения Александра Васильевича Дружинина (1824—1864).

Прозаик, драматург, критик, фельетонист, переводчик, мемуарист, редактор журнала «Библиотека для чтения», Дружинин занимал видное место в литературно-общественной жизни России середины прошлого века.

В фонде В. П. Боткина хранится двадцать восемь писем Дружинина за период с 1853-го по 1862 г.

Те восемь писем, о которых пойдет дальше речь, не публиковались, за исключением большого отрывка из письма Дружинина Боткину от 4 марта 1858 г., в котором Дружинин, узнав о прекращении «обязательного соглашения» «Современника» с четырьмя писателями*, излагает Боткину свой план создания нового «чисто литературного журнала» (см.: Л. Н. Толстой. Переписка с русскими писателями. В 2-х тт. М., 1978. Т. 1, с. 274).

Большая часть публикуемых писем относится к 1857—1858 гг., когда Черны-

* Речь идет о соглашении, заключенном с редакцией журнала «Современник», по которому Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев, А. Н. Островский и Д. В. Григорович были обязаны, начиная с 1857 г., в течение четырех лет сотрудничать исключительно в этом журнале и участвовать в распределении прибыли. Соглашение не дало практических результатов и в феврале 1858 г. было с обоюдного согласия расторгнуто.

шевский, по его же словам, вытеснил Дружинина из «Современника» и Дружинин дал согласие стать редактором «Библиотеки для чтения».

Надо заметить, что сам Чернышевский откликнулся на это известие весьма корректно: в «Заметках о журналах» («Современник», 1856, № 11) он дал высокую оценку десятилетнему участию Дружинина в «Современнике» и приветствовал издание нового журнала.

Уход А. В. Дружинина из «Современника», укрепление позиций Н. Г. Чернышевского были событиями простыми и произошли, конечно, не сразу.

Как только участники «Современника», из числа тех, кто активно сотрудничал в журнале до Н. Г. Чернышевского, узнали, что А. В. Дружинин в апреле 1856 г. стал фактическим руководителем другого журнала, они стали искать ему замену, чтобы «нейтрализовать» Чернышевского. Самым активным оказался В. П. Боткин. Он повел переговоры с Некрасовым о замене Чернышевского Аполлоном Григорьевым, критиком славянофильского направления. «Он готов взять на себя всю критику «Современника», но с тем, чтобы Чернышевский уже не участвовал в ней», — пишет В. П. Боткин Н. А. Некрасову 19 апреля 1856 г. и со свойственной ему осторожностью добавляет: «Положим, Григорьев несравненно талантливее Чернышевского, но последний несравненно дельнее» (Переписка Н. А. Некрасова. В двух томах. М., 1987. Т. 1, с. 226).

Узнав об этих переговорах с Некрасовым, Аполлон Григорьев решает написать Боткину письмо с изложением своей позиции относительно вступления в «Современник» в качестве ведущего критика. В письме от конца апреля 1856 г. он очень искренно, просто и ясно изложил свою позицию критика, но из этого письма также ясно видна и позиция Григорьева — человека: «Я не покупаем, — пишет он, — убеждения мои — жизнь моя, что жизнь и душу приношу я в журнал, а не равнодушные статьи!» (Аполлон Григорьев. Письма. М., «Наука», 1999, с. 112). Суть расхождений теперешнего критика журнала со взглядами писателей он понимает так: «В людей, составляющих теперь редакцию «Современника», — пишет Григорьев 26 апреля 1856 г. Боткину, — т. е. в Некрасова, Панаева, Вас, Анненкова, Островского, Тургенева, Дружинина, Толстого — я верю; в журнал — покамест еще не верю...» И дальше: «Что же это будет за кавардак, в котором Анненков и я будем веровать в искусство, а г. Чернышевский ругаться над ним, т. е. проводить милье мысли своей диссертации о том, что искусство такое же ремесло, как сапожное мастерство; в котором Дружинин и я будем ценить литературных деятелей по степени серьезности их задач и таланта, а г. Чернышевский по степени их ярости и задора?» (Аполлон Григорьев. Письма, с. 107).

Письма Ап. Григорьева, очевидно, несколько смутили В. П. Боткина своей прямотой и принципиальностью, вряд ли он передал их Некрасову, как о том просил Григорьев, во всяком случае, предложение Ап. Григорьева не было принято, и он продолжал печатать в «Современнике» свои поэтические переводы, а не критические статьи.

Активное сотрудничество Чернышевского с «Современником», отклики Дружинина в «Библиотеке для чтения» на все важные события современной литературной жизни приводили к их постоянной полемике. И все же существовал какой-то внутренний нравственный закон, по которому жили писатели 50-х годов XIX века. Они спорили, но и дружили, и печатали произведения своих «врагов», и помогали, и поддерживали друг друга. Они по-разному истолковывали произведения, но они почти никогда не ошибались в оценке их подлинности, чутко угадывая настоящие таланты.

Это в полной мере относится к истории вступления в литературу молодого Толстого.

Некрасов и Дружинин, Тургенев и Чернышевский, Ап. Григорьев и Панаев дели в Толстом большое литературное явление и не сомневались в его будущем. Вот что писал Дружинин в 1856 г.: «Человек, написавший «Детство» и «Отрочество», совмещал в себе разные стороны таланта, для разработки которых всей жизни его будет достаточно. Обладая в одно время и поэтическим инстинктом, и твердым взглядом на жизнь, и даром могучего анализа, и самобытной силой фантазии, наш автор будет постоянно дарить своих читателей творениями самого многостороннего значения, творениями, из которых, как мы надеемся, каждое будет представлять собою новую ступень полного обладания своим завидным талантом» (А. В. Дружинин. Прекрасное и вечное. М., 1988, с. 164—165).

Как же Толстой относился к журнальной борьбе тех лет (больше он никогда не будет так близок к литературным кругам, как в середине 1850-х гг.)?

Находясь, кажется, в самом центре литературно-общественной жизни Москвы и Петербурга, Толстой не мог не иметь своего отношения ко всему происходящему.

И хотя Толстой оставался во многом «над схваткой», он по-своему оценивал происходящее в редакции «Современника» и «Библиотеки для чтения». В письме к Н. А. Некрасову от 2 июля 1856 г. Толстой писал: «Нет, вы сделали великую ошибку, что упустили Дружинина из вашего союза. Тогда бы можно было надеяться на критику в «Современнике», а теперь срам с этим клоповоняющим господином <...> У нас не только в критике, но в литературе, даже просто в обществе, утвердилось мнение, что быть *возмущенным, желчным, злым* очень мило. А я нахожу, что очень скверно. Гоголя любят больше Пушкина. Критика Белинского верх совершенства, ваши стихи любимы из всех теперешних поэтов». Желая быть справедливым, Толстой пишет, что «последние стихи» Некрасова ему нравятся, потому что «в них грусть, то есть любовь» (Л. Н. Толстой. Переписка... Т. 1, с. 79—80).

Некрасов, который относился к Толстому с трепетной нежностью и верил (с первых дней знакомства) в его большое будущее, очень миролюбиво возражал ему, защищая Чернышевского (письмо от 22 июля 1856 г.): «Особенно мне досадно, что Вы так браните Чернышевского. Нельзя, чтоб все люди были созданы на нашу колодку... Не надо также забывать, что он был молод, моложе всех нас, кроме Вас разве...», но дальше уже серьезно и очень строго, как учитель ученику: «Вы говорите, что отношения к действительности должны быть здоровые, но забываете, что здоровые отношения могут быть только к здоровой действительности <...> Когда мы начнем больше злиться,— заканчивает Некрасов свое письмо,— тогда будет лучше,— то есть больше будем любить,— любить не себя, а свою родину» (Л. Н. Толстой. Переписка... Т. 1, с. 83). Но все-таки в этот период Дружинин ближе Толстому, чем Чернышевский и через два года, когда «обязательное соглашение» четырех писателей с «Современником» было расторгнуто, у Толстого и Дружинина почти одновременно возник план создания нового журнала в противовес «Современнику». Толстой увлеченно сообщает об этом в письме к В. П. Боткину 4 января 1858 г. «Все, что является и явится чисто художественного, должно быть притянуто в этот журнал. <...> Цель журнала одна: художественное наслаждение, плакать и смеяться. Журнал ничего не доказывает, ничего не знает. Одно его мерило — образованный вкус» (Л. Н. Толстой. Переписка... Т. 1, с. 236). Толстой уверенно называет тех, кто вместе с ним будет спасать вечное искусство. «Тургенев, вы, Фет, я и все, кто разделяют и будут разделять наши убеждения» (там же). Замысел Толстого никто не поддержал: «Да неужели вы с Толстым не шутя затеваете журнал? — писал В. П. Боткин А. А. Фету 6 февраля 1858 г. — Я не советую» (Л. Н. Толстой. Переписка... Т. 1, с. 238). Вслед за Толстым эту же идею развивает Дружинин. Не надеясь привлечь лучшие литературные силы в «Библиотеку для чтения», Дружинин задумал создать «...чисто литературный журнал с критикою, энергически противодействующей всем теперешним неистовствам и безобразию», — как писал он Толстому 15 апреля 1858 г., спрашивая его совета (Л. Н. Толстой. Переписка... Т. 1, с. 272). В данном случае осторожность в оценке замысла проявил Толстой. Отвечая Дружинину письмом от 1 мая 1858 г., он сначала написал, что еще «не подумал хорошенько», но потом все-таки возразил Дружинину, сводя на нет замысел нового журнала. Толстой ко времени получения письма Дружинина совершенно отказался и от издания журнала, и от исключительного участия в каком-либо одном журнале. О чем он и написал Дружинину, пообещав «...предпочитать «Библиотеку»... всем другим редакторам. <...> Я совершенно свободен и ничем не свяжу себя впредь, это несомненно», — закончил Толстой свое письмо к Дружинину (Л. Н. Толстой. Переписка... Т. 1, с. 275). Этому принципу Толстой остался верен.

Период дружбы Толстого с кругом «Современника» завершился. Ни Некрасову, ни Дружинину не удалось задержать Толстого в своем кругу, и он признавался в письме к брату Сергею Николаевичу (в январе 1857 г.): «Хотя я душевно люблю этих литературных друзей: Боткина, Анненкова и Дружинина, но все умные разговоры уже становятся скучны мне, хотя и были истинно полезны для меня» (Л. Н. Толстой. Собрание сочинений в 90 томах. Т. 60, с. 147). Толстой не послушался совета Тургенева и Дружинина и не сделался литератором, а вскоре на несколько лет совсем отошел от литературы, но влияние и Дружинина, и Боткина на молодого Толстого было несомненно.

В этот сложный для Дружинина период он искал поддержки у самых верных друзей; Боткин был среди них.

«Дружинин завтра уезжает в Петербург,— писал Боткин Тургеневу 14 июня 1855 г.— Я искренно полюбил его и провожаю с сожалением. Он редкий товарищ и отличный человек» (В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка. С. 52).

С энергией и старанием приступил Дружинин к своим обязанностям в качестве редактора «Библиотеки для чтения». Он выступает с разбором новинок отечествен-

ной литературы, пишет о произведениях Гончарова, Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Островского, Льва Толстого, Фета. На статьи Чернышевского «Очерки гоголевского периода в русской литературе» («Современник», 1855, № 12; 1856, №№ 1, 2, 4, 7, 9—12) Дружинин отвечает статьей «Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения» («Библиотека для чтения», 1856, №№ 11, 12), направленной против идей Чернышевского в защиту «чистого искусства». Спор о назначении искусства, о Пушкине и Гоголе продолжался и в других статьях Дружинина.

Журнал так и не стал, как хотел этого Дружинин, центром «изящной словесности» и не был так популярен, как «Современник» и набирающий силу «Русский вестник».

1860 год был последним годом издания «Библиотеки для чтения». Дружинин постепенно отходит от журналистики, но сама действительность, события, связанные с отменой крепостного права в России, заставляют его иначе посмотреть на многое. Не случайно его признание в письме к В. П. Боткину от 16 октября 1861 г., что до последнего времени литераторы мало знали свой край и о «...жителях Таити имели сведения более точные. Теперь сама жизнь и реформа выбила нас из праздности и мира пустых умозрений, нельзя без смеха припоминать о том, что говорилось и писалось нами недавно» (настоящая публикация, письмо № 8).

Когда-то Тургенев, критикуя в письме к Боткину взгляды Дружинина на поэзию Пушкина, писал: «Бывают эпохи, где литература не может быть *только* художеством, — а есть интересы, высшие поэтических интересов» (письмо от 17 июня 1855 г. И. С. Тургенев. Собрание сочинений в 12 тт. М., 1958. Т. 12, с. 179). Может быть, теперь Дружинин согласился бы с Тургеневым...

Еще в 1857 г. Некрасов спрашивал Толстого: «Отчего это время не сблизило нас, а как будто развело далее друг от друга?» (письмо от 31 марта / 12 апреля. Л. Н. Толстой. Переписка... т. 1, с. 86).

Этот вопрос звучал для русских писателей не только традиционно, но и драматично. «Время развело» всех тех, кто составлял эпоху «Современника», у каждого был свой путь. Но отношение к А. В. Дружинину оставалось неизменным и как к литератору, и как к основателю знаменитого Литературного фонда, спасшего не одну писательскую судьбу.

«Это был характер прямой и серьезный, — писал Некрасов о Дружинине. — Несмотря на видимую мягкость свою и отвращение от крайностей, это был человек самый крайний там, где того требовали обстоятельства. У него не было отношения натянутых или двусмысленных <...> Дружинина искренно любили и уважали» (Н. А. Некрасов. Собрание сочинений в 12 тт. М., 1950. Т. IX, с. 430—431).

1

5 апреля 1857 г. Санкт-Петербург

Уведомляю Вас, любезный друг, что паспорт я уже взял, книжку выпустил¹, деньги собрал и теперь ничто меня не держит в Петербурге. В среду или четверг на Святой рассчитываю выехать, а так как все мои дела в Москве (визирование паспорта и чрево кита²) требуют одного дня, а много двух, то сделайте все приготовления для выезда к 15 или, пожалуй, к 14³.

Кланяйтесь Фету и скажите ему, что он *ядрило* (его любимое слово). Если б он издавал журнал (вообразите себе журнал Фета!!) я бы не поспал ночи и дал бы ему статью, — а он все свои стихи и статьи валил в «Современник»! Я мог нуждаться в материале, могло случиться на первую пору решительное отсутствие статей, — хорошо он сделал мне подделку! Я еще его отдую суком извилистым по толстой заднице!

Перед отъездом я приобретаю роман Ермила⁴, 10 листов путешествий от Кова-

¹ С ноября 1856 г. по 1860 г. А. В. Дружинин был редактором ежемесячного журнала «Библиотека для чтения», выходившего в Петербурге.

² Карета, удобная для дальних переездов.

³ Точная дата отъезда А. В. Дружинина и В. П. Боткина из Москвы не известна. Около 21—23 апреля они были в Варшаве, с конца апреля до 11 мая — в Вене. Далее переехали в Италию и побывали в Венеции, Падуе, Болонье, Флоренции. Оттуда через Геную и Турин проехали в Швейцарию — в Женеву, Кларан, Экс. В Эксе Боткин остался лечиться, а Дружинин уехал в Париж (через Лион).

⁴ Ермил — прозвище писателя Алексея Феофилактовича Писемского (1821—1881). Вероятно, речь идет о его романе «Боярщина», опубликованном в «Библиотеке для чтения» (1858, №№ 1, 2).

левского⁵, повесть Потехина⁶ и комедию Салтыкова⁷, которая весьма недурна и уже пропущена цензурой. Теперь весь год и начало будущего обеспечены.

Прочитайте в «Современнике» разбор книги Писемского, направленный против моей статьи⁸. Эти самые идеи, высказанные откровенно и просто, могли бы составить статью с направлением, разъяснить кое-что мной недосказанное и придать запаху журналу. Теперь от циркуляционных⁹ оборотов и разных *géticences*¹⁰ она имеет вид скандальный и заставит говорить в публике, что наши журналы поссорились. Вдолбите Панаеву в голову, что я желаю противоречий, опровержений, что эстетического унисона от «Совр<еменника>» и «Библ<иотеки>» никто и не ждет, но чтобы тон статей был прямой и достойный наших изданий. Если я это ему скажу, он не поверит или сконфузится.

Прощайте же, до скорого свидания.

А. Дружинин

Панаев пришел в смертный ужас, узнавши, что Григорович еще в Москве. И сам я изумился!

2

25 июня 1857 г. Париж

Что сказать Вам о Париже, милый друг Василий Петрович? Я остановился в «Hôtel du Louvre», записался в посольстве, получил благополучные письма из России, стало быть, около 15-го июля нашего стиля мы свидимся. К удовольствию моему, я нашел Париж гораздо прекраснее, чем думал, — я его воображал чем-то раззолоченным, богатым, но грязноватым, а главное, совершенно лишенным стиля. Однако оно не так — его великолепие разумно и изящно, он действительно похож на Вавилон, и если б ему придать горы и природу Италии, никакое воображение ничего бы не создало подобного. Разврат дышит из каждого магазина, всюду изображения голых женщин, но ни нахальства, ни гнусной стороны разврата не видно.

Я прожил в Лионе два дня с удовольствием. Rue Impériale и ее история — удивительны. Решительно Франция задыхается от богатства, — и с этим народом мы, голяки, захотели воевать! Насчет цивилизации нравов я до сих пор расхожусь с Вами — народ действительно добр и готов на мелкие любезности, но все, что выше народа, особенно пожилые господа с брюшками, которых я видел на дороге в своем вагоне, весьма неучтивы и грубоваты. Чиновничьих и военных ядрил чуть ли не больше, чем в нашем любимом отечестве.

Все наши из Парижа разъехались, — я видел лишь молодого Лихачева¹¹, проф<ессора> Благовещенского¹² и вашего брата Н. П.¹³ Сегодня мы предаемся разврату. Некогда писать, — иду в Лувр и на выставку совр<еменных> картин.

Андрей¹⁴ все время жил в Париже и теперь его нет, кажется, он в Лондоне. Если поездка в Италию была для меня прелестна, видеть Францию мне было полезно очень. На тысячи вопросов здесь глаза дают лучший ответ, чем все книги, которые я читал.

О многом бы хотелось побеседовать.

Прощайте, милый друг.

Весь ваш А. Дружинин

⁵ Ковалевский Егор Петрович (1809 или 1811—1868), писатель и путешественник, участник обороны Севастополя в войне 1854—1855 гг. Его записки «Встреча с Н. Н. Из воспоминаний странствователя по суше и морям» опубликованы в «Библиотеке для чтения» (1859, № 12).

⁶ Потехин Алексей Антипович (1829—1908), писатель. Его повесть «Барыня. Сельская идиллия» опубликована в «Библиотеке для чтения» (1859, № 10).

⁷ Салтыков Михаил Евграфович (псевд. Н. Щедрин; 1826—1889). В «Библиотеке для чтения» были опубликованы пьесы «Простители» (1857, № 5) и «Губернские честолюбцы» (1858, № 1). Вероятно, об одной из них упоминается в письме.

⁸ Рецензия А. В. Дружинина на «Очерки из крестьянского быта» А. Ф. Писемского (СПб., 1856) опубликована в «Библиотеке для чтения» (1857, № 1). В «Современнике» (1857, № 4) опубликована статья Н. Г. Чернышевского под тем же заглавием.

⁹ От франц. *circonvolution* — вращение вокруг.

¹⁰ намеренное умолчание, недоговаривание (*франц.*).

¹¹ Вероятно, Лихачев Владимир Иванович (1837—1906), юрист, близкий знакомый Салтыкова-Щедрина.

¹² Благовещенский Николай Михайлович (1821—1892), профессор римской словесности С.-Петербургского университета и Педагогического института.

¹³ Боткин Николай Петрович (1813—1869), брат В. П. Боткина, путешественник.

¹⁴ Краевский Андрей Александрович (1810—1889), публицист, издатель и редактор журнала «Отечественные записки» с 1839-го по 1867 г.

1 июля 1857 г. Париж

Милейший друг, я недаром ощущал недоверие к парижскому чиновничеству — сейчас на почте мне очень нелюбезно отказали в выдаче писем на Ваше имя и объяснили, что Вы сами должны писать на имя директора почт. Должно быть, у них произошло что-нибудь по почтовой части, потому что я, получая мои письма несколько раз, все-таки не смею явиться в почтамт без паспорта или кредитного письма, боясь сурового приема. Письмо Ваше меня весьма утешило, хотя Вы позабыли сказать о главном, т. е. о результате действия вод, насколько он оказался. Напишите мне также, когда думаете Вы быть в Париже — срок моей поездки истекает¹⁵, а между тем сам Париж, невзирая на весь вихрь, в котором я нахожусь (ни разу даже не подумал о сне после обеда!!!), дает мне не очень много. Причина тому — добрая, но не очень одаренная компания господ, в которой я нахожусь. Из них одни хотят лишь веселия, другие — зубрить какой-либо один предмет, в широком же артистическом изучении и наслаждениях, с ним сообразных, никто не ощущает потребности. Genre¹⁶, шансонье по улицам, подсматривание и выяснение многих вещей, меня интересующих, — все это им тяжело, даже и поразвратничать вполне они как-то боятся. Вдвоём с хорошим спутником, или в одиночку даже, Париж дал бы мне более. Что теперь скажу Вам о Париже? Венера Милосская прежде всего — к ней я бегаю как на любовное свидание, а она находится от меня в двух шагах. Сегодня толкнулся я к ней, и меня не пустили: Лувр заперт по понедельникам. Что за победоносная прелесть и гордая милость лица, что за осанка, что за взгляд, что за гиб рта, что за грудь! Вполне понимаю англичанина, переночевавшего с какой-то мраморной статуей; кинуться на этот мрамор и целовать его с неистовством — было бы дикое, но большое наслаждение. В Лувре хороши комнаты две (может быть, по причине переделок иных я не видал). Рафаэль не ниже Флорентийских, т. е. выше всего на свете (я разумею двух мадонн, разных по стилю). Корреджио меня не тронул, остальные итальянцы бледны после того, что мы с вами недавно видели. Паоло¹⁷ (как говорил Замбони) выцвел, но все еще прекрасен. К французской школе, старой, за малыми исключениями я довольно холоден, а Прудон, Гро, Жерико и Давид показались мне гнусными канальями. Не скрываю, что и Грёз порядочно приторен, для меня выше Ванло¹⁸ и Буше, в которых с силою отразился век, так для меня милый. Были мы во множестве заведений <...>. Взглянув на сей предмет беспристрастно, я должен сказать, что в Париже женщины хороши; хорошо сложены, веселы и приятны. Жалею, что вихрь и толпа, в которой я нахожусь, не позволяют мне пошататься по улицам за девочками, живущими в одиночку, узнать их нравы и прочее. Приходится довольствоваться заведениями. В одном доме я свел дружбу с некоей девицей чрезвычайно хорошенькой и свежей, ее я Вам представлю, если мы здесь увидимся. Был в нескольких магазинах древностей — бûлевские¹⁹ вещи дешевые и доставка их удобна. Куплю из них кое-что, магазины же с современными изделиями меня мало поражают, огромное большинство их наполнено вещами дешевыми и кидающимися в глаза, но грубыми; чтобы купить, положим, сигарочницу порядочную и годную для подарка, надо побывать в двадцати лавках, а когда выберешь то, что кажется хорошим, окажется, что и плата за такую вещь не худая. «Hôtel du Louvre» очень величествен и хотя в нем номер, но довольно сносно. Дом только высок, и я думаю, что комнаты в нижнем этаже стоят очень много. В нем, однако, все удобства, журналы, экипажи и стол весьма хороший. Я плачу за небольшую комнату в 3 этаже около 6 фр., а с service²⁰ и завтраком оно составит и 10. Весьма важна и любопытна была для меня социальная сторона здешней жизни, но невозможно ее подсмотреть, никогда не оставаясь в одиночку, катаясь по городу в коляске и не имея средств бродить по дальним улицам моею медленной походкой. Для Вас так странно, но для меня необходимо в наблюдательном отношении. Кажется мне, что Наполеон²¹ сидит крепчайшим образом и что толки о

¹⁵ А. В. Дружинин вернулся в Россию в начале августа 1857 г.

¹⁶ Genre de vie — образ жизни (франц.).

¹⁷ Паоло Учелло (1397—1475), итальянский живописец.

¹⁸ Ванло Жан-Батист и его два сына — Карл и Луи Мишель, художники, работавшие в XVIII веке во Франции и Италии. О ком из них идет речь, установить не удалось.

¹⁹ Речь идет о вещах, изготовленных крупнейшим мастером-мебельщиком Андре Шарлем Булем (1642—1732) или в мастерской Буля и его сыновей, работавших вместе с отцом.

²⁰ обслуживание (франц.).

²¹ Наполеон III (Луи Наполеон Бонапарт, 1808—1873), французский император в 1852—1870 гг. Племянник Наполеона I. Низложен Сентябрьской революцией 1870 г.

ненависти, им возбуждаемой, — великий вздор. Париж богатеет и меняется с каждым годом, народ имеет работы ужасно много, нигде не заметно со стороны войска, полиции и т. д. чего-нибудь грубого, раздражающего, вызывающего на драку и неудовольствие. Все веселятся, поют, шатаются по театрам (я видел одну пьесу, словно написанную Чернокнижниковым²² и славно разыгранную), парижане очень гордятся новыми постройками, зуавами и прочая. Я не слышал ни брани, ни похвал теперешнему порядку, а это признак успокоительный.

Перечел «Колокол» и 2-ю книжку «Полярной Звезды» — Герцен как будто делается скромней и разумнее; но у него есть какой-то сотрудник Р. Ч. (?)²³ — совершенная дубина, ничему не выучившаяся и толкующая о высоких предметах.

Толстой!.. но кто знает, где теперь Толстой? Когда мы расстались, он хотел быть и в Берне, и в Милане, и в Шамуни, и в Лондоне, и в Голландии, да к тому же увидеть меня в Париже²⁴. Некрасов уехал через Берлин в Россию с неизменной Евдокией²⁵. Тургенев удрал с ними до Берлина, чтоб советоваться с докторами. Никого из близких здесь нет и сведений иметь неоткуда.

Прощайте, милый друг, адресуйте просто в «Hôt. d. L.», здесь почтовая часть в отличном порядке, только не в «Hôtel des Portes», а в гостинице нашей.

Выздоровлявайте скорее.

Душевно предан

А. Дружинин

Майков²⁶ пишет ко мне, что подписка все еще идет (14 июня) и что все второе издание разойдется. Он приносит мне клятву в том, что все книжки до мая стократ лучше книжек «Современника» и «Отчественных» Зап<исок>». Гончаров уехал за границу и у меня опять Фрейгоки²⁷ — это меня может заставить уехать в Россию скорее.

4

10 сентября 1857 г. Санкт-Петербург

Добрый и любезнейший друг Василий Петрович, наконец узнал я, куда адресовать Вам письма и спешу дать Вам о себе весточку. Мы все здесь ничего не знали положительного о местопребывании и здоровье Вашем, так что я уже писал на этот счет в Москву к Дмитрию Петровичу²⁸.

Вернулся я в Россию, как предполагал, в начале августа и съездил недели на полторы к себе в деревню, где провел эти дни с превеликим удовольствием. Как я и ожидал, лето, исполненное наслаждений и новых впечатлений, обошлось мне не дешево. Журнал застал я в порядке, но что значит *порядок* при теперешней бешеной конкуренции, когда дремать не позволено? Ничего нового не было сказано, ничего умного не придумано, а между тем «Русский Вестник» шел вперед гигантскими шагами и другие даже журналы как-то подтянулись. Я застал великую бедность в

²² Чернокнижников Иван Александрович — псевдоним А. В. Дружинина. В настоящем письме, очевидно, речь идет о пьесе неустановленного автора, написанной в стиле чернокнижия, — рассказ о фривольном времяпрепровождении ее действующих лиц. О чернокнижии Дружинина и его кружка см.: Летописи. Кн. 9. М., 1948, с. 10—12; А. В. Дружинин. Повести. Дневник. С. 467, 473.

²³ Р. Ч. — так подписывал Н. П. Огарев некоторые свои статьи, опубликованные в газете «Колокол». Возможно, отзыв Дружинина относится к статье Огарева «Русские вопросы».

²⁴ В свое первое путешествие за границу Л. Н. Толстой отправился 29 января 1857 г. Во Францию (в Париж) он прибыл 9 февраля и 27 марта выехал в Швейцарию. 1 июня он отправился в Северную Италию и 3 июня в Турине встретился с В. П. Боткиным и А. В. Дружининым. 18 июня, расставшись с друзьями, он уехал в немецкую Швейцарию и далее в Германию, при этом посетил Берн, Люцерн, Баден-Баден, Франкфурт, Дрезден и из Штеттина отправился в Россию. 30 июля 1857 г. он был в Петербурге.

²⁵ Панаева Авдотья Яковлевна (во втором браке Головачева; 1820—1893), писательница (псевд. Н. Станицкий), в то время гражданская жена Н. А. Некрасова.

²⁶ Майков Владимир Николаевич (1826—1885), брат поэта Аполлона Майкова, издатель; помогал Дружинину в редактировании «Библиотеки для чтения».

²⁷ Вероятно, речь идет о А. И. Фрейганге (род. 1806 г.), сотруднике Петербургского цензурного комитета, известном своей свирепостью в отношении к авторам. В 1856 г. Фрейганг был отправлен на пенсию, а на его место поступил И. А. Гончаров.

²⁸ Боткин Дмитрий Петрович (1820—1889), брат В. П. Боткина. Коллекционер картин русских и западноевропейских художников. Председатель Московского общества любителей художеств.

ученом отделе и какое-то спокойное отдохновение на скудных лаврах по случаю увеличившейся подписки. По моему откровенному мнению, журнал за мое отсутствие был говно, и сентябрьская книжка говно. Убедясь в этом, я думал было рассердиться, да сердиться приходилось мне на самого себя: ни одного даровитого человека около меня нет, и я знал это, а все-таки уехал за границу. Нечего делать однако — Италия сто́ит нескольких огорчений, и, пожалуй, с наступлением лета je recommencerai mon débit²⁹. Как бы то ни было, усевшись в Петербурге, стал я вести жизнь, какой давно не вел. Сижу целый день дома, работаю, не выезжаю никуда, много читаю, и был бы доволен своей судьбой, если бы великое раздражение наших петербургских литературных сил не ставило меня в невозможность двинуть журнал, как бы мне хотелось. И несмотря на хлопоты, нетерпение, отсутствие помощи, есть что-то радостное в моей безмятежной жизни. Только здоровьем я не совсем доволен. Италия и Париж отработали меня так, что все платье сидит на мне вроде мешка. По утрам кашель мой всегдашний и начинающиеся холода неприятно на меня действуют.

Фета видел я перед его отъездом³⁰, выругал его за Италию и поручил передать Вам мой поклон. В тот же почти с ним день явился и Толстой как снег на голову, но печальный от домашних дел³¹ <...> и проигравшийся на баденских водах³². Теперь он в деревне, кажется, и поправился и приободрился.

Но великий сюрприз ждал меня тому недели три. Сижу я в сумерках дома и собираюсь работать (нынче я работаю и вечером: «Кориолан» почти окончен³³), как вдруг входит какой-то человек, кладет шляпу на окно и, не говоря ни слова, становится ко мне задом. Изумленный сим поступком, я обхожу незнакомца, приближаю его к свету и испускаю ужасный крик, узнав Анненкова³⁴! Он явился хлопотать о I томе Пушкина³⁵ и бросил якорь в Петербурге до весны. Мы уже сходились неоднократно, вспоминали Вас и говорили про Италию до изнеможения. Некрасова вижу часто, и он меня радует, хотя трудно раскусить этого человека. Таким мягким, умным и дружелюбным я его почти никогда не видел. Он много думает о журнале и, подивившись, поднимает сильнейший протест против нравоучительных повестей, *пиэс с тенденцией* и так далее. Во всех наших сношениях я вижу от него великую приветливость и дружбу. Панаев³⁶ такой же, как всегда, только физически изменился и кажется десятью годами старше. Милый генерал Ковалевский изредка дополняет нашу компанию, но еще вечеров и положенных дел у нас ни у кого не началось.

Цензура делает себя хорошо, и ученая литература процветает (увы! только не у меня в журнале), но в изящной словесности пока ничего не явилось. Успех Салтыкова и Печерского³⁷ возбудил было некоторое торжество и поползновение к дидактизму, но этого движения бояться нечего, сам чудачище Салтыков метит на художественность и поэзию. У него, по моему разумению, однако, развивается нечто оригинальное и похожее на Талант, — успех его не может быть долгов, но, во всяком случае, это полезный сотрудник³⁸.

Что-то подельваете Вы, милый и дорогой старче? Пишите о себе и своем здоровье, о Ваших поездках и планах с величайшей подробностью. Не худо сделаете Вы, если в свободный вечер набросаете статейку о чем-нибудь для «Библиотеки» <для>

²⁹ я возобновлю свой рассказ (*франц.*).

³⁰ Речь идет об отъезде А. А. Фета в Париж, где он 16 августа 1857 г. венчался с М. П. Боткиной в Посольской православной церкви. Там он встречался с В. П. Боткиным, братом жены. В середине сентября Феты были уже в Москве.

³¹ Толстой находился в Петербурге с 30 июля по 6 августа 1857 г. Он был огорчен обстоятельством развода его сестры М. Н. Толстой с В. П. Толстым.

³² В июле 1857 г. в Баден-Бадене Толстой проиграл в рулетку большую сумму денег.

³³ О начале работы над переводом трагедии Шекспира «Кориолан» А. В. Дружинин сообщал в письме к В. П. Боткину 23 февраля 1857 г. (Летописи. Кн. 9, с. 51). Перевод был закончен в феврале 1858 г. и опубликован в приложении к «Библиотеке для чтения» (1858, № 12).

³⁴ Анненков Павел Васильевич (1813—1887), критик, историк литературы, мемуарист.

³⁵ «Сочинения Пушкина с приложением материалов для его биографии...» под редакцией П. В. Анненкова в шести томах вышли в 1855 г. В 1857 г. им был напечатан дополнительный — 7-й том (а не I). В него вошли материалы, которые ранее по цензурным условиям не могли быть напечатаны.

³⁶ Панаев Иван Иванович (1812—1862), писатель, один из редакторов «Современника».

³⁷ Мельников Павел Иванович (псевд. Андрей Печерский; 1818—1883), писатель.

³⁸ В статье, посвященной «Военным рассказам» Л. Н. Толстого и «Губернским очеркам» Н. Щедрина («Библиотека для чтения», 1856, № 12), А. В. Дружинин, положительно оценивая талант Салтыкова-Щедрина, писал: «Рутину, дидактику и повторение задов г<осподин> Щедрин может смело предоставить другим, неумелым писателям; употребляем здесь его собственное выражение. С его знанием дела нельзя не быть самостоятельным, с его любовью к правде легко достигнуть всесторонности в таланте» (А. В. Дружинин. Прекрасное и вечное. С. 241).

чтения»». Истинно говорю Вам: мне помощь нужна, и много часов по ночам ворочаюсь я с боку на бок, думая про журнал. И одного большого издания не поведешь с петербургскими средствами, а нас трое, не считая мелких! Пока сформируются пишущие люди, пока еще мы приучимся пользоваться цензурными льготами! Всякий пишет о важных современных вопросах и, по моему убеждению, порет вздор, а публика требует, хочет вздора. Но довольно об этом.

Кого-то Вы видите из наших? Где проживете зиму? А весной, счастливец, будете в Италии, увидите горы, и фосфорных жуков, и мраморные дома. Как я горевал, получив в Берлине Ваше последнее письмо из Экса³⁹. Один бы день лишний в Париже, и мы бы съехались. Скоро ли придется нам сойтись опять? Кстати, любезный друг, уведомите, куда переслать мой долг или же ожидать до личного свидания. В деньгах я не нуждаюсь, и это мне разницы не составит. Обнимаю Вас.

А. Дружинин

5

18 января 1858 г. Санкт-Петербург

Без сомнения, милый друг Василий Петрович, Вы не получили письма, которое я еще в сентябре адресовал Вам в Рим *poste restante*⁴⁰. Я по опыту знаю, что в Италии письма беспрепятственно пропадают. С той поры я не писал к Вам по той причине, что не мог написать одного слова хорошего. После жаркой журнальной работы от сентября до половины ноября я занемог и, была ли то мнительность или действительное сознание опасности, около двух месяцев считал себя умирающим человеком, говорю без всякого преувеличения. Меня смотрели лучшие доктора в городе, и из противоречащих их толков я мог только убедиться в том, что медицина в настоящем ее положении — совершеннейшая дрянь. Хорошо еще, что я послушался тех, которые советовали мне лечиться как можно менее и предоставить все дело времени. Болезнь моя состояла в бессоннице (около 2 месяцев я спал по три часа в ночь), плохом аппетите и нервном раздражении, одним словом, весь мой организм разом стал просить об увольнении, один желудок, до того времени часто слабый, все время вел себя как ревностный служака, да голова, но ее, к несчастью, одолело уныние с ипохондрическими помыслами. Так прошло много времени — вижу, что я не умер, я приободрился, одолел бессонницу, стал развлекать себя и ждать лета, как больной в фетовском стихотворении⁴¹. Если до весны не случится со мной чего-нибудь неожиданно скверного, то ленивая деревенская жизнь меня выправит. После всего этого нечего и сообщать Вам о том, как я провел осень и начало зимы. От серьезных занятий должен я был отказаться, положение журнала и увеличившийся успех его это мне позволили. Гораздо тяжелее было мне оставаться равнодушным зрителем всего, что делалось вокруг меня, в мире и в литературе. Мы дожили до хорошего и благотворного времени, когда грешно сидеть сложа руки и даже гулять за границей. Не говорю уже о важных, общих вопросах, о которых слухи дошли и до Вас, — но и в частном литературном быту везде оживление. Дело о литературном фонде⁴² идет и встречает себе ревнителей, о которых и думать было невозможно. Везде возникают новые предприятия, все сближается между собою, даже сам Андрей⁴³ круто повернул от своего

³⁹ Экс — городок во Франции, известный своими минеральными источниками.

⁴⁰ до востребования (*франц.*).

⁴¹ Речь идет о следующих строках из стихотворения А. А. Фета «Большой»:

Просиживая дни, он думал всё одно:

«Я знаю, небеса весны меня излечат...» —

И ждал он: скоро ли весна пахнет в окно

И там две ласточки, прижавшись, защебечут?

(См.: А. А. Фет. Сочинения. М., 1982. Т. 1, с. 216.)

⁴² Речь идет об «Обществе для пособия нуждающимся литераторам и ученым». Оно было создано по инициативе А. В. Дружинина в 1859 г. Одним из членов-учредителей Общества был Л. Н. Толстой. В 1909 г., когда «Литературному фонду» исполнилось 50 лет, Л. Н. Толстой послал приветственную телеграмму: «Вспоминаю основателей и приветствую сотоварищей литературного фонда. Сочувствую его доброй пятидесятилетней деятельности» (Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений. Т. 80, с. 172).

⁴³ А. А. Краевский.

безобразия и всеми силами ищет сближения с порядочным кругом в литературе. «Атеней»⁴⁴ меня обрадовал чрезвычайно, открывши сильную реакцию против дидактизма и поучительности в литературе — теперь я не один свирепствую в пользу чистого искусства. К сожалению, надо добавить, что друзья наши Панаев и в особенности Некрасов ведут себя очень нехорошо. Некрасов совершенно отбил себя от всех, играет в карты днем и ночью, и журнал ведется еще хуже, чем в прошлом году. Чернышевский (припомните Тургеневу, как он считал его политическим человеком) ринулся в политическую экономию и удивил Европу статьями о поземельной собственности⁴⁵, скомпилированными из французских брошюр 1847—48 годов! Общее посмеяние было ему наградою. Потом в «Современнике» стали объявлять, что Пушкин был отсталым и худо образованным человеком, даже не знающим, что такое слово *принцип*⁴⁶. Но тут не было даже и посмеяния, потому что эта ерундища уже всем набила оскомину.

Во время моих печальных дней услаждали меня из наших общих знакомых многие, в особенности драгоценный Павел Васильевич⁴⁷, которого только в такое время можно понять и оценить как следует. Григорьев⁴⁸ появляется довольно часто, но он так изолгался и выдохся, что, кажется, все с ним кончено, у него и веселость, и ум, и все порядочные качества, кажется, пришли в полное истощение, как мой организм в ноябре месяце. Он, вероятно, уже писал Вам, что в мае едет с экспедицией, посылаемой В<еликим> К<нязем> Константином Николаевичем на берега Средиземного моря. Как он надоеет всем на корабле!

Пока прощайте, любезный друг, — боюсь писать много, мне кажется, что все письма в Италию непременно затериваются. Если Вы или Тургенев захотите написать ко мне два слова, я буду отвечать исправно и подробно. Я имел уже известие о том, что здоровье Ваше восстановилось и что Вы в блаженном состоянии духа. Не пришлете ли Вы маленькой статеечки в «Библиотеку»?⁴⁹ Теперь у Вас времени много и материалу для описаний не оберешься. Посидите-ка вечером для меня, — этим Вы много пользы сделаете журналу, которого направление, как кажется, сходится с Вашими взглядами. Дай Бог Вам и Тургеневу всего лучшего, — да возвращайтесь поскорее — нельзя, нельзя мешкать в гостях, когда дома всякий умный и благонамеренный человек нужен.

Обнимаю Вас.
А. Дружинин

Скажите Тургеневу, что «Ася» — прелестнейшая вещь, но грусть, которую она вся полна, терзает душу и заставляет почти ужасаться за его нравственное состояние. Ему надо домой, не медля ни минуты, забывши о пузыре. Шатание по Европе его убьет.

6

4 марта 1858 г. Санкт-Петербург

Очень порадовали Вы меня, добрый и дорогой друг Василий Петрович, письмом Вашим и в особенности известием о том, что здоровье Ваше находится в таком

⁴⁴ «Атеней», еженедельный журнал критики, современной истории и литературы. Выходил в Москве (под редакцией Е. Ф. Корша) с 1 января 1858 г. по май 1859 г. Несмотря на сотрудничество в нем Гончарова, Тургенева, Щедрина, Чернышевского, издание прекратилось из-за малого числа подписчиков.

⁴⁵ Статьи Н. Г. Чернышевского «О поземельной собственности» опубликованы в «Современнике» (1857, №№ 9, 11).

⁴⁶ Речь идет о статье: <Добролюбов Н. А.> «Сочинения Пушкина. Седьмой, дополнительный том. Изд. П. В. Анненкова. СПб., 1857», опубликованной в «Современнике» (1858, № 1). Негодование Дружинина относится ко всему направлению «Современника» в оценке поэзии Пушкина. Наиболее полно он высказал свои эстетические и литературно-общественные взгляды о контексте пушкинского творчества в статье «Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения» («Библиотека для чтения», 1856, №№ 11, 12).

⁴⁷ П. В. Анненков.

⁴⁸ Григорьев Аполлон Александрович (1822—1864), славянофил, критик. Его статья «Критический взгляд на основы, значение и приемы современной критики искусства» была опубликована в «Библиотеке для чтения» (1858, № 1).

⁴⁹ Статья В. П. Боткина в «Библиотеке для чтения» не появилось. Б. Ф. Егоров во вступительной статье к книге: В. П. Боткин. Литературная критика. Публицистика. Письма (М., 1981) писал, что статья В. П. Боткина «Стихотворения А. А. Фета» («Современник», 1857, № 1) была «самой крупной и оригинальной» из его статей, и «последней в то же время. На ней практически закончилась публичная деятельность его как литературного критика» (с. 17).

блистательном состоянии. Теперь для Вас очень важно расположить время Вашего возвращения так, чтоб перемена климата не подействовала на Вас вредно — для этого, я думаю, надо выбрать лето, и еще самую теплую пору лета, — а то я весь нынешний год наблюдал за воротившимися из-за границы к зиме и осени: все они чувствовали себя нехорошо и все похудели. Впрочем, все это Вы сами знаете и, конечно, не рискнете испортить то, что добыли себе так счастливо.

Мое здоровье приходит в должное равновесие, но Боже мой, как медленно, — и как сильны нравственные следы сильных нервных страданий! Месяца два считать себя стоящим у самого своего конца (*à tort ou à raison*⁵⁰, но я так думал), это такая штука, которая легко не переживается. Я сам будто торчу посреди необозримой пустыни и без всякой хандры сделался, как говорили про какого-то старого короля, *tout à fait inamusable*⁵¹. Дело валится из рук, прежние увеселения меня не тешат, сильных интересов ни в чем нет, женщины не шевелят и не занимают, выезды сделались утомительны, на беду как-то и людей хороших теперь мало поблизости. Я не скучаю, но нахожусь в каком-то мертвом отношении к жизни: для здоровья оно не худо, потому что нервы оттого спокойны и сердце не бьется, как было прежде, но надо признаться, что в этом прозябательном состоянии радости не много. Посмотрим, что сделает весна, а до тех пор нечего надоедать Вам подобными известиями.

До Вас, вероятно, дошли уже слухи о том, что контракт «Современника» с нашими 4 приятелями уничтожился. Кто тут виноват и прав, решит время и подробные сведения о ходе всего дела, которое было заключено необдуманым образом, с первого года тяготило самих участников и не могло привести ни к чему доброму. Отсутствие согласия во взглядах и нравственного сближения между журналом и контрагентами с первого же времени обещали неурядицу — надобно желать только, чтоб все это развязалось без скандала. По поводу всего этого мне пришел в голову план, который я Вам сообщаю и за который следует взяться, не пропуская времени, если Вы его найдете удобоисполнимым. Теперь, когда все писатели нашего круга свободны, не попробовать ли нам всем, близким между собою писателям, сделать что-нибудь серьезное общими силами? Это можно совершить, попытавшись издавать свой журнал с 1859 года или взять на аренду «Библиотеку для чтения», которую, как я полагаю, Печаткин⁵² уступит нам сходно, если я погрожу ему, что брошу редакцию. Мы теперь разбросаны, но сил у нас много, кроме этих 4, у нас и Гончаров, и Ермил, Анненков, и Салтыков, да наконец решительно вся изящная литература. Тургенев, который всегда лелеял в мысли надежду издавать журнал по моему предложению, будет сочувствовать этому плану. Каждый из главных сотрудников будет и редактором, с правом на известную часть дохода, для работы же безотлагательной и общей при журнале должны быть два или три редактора, постоянно живущие в Петербурге. За денежные выгоды ручаться можно, хотя едва ли при большом количестве редакторов они будут очень велики. Но тут вопрос не в деньгах, а в том, что мы, весь круг людей, сближенных по душе и имеющих свое определенное желание в литературе, будем иметь свой орган, свое *opus magnum*⁵³, свой литературный *home* и хорошее занятие для всей нашей жизни. Сила круга, соединенного таким образом, будет огромна, и в нашей литературе, может быть впервые, появится журнал, действительно сильный по своему устройству и не боящийся никакой конкуренции. Сообщите мне, нравится ли Вам эта мысль и предложения Ваши о ее приложении к делу. Если Вы не находите ее идеальной и неудобоисполнимой, то уведоьте, и я начну готовить дело к осени, осенью же подготовим объявление и вступим в работу. Коли у главных участников будет мало энергии и доверия к ходу дела, то можно взяться за него в виде пробы года на два или три, а потом бросить⁵⁴. Обо всем этом подробнее потолкует с Вами Павел Васильевич, на днях отправляющийся за границу.

Хотелось бы еще об очень многом потолковать с Вами, любезнейший друг, но я очень боюсь, что письмо это не захватит Вас в Риме или завалается на итальянской почте. Уведоьте меня подробнее о Вашем маршруте, где Вы думаете провести ле-

⁵⁰ правильно или неправильно (*франц.*).

⁵¹ совсем не смешной (*франц.*).

⁵² Печаткин Вячеслав Петрович (1819—1898), инженер-технолог, издатель «Библиотеки для чтения».

⁵³ большое дело (*лат.*).

⁵⁴ Об этом же плане А. В. Дружинин сообщал Л. Н. Толстому 15 апреля 1858 г.: «<...> спешу поговорить с Вами о деле, которое нас занимало при последнем свидании и которое теперь занимает собой многих наших товарищей в Петербурге... Многие встретили эту мысль с великим одобрением. <...> Придумайте и сообщите Ваше предположение». В ответном письме от 1 мая 1858 г. Толстой высказал сомнение по поводу возможности осуществления этого проекта Дружинина (Л. Н. Толстой. Переписка... Т. 1, сс. 272, 273, 275).

то и куда к Вам писать. Я буду аккуратен в переписке. Мой же план лета крайне многосложен — весной я часто буду ездить в Царское Село и жить там по нескольку дней, а в конце мая закачусь в деревню и выживу там как можно долее. Будьте здоровы, обнимаю Вас.

А. Дружинин

7

21 января 1859 г. Санкт-Петербург

Любезный друг Василий Петрович, без сомнения, Вы часто видите Толстого и знаете его адрес⁵⁵. А потому будьте добры и при свидании попросите его сообщить мне то, о чем я уже писал ему, но до сих пор ответа не имею, а именно, сколько я должен выслать ему денег за «Три смерти»⁵⁶. Само собой разумеется, что на все условия я согласен и даже думаю, что не следует платить меньше того, что он получил во время обязательного соглашения с *дивидендом*.

Равным образом не сообщит ли он мне что-нибудь насчет его новой повести (или романа), о коей ходят слухи, что она кончена⁵⁷. Я ее желаю приобрести и заявляю сие желание, и надеюсь, что он удовлетворит его, если к тому не имеет препятствий. Коли бы Вам не хотелось или не удалось переговорить с ним обо всем этом, то просто пошлите ему это письмо, но лучше, если Вы поговорите сами и в особенности обратите его внимание на то обстоятельство, что для меня, как заявившего чисто литературное направление, хорошие повести и проч. нужнее, чем для кого-либо, ибо всякий другой журнал, не высказавшийся так решительно, легко может пополнять пробелы изделиями обличительными, чего уже я не могу и не хочу делать.

Мы здесь все здоровы и Вас вспоминаем. Передайте мое поздравление Дмитрию Петровичу⁵⁸, кланяйтесь Фету и Володинке⁵⁹, коли он вернулся.

Весь Ваш
А. Дружинин

8

16 октября 1861 г. Санкт-Петербург

Любезный друг Василий Петрович, давно не писал я к Вам, отчасти потому, что письмо Ваше залежалось на моей петербургской квартире, пока я был в деревне⁶⁰, отчасти оттого, что мне хотелось сообщить Вам что-нибудь более положительное о моем здоровье. Осеннее ненастье, которого я боялся, не сделало на меня никакого дурного влияния, и хотя мне еще долго быть на положении инвалида, но никаких дурных симптомов не явилось, а прежние уменьшились. По всей вероятности, органических повреждений нет, а страдали и страдают нервы, которых и существования я, бывало, не хотел признавать. Доктора признали поездку за границу ненужною. Это меня крайне радует, ибо, по правде сказать, не на что ехать, и пришлось бы войти в долги. Наш «Век»⁶¹ при 5 т-ысячах > с лишком подписчиков даст дефицит, а не прибыль, в этом, конечно, вина та, что между нами нет хозяина, но виновата и система подпи-

⁵⁵ В это время Л. Н. Толстой жил в Москве по адресу: Большая Дмитровка, дом Смолиной, № 10 (дом сохранился под тем же номером).

⁵⁶ Рассказ Л. Н. Толстого был опубликован в «Библиотеке для чтения» (1859, № 1). 10 февраля 1859 г. Дружинин писал Толстому: «Я сделал распоряжение, любезный друг Лев Николаевич, о высылке Вам 150 рублей серебром за «Три смерти», ежели бы эта сумма не сошлась с расчетом Вашим, то уведоьте» (Л. Н. Толстой. Переписка с русскими писателями. Т. 1, с. 277).

⁵⁷ В несохранившемся письме к Дружинину Толстой обещал отдать «Библиотеке для чтения» повесть «Семейное счастье» (Л. Н. Толстой. Переписка с русскими писателями. Т. 1, с. 279). Работа над повестью была закончена в апреле 1859 г.; повесть была опубликована в «Русском вестнике» (1859, апрель, кн. 1, с. 435—473; кн. 2, с. 595—634).

⁵⁸ Боткин Дмитрий Петрович.

⁵⁹ Боткин Владимир Петрович (1837—1869), чаеоторговец, брат В. П. Боткина.

⁶⁰ Имение А. В. Дружинина — село Мариинское в Гдовском уезде Петербургской губернии.

⁶¹ Еженедельный журнал «Век» был основан А. В. Дружининым, П. И. Вейнбергом, К. Д. Кавелиным и В. П. Безобразовым и издавался в 1861—1862 гг. в Петербурге. Дружинин заведовал беллетристическим отделом. В 1862 г., когда Дружинин уже отошел от редакции, финансовый крах привел к закрытию журнала.

ски с рассрочкой, за последнее время всеми принята,— чиновники просто не платят и 10.000 р., ими внесено не более тысячи, а чем их понудить, особенно провинциальных? При таких делах за границу ехать трудно, да и положение больного в чужой земле самое трудное, от одной тоски по своим измучишься.

Пребывание мое в деревне было самым занимательнейшим временем в моей жизни, несмотря на то, что я больше сидел дома, а ко мне приезжали и рассказывали о делах до малейшей подробности. Столько необычного, странного, смешного! Где ждал беды, там удачи, на что смотрели легко, то оказывается трудным. Например, дворовые умоляли оставить их в прежнем положении, не требуя ни паспортов, ни прибавления содержания. Зато вольный полевой труд просто невозможен в нашем крае (разве в очень малом виде), потому что цены на рабочих ужасные. Пришлось уменьшить запашку и продать часть скота. Но кто изворотлив, деятелен и любит хозяйство, тот как-нибудь выпутается, да и вообще Петербургская губерния ранее других придет в порядок. Серьезных замешательств у нас не было — учреждение посредников совершенно убило земскую полицию и чиновников, которые делали больше вреда, чем пользы. Крайняя занимательность положения состоит в тысяче опекунов, смешных столкновений, неожиданностей и замысловатых обстоятельств. Если б я вел дневник и мог его напечатать, разные деяния помещиц, толки соседей, разговоры крестьян, случаи при работах и совещаниях, рассказы посредников, — все это составило бы материал истинно драгоценный. Как мало знали мы наш край, как далеки от жизни были все наши понятия о крестьянине и даже помещике! Истинно говорю Вам, что мы о жителях Таити имели сведения более точные. Теперь сама жизнь и реформа⁶² выбили нас из праздности и мира пустых умозрений, нельзя без смеха припоминать о том, что говорилось и писалось так недавно.

В Петербург я только что приехал, из общих знакомых видел почти что одного Павла Васильевича⁶³, бодрого и прекрасного как всегда. В деревне я видел много утешительного, но здесь совсем напротив, — вероятно, Вы знаете из газет и рассказов обо всем. Напишите мне, что Вы и как здоровье Ваше. Кланяйтесь Тургеневу, когда его увидите. Почините себя поскорее и возвращайтесь, боюсь я этих негодных парижских квартир и тамошней гнилой зимы. Прощайте, от всей души обнимаю Вас. Пишите, я буду аккуратно отвечать.

Весь Ваш А. Дружинин

*Вступительная статья, публикация и комментарии
О. А. ГОЛИНЕНКО и Б. М. ШУМОВОЙ*



⁶² 19 февраля 1861 г. был подписан «Манифест» об отмене крепостного права. Вместе с «Манифестом» было опубликовано «Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости», состоявшее из 17 законодательных актов. Дружинин ратовал за реформу и отмену крепостного права. При освобождении своих крестьян он увеличил наделы против положенной нормы.

⁶³ П. В. Анненков.

Людмила ГЛАДКОВА

ОБ ИСТИННОМ ИСКУССТВЕ

ПО ПЕРЕПИСКЕ Л. Н. ТОЛСТОГО С Ф. Ф. ТИЩЕНКО

В феврале 1909 г. Л. Н. Толстой получил письмо от знакомого крестьянина-писателя.

Дорогой и глубокоуважаемый Лев Николаевич!

«Не могу молчать» — скажу Вашими словами. Душа так наболела, что хочется излить свою боль, негодование. Вчера был на выставке картин «Золотое Руно», устроенной журналом того же названия. Вообще все выставки стараюсь посещать. Эту не хотел было видеть, так как по журналу знаю, какая это должна быть выставка. Но «Русские Ведомости» накануне вчерашнего дня, то есть в субботу 7 февр<аля>, поместили статью о выставке как говорящей «новое слово» в искусстве. Хотя я и заметил уже, что г. Эттингер ничего в живописи не понимает, так как у него, очевидно, свиное рыло и вкус свиной, при которых тыква предпочитается апельсинам, и хотя статья заключала одни общие похвалы, общие места и не внушала никакого доверия, но я пошел. Народа было много. Я забесновался с первой же картины и громко высказывал свое негодование. Многочисленная публика, привлеченная той же статьей «Русских Ведомостей», поддерживала меня.

Почти все взрослые люди и студенты, которые поумнее, негодуют и издеваются над выставкой. Но есть много молодежи, да и взрослые изредка попадают, которые или смотрят с недоумением и не знают, хорошо ли это, как пишут в газетах, или дурно. Есть и такие молодые люди, котор<ые> прямо и горячо стоят за «новое искусство», несмотря на все его безобразие: они, ничего не понимая, хвалят то, что им внушили. Особенно учащиеся наших художествен<ных> школ — училища живописи, ваяния и зодчества и школ частных, которые поглупее, стараются увлекаться и подражать «новому» направлению. О, как это печально! Ведь все эти 150 картин — плод сознательного надувательства публики, плод самого наглого шарлатанства, как в литературе «Красный смех» и «Жизнь человека» — плод наглого и сознательного шарлатанства.

Такие вещи могут производить или сумасшедшие, или поддельвающиеся под сумасшествие. Для меня не составляет никакого труда разобрать, что больное, а что подделка под больное. Картины Врубеля — это картины больного. Когда я первый раз увидел (года 4—5 назад) его картину (это была картина «Сирень»), я громко сказал на выставке: «Эта картина наверно написана сумасшедшим. Зачем ее выставили? Патологическое творчество не может дать произведения искусства: оно дает только уродливое. Оно опасно и заразительно для здоровых». Тогда же мне сказали (на выставке), <что> Врубель действит<ельно> сидит в психиатрич<еской> больнице. Я был польщен своей прозорливостью, так как до того не слышал даже о Врубеле. Эта прозорливость далась мне не даром: я сидел 1 год и 3 мес<яца> непрерывно в вологодской психиатрич<еской> тюрьме и изо дня в день изучал душу, быт и нервы больных, читал их «Красные смехи», стихи вроде Бальмонтовских или Андр<ея> Белого и проч., видел рисунки, картины, читал проповеди больного попа. И я так насобачился по части психиатрии, <что> чувствую себя безусловно авторитетнее всякого психиатра при распознавании произведений душевн<ых> больных от проделок симулянтов и шарлатанов. Не скажу, чтобы представители «новой» литературы и «нов<ого>» искусства были люди здоровые и только притворялись больными...

Нет, они все немного, а иные и порядочно свихнувшиеся. Но никто так не хитрит, как душевнобольные. Заметив, что больное, уродливое в искусстве привлекает внимание публики как нечто странное, загадочное, быть может, поэтому и великое, они стали сознательно «творить» «Красные смехи» и т. д. Так, первые произведения Л. Андреева, вошедшие в первое изд<ание> 1-го тома рассказов, — напр<имер>, его «Бездна» и друг<ие> произведения — почти искренно больные. В них виден талант зачаточный, грубый и ни на грош искусства. Эти рассказы талантливый, безобразны и больны. Далее, особен<но> с «Василия Фивейского» и последующие вещи — это уже произведения истинно шарлатанские. Вы это знаете и молчите. Зачем молчите? Чтобы культивировать заразу в людях? Как смеете молчать Вы при поругании искусства, литературы, когда еще не так давно Вы поднимали руку на самого Господа Бога? Или Вы не понимаете вреда этого «нового» направления? Писатели и художники творят читателей и зрителей по образу и подобию своему, как выразился один критик, уже умерший. Они научают публику чувствовать и мыслить, как мыслят сами. Сумасшедшие и шарлатанствующие писатели и художники вносят в умы и чувства своих читателей и зрителей такую же дезорганизацию и путаницу, какие у них самих, они культивируют сумасшествие, психоз и шарлатанство. А так как дурное и болезненное действуют заразительно на окружающих, то эти художники и писатели страшно вредны. Кроме того, отвлекая искусство и литературу и общество от здоровой деятельности, от здорового творчества, которое всегда отзывается на здоровые запросы духа и на вопросы действительной жизни, они служат на руку нашей реакции. Поэтому они еще больше вредны — и их, этих новых художников-шарлатанов, надо изгнать из храма искусства. Это может сделать только Вы, так как только Вы обладаете достаточным авторитетом. Последний день выставки «Золотое Руно» в воскресенье 15 февраля. В 5 час<ов> она закрывается. Ради Бога, потряхните стариной, приедьте, пройдитесь по выставке и скажите громко свое слово, чтобы Вас слышали все — и шарлатаны-художники, и публика, часто глупая, невежественная, как и художники, поклоняющаяся тому, во что не верит, и не знающая, во что ей верить. О, если бы у Вас хватило мужества поступить, как поступил Христос, взяв бич, изгнавший из храма торговцев! Боюсь, что у Вас такого мужества не хватит, так как Вы всегда слишком много думаете, как бы не сделать неловкого поступка, как бы не показаться народу смешным. Простите, но мне кажется, ч<то> эта черта у Вас есть. А она не должна быть. Надо любить истину до самозабвения, надо взять бич и изгнать шарлатанов, громко крича на них, не боясь ни скандала, ни участка. Вы могли бы одним махом убить этих шарлатанов. Какое бы это было торжество правды! Как бы это было прекрасно!! Приедьте! Захватите В. Г. Черткова и еще кого-нибудь. Известите меня, ч<то> Вы будете на выставке. Выставка помещается по Театральному проезду, в доме Хлудова, где центральные бани. Мой адрес: Москва, Б. Пресня, д. Щелокова, кв. 9. А в присутствен<ные> дни и часы (от 10 до 4) я в Гор<одской> Управе.

Кланяюсь В. Г. Черткову.

*Ф. Тищенко
1909 г., февр<аля> 12*

На конверте этого письма Лев Николаевич написал: «Без ответа».

Остался всего год до ухода Л. Н. Толстого из того мира, которому писатель сказал свое «Не могу молчать». Но XX век его не услышал — он уже стремительно несся к своим катастрофам...

Начиная с 80-х годов прошлого века тема искусства неизменно занимала Толстого. О том, что есть искусство истинное, а что ложное, спорили в Ясной Поляне, размышлениями об этом изобилует переписка Л. Н. Толстого со Страховым, Гротом, Чертковым, Бирюковым...

В этой связи представляет интерес переписка Л. Н. Толстого с начинающим писателем Федором Федоровичем Тищенко, крестьянином Харьковской губернии. Пишущие крестьяне часто обращались к Толстому за помощью и неизменно получали ее. Л. Н. Толстой выступал в переписке с ними как редактор, литературный критик, чуткий учитель. Мы привыкли, что, когда речь идет о последователях Толстого, имеются в виду толстовцы, разделявшие определенные взгляды писателя, но Тищенко и другие писатели-крестьяне называют Толстого отцом и дорогим учителем в благодарность за щедрость, с которой Толстой-художник раскрывает перед ними тонкости писательского искусства. Переписка с Тищенко продолжалась с

1886-го по 1909 г. Она непосредственно касается проблем искусства, художественного слова. Письма Толстого — их девять — известны по 90-томному собранию сочинений. Писем Тищенко — двадцать шесть, они хранятся в Отделе рукописей Государственного музея Л. Н. Толстого. Самая интенсивная переписка велась как раз в те годы, когда Толстой обдумывал и писал трактат об искусстве. В статье «Об искусстве», написанной в 1889 г., писатель упоминает рассказ Тищенко «Ржаной хлебушко — калачу дедушка». Он пишет, что для работы читал произведения известных писателей. «И что же? — чтение романов и повестей Золя, Бурже, Гюисмана, Киплинга и других, с самыми задирающими сюжетами, ни одной минуты не тронуло меня... От рассказа же неизвестного автора о детях и цыплятах я не мог оторваться, потому что сразу заразился тем чувством, которое, очевидно, пережил, испытал и передал автор».

В переписке Толстого с Тищенко есть свой особый сюжет — с зачином, в котором молодой крестьянин, мечтающий писательским «глаголом жечь сердца людей», почувствовал, говоря его словами, «настоятельную потребность лично познакомиться с самыми крупными современными писателями и от них поучиться техническим приемам писания. Тургенев и Достоевский в то время уже давно умерли. Остался один Л. Н. Толстой» (из воспоминаний Ф. Ф. Тищенко).

Первое письмо Толстому Тищенко написал в январе 1886 г. Думается, начинающий писатель привлек внимание Толстого своей искренностью, а главное, тем, что он, двадцатисемилетний молодой человек, имевший жену и сына, не бросил крестьянского труда ради писательства, а продолжал работать на земле и жить в родной деревне. Тищенко рассказал о себе: «Живу бедно в своем отцовском домике, в родной деревне, имею шесть десятин наделной крестьянской земли... В детстве я пас коров и лошадей своего отца и учился в сельской школе. Затем случайно попал в гимназию. Рано во мне появилась страсть к литературе... к стыду своему, я должен сознаться, что, будучи Вашим почитателем, я до сих пор, однако, не мог прочесть «Войны и мира» и «Анны Карениной» — это вещи дорогие, и я не встречал их в обращении между своими знакомыми». Кстати, Тищенко не единственный, кто писал Толстому, что не читал его крупных романов. Как знать, может, такие признания и мысль о том, что стомиллионный русский народ, адвокатом которого писатель себя назовет, часто не знает его романов, заставляла писателя считать их господским баловством. Тищенко признавался, что, куда бы ни посылал свои произведения, нигде их не печатали. И он решил на последнее средство — обратился к Толстому и прислал ему свою повесть «Грешница».

Л. Н. Толстой почувствовал в авторе дарование и ответил ему письмом от 11 февраля 1886 г.: «Вы имеете способность чувствовать за других и словами связно и ясно выражать эти чувства, и потому полагаю, что вы можете быть полезным людям писанием, если только вы в своем писании будете руководствоваться любовью к людям и истиной». Толстой отмечает достоинства повести: живое, образное описание, знание быта, верное описание и чувство, в общем, написано хорошо, но и упрекает начинающего писателя за некоторую непоследовательность, неестественность, преувеличенность в описании и за употребление иностранного слова «горизонт». Главным же недостатком Толстой считает то, что «вся повесть обращена не к большинству людей — не к простым людям... а к интеллигентному читателю... Общий вывод мой тот, что если вы верите в истину (истина одна — учение Христа), то вы можете писать хорошо... Мне кажется, что вы можете. Направление ясно — выражение в художественных образах учения Христа, его 5 заповедей; характер — чтобы можно было прочесть эту книгу старику, женщине, ребенку и чтоб и тот, и другой заинтересовались, умилились и почувствовали бы себя лучше». Казалось бы, простые истины, но сегодня напоминать о них совсем нелишне. Да и Тищенко был благодарен за наставление великого писателя: «Я сам четыре года тому назад приходил к тем же рассуждениям, только я выражался иначе: «Писатель должен стремиться пересоздать самые чувства, «эмоции» читателей посредством пробуждения в них любви к ближнему, склоняя их к добрым делам в пользу его». Так я думал раньше — и это было для меня дороже всего. Но (Вы не поверите!) неудачи, матерьяльная нужда и суета заставили меня, слабого, забыть это. И вот Вы опять мне напомнили. Тысячу раз благодарю Вас».

Повесть «Грешница» Толстой послал Оболенскому в «Русское богатство», рекомендовал ее как «очень талантливо написанную». В письме к Оболенскому он объясняет, почему не предлагает ее в «Посредник» — «она может быть соблазнительна для народной публики, выставляя безнадёжность жизни и жестокость людей». Эта фраза показывает, как бережно Толстой относится к читателю, какую от-

ветственность за высказанное слово должен нести писатель, и заставляет задуматься, какие же необратимые последствия в народной душе могут иметь те ушаты грязи и патологической жестокости, которые сегодня выливаются на страницах печати и, главное, с экранов ТВ.

Толстой также предостерегает крестьянина об опасности того, «чтобы сделать свое писание средством приобретения денег», об этом же предупреждал Толстой и других пишущих крестьян, в том числе М. П. Новикова. Но как и Новиков, считавший, что фраза «Не хлебом единым...» годится только для сытых, Тищенко не внял предупреждениям великого писателя, полагая, что тот не понимает его, потому что сам ни в чем не нуждается: «Мой рассудок, мое сердце говорят мне, что, будь у меня 100 или хоть 50 рублей в месяц, я был бы далеко лучше, добрее, больше и хорошо писал бы, больше приносил бы пользы людям...» Но Толстой к 1886 г. уже глубоко прочувствовал тщету и богатства, и писательской славы. Он поможет Тищенко перебраться с семьей в Москву, в 1896 г. с помощью Буланже устроит его канцелярским служащим на железной дороге, что обеспечит тому гарантированный заработок, но счастья не принесет. Жена, прельстившись легкой жизнью, уйдет от него, он останется один с семерыми детьми на руках. Так что и тут Лев Николаевич окажется прав.

В письмах к Тищенко Толстой приоткрывает свою творческую лабораторию. 12 декабря 1886 г. он пишет: «Живите жизнью описываемых лиц, описывайте в образах их внутренние ощущения; и сами лица сделают то, что им нужно по их характерам сделать».

Важные мысли об искусстве высказывает Толстой в письме к Тищенко от 18 апреля 1887 г., разбирая его повесть «Семен сирота и его жена». Из недостатков Толстой отмечает растянутость, «надо бы, чтобы совершалось в событиях, а не только бы описывалось... еще иногда и неправильность языка. Но про это не стоит говорить. И не я буду в них упрекать. Я люблю то, что называют неправильностью,— что есть характерность». Достоинства повести, отмеченные Толстым: «Замечательно правдиво. Это важное, большое качество. И самое важное... есть задушевность. Вообще повесть хорошая. И я думаю, что у вас есть те особенности, которые нужны писателю... Писателю нужны две вещи: знать то, что *должно быть* в людях и между людьми, и так верить в то, что должно быть, и любить это, чтобы как будто видеть перед собой то, что должно быть, и то, что отстывает от этого».

Л. Н. Толстой поручил сделать сокращения в повести В. Г. Черткову, и тот с присущим ему усердием выполнил это поручение, изрядно высушив язык повести. Тищенко написал ему по этому поводу возмущенное письмо, в котором досталось и «Посреднику»: «Все издания «Посредника», которые я читал, при всей прелести проводимых ими идей и даже несмотря на то, что эти идеи доказываются точно силлогизмами, вытекают из рассказа... несмотря на все это, издания эти страдают сухостью, холодною моралью и однообразием». Это однообразие, считает Тищенко, происходит не от того, что одна идея во всех произведениях, а оттого, что «редакторская рука сглаживает все авторские особенности». Тищенко опасается, что при такой редакции «душа повести может потеряться». В дальнейшем в переписке с Чертковым Тищенко пишет о тех или иных произведениях, выпускаемых «Посредником», пользуясь характеристиками, которые сам получал от Л. Н. Толстого. Так, в письме от 22 августа 1888 г. он называет слабыми «рассказы Семенова, Засодимского «Слепые неразлучники». Последняя вещь была бы хороша, если бы не была слишком романтична и была бы поестественнее». В письме от 2 января 1890 г. в ответ на отрицательный отзыв Черткова о рассказе Тищенко «Старик», который Чертков по обыкновению хотел втиснуть в узкие рамки собственного понимания народной пользы, Тищенко пишет замечательное письмо, где излагает свои взгляды на цель литературного труда, из которых видно, что уроки Толстого не прошли для него даром. Он также упрекает Черткова в узости: «Ваша ошибка происходит вот откуда: Вы считаете свое практическое литературное направление не только самым истинным, но и единственно возможным, а потому, прикинув мою рукопись на мерку «Посредника», Вы не нашли в ней ничего выдающегося и осудили ее».

Надо заметить, что, не будь Толстого, дорога в литературу была бы закрыта для очень многих писателей-самоучек из народа. И тут сказывается разница во взглядах Толстого и большинства современных ему литераторов и издателей из интеллигентной среды на то, что же есть истинное искусство, а что ложное. Толстой с вниманием и любовью относился к тому, что выходило из-под пера пишущих крестьян, потому что, во-первых, считал крестьянина главным своим читателем, во-вторых, крестьянин являлся носителем природного русского языка, и, в-третьих,

крестьянин, пусть часто в резкой или наивной форме, высказывал вещи существенные, созвучные самому Толстому. Тищенко о своем рассказе «Хлеб насущный», который понравился Толстому, пишет, что везде отказываются его печатать: «Стасюлевич нашел, что он даже не окончен и потому не может быть напечатан, а Маркс нашел, что он очень грустен и потому тоже не может быть напечатан у него». Короленко же просто отметил, что рассказ не может быть напечатан, «потому что не художествен». Последнее замечание поразило Тищенко, и он решил идти к Короленко, чтобы выяснить у него лично, что же тот считает художественными достоинствами литературного произведения. Он явился домой к Короленко, но известный литератор не сумел, по его словам, дать определение художественного произведения.

В своих рассуждениях о художественности Тищенко затрагивает только что напечатанную в «Русской мысли» (1897, № 4) повесть А. П. Чехова «Мужики»: «Все рецензенты, как сговорившись, считают эту вещь верхом совершенства, а мне она кажется довольно слабою, слабее других вещей Чехова. Заглавие «Мужики» обобщающее и не подходит к такому содержанию, сцены местами описаны карикатурно, грубость нравов утрирована, отношение автора к описываемой среде мерзкое: будто это рассказывает про крестьян умный, начитанный и подвыпивший купчик, зараженный шопенгауэровской философией. Выходит, все в деревне гадко, грубо, скверно, дико, противно, противно... Но мне кажется, что в ней (повести.— Л. Г.) есть одна вещь очень хорошая, которая многих вводит в заблуждение и заставляет искренно считать это произведение высокохудожественным. Это — прекрасная форма, сжатость, яркость красок и меткость слога. Этим Чехов многих чарует, заставляя забывать все другие требования, которым эта вещь не удовлетворяет» (письмо от 3 августа 1897 г.).

Как известно, сам Л. Н. Толстой тоже отрицательно отозвался о «Мужиках» Чехова. «Из ста двадцати миллионов русских мужиков Чехов взял одни только темные черты. Если бы русские мужики были действительно таковы, то все мы давно перестали бы существовать» (1902 г.).

Тищенко в своей оценке вполне отвечает взглядам Толстого, который признавал три условия истинного художественного произведения: 1) правильное, то есть нравственное, отношение автора к предмету, 2) красота формы и 3) искренность, то есть любовь, к тому, что описывает автор. Тищенко признает в «Мужиках» Чехова красоту формы, но упрекает автора за отсутствие любви, за «высокомерное трактование человеческих несчастий, горькой жизни бедняка с беспристрастием какого-нибудь Дарвина или Спенсера, который пишет о генезисе любви или страдания как физиолог».

С 1890 г. переписка Тищенко с Толстым и Чертковым прерывается на три года. Только в марте 1894 г. он снова пишет Толстому и присылает ему свои новые рассказы, а также объясняет причину своего долгого молчания. Он попал в административную ссылку в Вологодскую область за то, что в споре с сельским старшиной принял сторону крестьянина своей деревни. Из этого срока год и три месяца он провел в психиатрической лечебнице (он страдал падучей). А вскоре состоялось и личное знакомство начинающего писателя с Толстым: Тищенко, будучи проездом в Москве, посетил Хамовники, и в письме от 4 сентября 1894 г. Л. Н. Толстой писал: «...вы мне и так по вашим писаниям были симпатичны, а теперь, после знакомства с вами, я еще более полюбил вас».

Интерес Толстого к проблеме искусства проявляется на фоне, говоря его словами, «развращения fin du siècle'a» (письмо к С. А. Толстой от 15 ноября 1892 г.). «Я люблю это слово и понятие», — добавляет Толстой. Всем известно, что одна из статей Толстого так и называется — «Конец века», часто использует писатель это выражение в разговорах и переписке для характеристики духовного упадка общества. «Fin du siècle и у нас», — пишет Толстой в другом письме. Действительно, если вспомнить историю, на рубеже веков, как правило, складываются новые ценностные категории, которые впоследствии питают искусство и культуру в целом века грядущего и в то же время на закате старого века отчетливее проявляются кризисные явления в искусстве. Все это особенно остро почувствовал Толстой, великий художник, и выразил свое отношение к подобным явлениям в трактате «Что такое искусство?». Увы, и о нашем времени мы сейчас можем сказать словами Толстого: «Fin du siècle и у нас»!

Партия любителей П.

У меня есть одно неискоренимое свойство характера, может, плохое, а может, хорошее: когда очень большое количество людей вдруг начинает превозносить некое явление и коллективно воздвигать некий непререкаемый авторитет, что-то внутри мешает мне присоединиться. В таких случаях я предпочитаю сразу отодвинуться в сторону (отчасти срабатывает инстинктивное ощущение опасности перегруженной собою человеческой толпы, выработанное в митинговые годы перестройки). Казалось бы, что дурного в народных ликованиях по поводу новой книги культового писателя? Наоборот, есть повод для оптимизма: если читают его, значит, все еще что-то читают. Лев Пирогов совершенно справедливо писал в «Литературной газете»: «В отличие от выборов, хоккея, алюминиевой промышленности и других негативных вещей, литература существует для удовольствия». Откуда же это нехорошее желание поломать людям кайф и добавить столовую ложку дегтя в общественную бочку меда? Откуда ощущение, что лучше бы этих коллективных ликований не было вообще? Не иначе как зависть, сальериев комплекс, в котором честные фанаты давно подозревают, например, персонажей Букеровского процесса, ни разу не включивших в финальный список ни В. Сорокина, ни В. Пелевина, хотя, казалось бы, вот они, со своими новыми романами: бери и включай.

Наверное, из-за этой моей неприятной черты и произошла со мной довольно странная история.

В начале декабря 1999 года (даты не помню) на станции метро «Киевская» ко мне подошел человек лет сорока, в великоватой, валившейся за спину дубленке, в чем-то синеньком на худенькой шее; коротко стриженная щетинка на его аккуратном черепе была светлей, чем дегтярная бритая кожа на месте усов и бороды. На стандартные вопросы, не будет ли нам по пути и нет ли желания выпить кофе в одном уютном месте, были даны столь же стандартные ответы. И тут незнакомец, приблизив узкое лицо, на котором, точно муха на клейкой ленте, сидели небольшие модные очки, прокричал под грохот налетавшего состава: «А вы знаете, кто я такой? Я Виктор Пелевин!»

Это было бы еще не столь удивительно, но ровно через три дня недалеко от станции метро «Алексеевская» сцена повторилась почти буквально. «Позвольте представиться: Виктор Пелевин», — произнес довольно полный господин, добротнo упакованный в длинное темное пальто; улыбка его была располагающей, щеки блестели при свете из стеклянного павильона какой-то модной одежды. Господин заметно волновался, но волнение это было радостным: должно быть, он и сам в эту минуту проникался честолюбивой верой в то, что написал «Чапаева и Пустоту».

Разумеется, ни тот, ни другой Виктором Пелевиным не являлись. Настоящего Пелевина я видела только раз, еще в старом помещении издательства «Вагриус», в длинном коридоре, где классик выбрал для перекура то самое стратегическое место, где в былые времена непременно поставили бы ленинский бюст, и рисовался там в табачных сумрачных слоях, неясный, как луна в пелене посеребренных облаков. Однако общий физический очерк и моторика знаменитости сохранились в каком-то участке зрительной памяти и никак не совпадали с разношерстными обликами самозванцев. Тот второй, на Алексеевской, еще как-то мог

сойти за Пелевина, если на голову ему надеть капроновый чулок, но первый длиннотой и худобой никак не подходил на заявленную роль. В головах у самозванцев не было копируемого образца, и ни тот, ни другой не могли предположить, что он имелся у меня. Откуда взялись эти новые дети лейтенанта Шмидта? Может, это был какой-то новый, ставший модным, способ знакомиться на улице, но вероятней, что группой неуставленных лиц проводилась культурная акция, перформанс или съемка скрытой камерой. Не оставляю надежды, что в результате данной публикации дело отчасти прояснится. Со своей стороны заявляю, что, спрашивая у этих странных господ, кто такой Виктор Пелевин, я не имела целью оскорбить их лучшие литературные чувства. Это была небольшая проверка на педикулез, о сути которой — несколько ниже.

Насколько мне известно, сегодня в России существуют три писателя, аудитория которых представляют собой общественные явления, если не сказать — движения. Это: Виктор Пелевин, Владимир Сорокин, Борис Акунин. Последний присоединился недавно, однако сегодня партия его приверженцев, насколько можно судить, самая массовая и активная. Раскрутка романов о сыщике Фандорине должна со временем войти в учебники как образец успешного маркетинга в условиях, когда на книжном рынке проведение больших рекламных кампаний считается нецелесообразным. Достаточно сказать, что романы Б. Акунина, выпускаемые издательством «Захаров — АСТ», стоят на прилавках примерно вдвое дороже установившейся цены на книги аналогичного жанра, объема и типографского исполнения. Вплетение в «фандориану» новой серии с оригинальной идеей главной героини (монахиня в роли сыщицы — это будет покруче мисс Марпл) — тоже грамотный и эффективный маркетинговый ход.

Подобно тому, как в книжке про шпионов агент, встречаясь с резидентом, опознает последнего, наряду с другими приметами, по свернутому в трубку журналу, скажем, «Огонек» (что то же самое, по торчащей из кармана твидового пиджака газете «Таймс»), так по книгам Пелевина и Акунина, несомым в руках и читаемым в метро, свой видит своего. Мимолетный обмен взглядами, брошенными поверх обложек, создает подобие общности, своего рода избранности. Ситуация, когда ты читаешь роман, а рядом, след в след или чуть впереди по тексту, его же читает кто-то другой, имитирует обстановку клуба в самом, казалось бы, неподходящем месте: любители А. и П. приватизируют остановку общественного транспорта, вагон метро, а в ажиотажные дни, когда новинка от кумира впервые появляется на книжных лотках, целый город разом оказывается территорией единомышленников, несущих свежеприобретенные экземпляры, будто фестивальные флажки. С книгами Акунина и Пелевина также хорошо ходить на первое свидание: по отзыву на пароль сразу будет ясно, принадлежит Он или Она к твоему интеллектуальному кругу или не принадлежит.

Книги Сорокина в качестве уличного опознавательного знака работают не так эффективно — должно быть, потому, что просматривать публично такие вещи все же как-то неловко (о романтическом свидании речь, как вы понимаете, вообще не идет). Зато Сорокин — необходимый пароль в разговоре интеллектуалов: если пристойного Пелевина и тем более корректного Акунина люди традиционалистской ориентации все-таки способны воспринять (по моим наблюдениям, Акунин даже вербует перебежчиков из неприятельского стана), то кроваво-фекальные симуляции Сорокина им точно не по ноздре. Тут уж остаются исключительно *свои*: те, кто принимает как должное все неаппетитности мастера ради верности однажды выработанному интеллектуальному жесту. Для *своих* никакая критика в адрес вождя не значит ровно ничего: с их точки зрения, Сорокин по определению не может написать некачественный текст. Тот простодушный факт, что для презентации изобретенных Сорокиным деконструкций было бы достаточно вдвое меньшего количества единиц прозы (с моей точки зрения, было бы достаточно опубликовать «Сердца четырех», где весь прием во всех его стадиях и сочленениях полностью налицо), для *своих* совсем не очевиден. Можно охрипеть, доказывая, что прием, в отличие от манеры, исчерпаем и вообще надоел: и талант, и его поклонники будут стоять на своем. «Публика, которая — хоть кол теши — остается постмодернистской, отвечает, что избранный мэтром пафос симулятивного высказывания именно такое упорство и предпологает. Это, дескать, так же мудро и правильно, как повторять священное слово "ОМ"», — замечает Лев Пирогов в процитированной выше статье, которая остроум-

но называется «Книга о вкусном и здоровом сне. Три удовольствия Владимира Сорокина». В принципе, под любое литературное явление можно подвести изящное обоснование. В данном случае важно, чтобы обоснование было общим, общепризнанным, общеприятным и общедоступным. Иначе говоря, играло роль партийной платформы.

В *партийной* литературе перечисленных авторов присутствует нечто, объединяющее людей. Думаю, не случайно Вячеслав Курицын, идеолог постмодерна, много сделавший, чтобы вывести на орбиту писателей П. и С., еще в бытность свою в Свердловске организовал Уральское Холмсианское общество, что-то под А. Конан Дойля писавшее, что-то издававшее, и даже была брошена в массы такая инициатива: ходить по улицам с тростью. Шерлок Холмс, как известно, послужил одной из матриц для героя Б. Акунина Эраста Фандорина: в романе «Левифан» только ленивый не узнает дедуктивный метод, практиковавшийся на Бейкер-стрит. Шерлок Холмс всегда тождественен сам себе, сходство героя с самим собой воспроизводится автоматически при помощи набора узнаваемых признаков: трубка, скрипка, фирменное упражнение в проницательности на новом клиенте (прелесть заключается в том, что персона, несущая в клюве очередную загадку для великого сыщика, начинает выдавать свои секреты еще до того, как *сама* дернет за звонок у входа в квартиру и в сюжет). То же самое Фандорин: седые виски, голубые глаза, навык задерживать дыхание под водой, равная восприимчивость к техническим новинкам Запада и духовным системам Востока, — все это, накапливаемое от романа к роману, делает героя похожим на дом, который построил Джек. Постоянные признаки героя напоминают также гримировальные принадлежности: то и дело возникает ощущение, будто писатель наклеивает приметные усы и бакенбарды на гуманоидную, розовой материей обтянутую болванку. Но тем вернее и полнее воспроизводится на страницах романов гениальный сыщик: Б. Акунин, обладая очень неплохим литературным слогом, успешно борется со свойством языка как материала художественной прозы порождать и варьировать реалии текста. Тождественность героя самому себе магическим образом переносится и на читателя: принимаясь после «Азазеля» за «Турецкий гамбит», читатель ощущает самого себя как постоянную величину. Более того — он сознает себя тождественным и другим читателям Б. Акунина: тому способствует хотя бы культурный слой, отсылающий тех, кто понимает, к общему банку литературной информации. В результате люди тянутся друг к другу. По моим наблюдениям, поклонники Эраста Фандорина не только не жадничают по части книжек, но напротив — охотно предлагают их тем, к кому испытывают симпатию. Стремление заризать ближнего новомодной болезнью эрастоманией (отчасти изобретенной теми, кто раскручивал Б. Акунина) принимает поварные формы. Так растет и ширится «Партия любителей А.».

В разнообразной и занимательной политической жизни нашей страны есть по меньшей мере один аналог рассматриваемым здесь явлениям: я говорю о достославной (или уже достопамятной?) «Партии любителей пива». Общее здесь то, что пиво, как и литература, существует для удовольствия. И литературу, и пиво можно не особенно любить, можно и вообще не употреблять, однако быть принципиальным противником того или другого как-то несерьезно. Вообще там, где дело касается удовольствий, о вкусах не спорят, а если и спорят, то неагрессивно. В самой агрессии содержится приязнь к соседу по питейной стойке: да ты попробуй, как вкусно! Позвольте угостить вас пивом «Невское»! Пиво «Золотая бочка»: надо чаще встречаться! «Партия любителей» — вот что важно: культовый предмет, будь то пивная кружка или роман, служит поводом и посредником в налаживании добрых отношений между людьми.

Признаться, я не очень понимаю, какую роль упомянутая политическая партия сыграла в новейшей российской истории. Вероятно, она способствовала внедрению ряда фигур в политический истеблишмент; еще более вероятно, что на выборах разных уровней она выставляла кандидатов для сбора мелких пакетов акций, то есть голосов, дабы не дать противнику заполучить определенный законом о выборах контрольный пакет всего предприятия. Гораздо лучше понятна креативная стратегия ПЛП. Пиво нетоталитарно: оно не грузит человека идеологией, не требует ничего особенного ни от персоны, ни от ее кошелька. Можно не приязнаться на верность идее либо программе, которая выработана не тобой, а группой

товарищей: сугубо частного пристрастия индивида к популярному напитку достаточно, чтобы примкнуть к хорошей компании, то есть к организации. Пиво демократично: любой гуманоид, поправляющийся утром значенной «Патрой», может считать себя автоматически присоединившимся. Понятно, что «Партия любителей устриц и шампанского» предполагала бы гораздо более узкий круг посвященных (чем, вероятно, и являлся политико-пивной истеблишмент). Но в том-то и радость, что пиво не диктует человеку выбора между собой и чем-то еще: проведя сногшибательный (в буквальном смысле слова) вечер в крутом ресторане, можно утром для прояснения головы хлебнуть и пивка. С другой стороны, пиво как таковое предоставляет любителю широкий выбор возможностей: оно бывает темное и светлое, импортное и отечественное, дорогое и семирублевое (в ПЛП, насколько мне известно, существовали соответствующие фракции). Пиво, если угодно, демистифицирует политику: в своей программе, дистанцируясь от партий любителей Гайдара, Жириновского, Явлинского и прочих знаковых лидеров, ПЛП на место персоны ставит запотевшую пивную кружку с шапкой пены — и принципиально в структуре партии ничего не меняется, разве что жить становится веселей.

Литература, создаваемая культовыми писателями П., С. и А., по своим общественным функциям также является «пивом». С этой точки зрения становится понятной готовность фанатов Владимира Сорокина потреблять все новые и новые порции излюбленного продукта: пристрастия определились, и изменение рецептуры было бы подсознательно воспринято любителями С. как нарушение прав потребителя. Лев Пирогов, который для внятности дискуссии между традиционалистами и постмодернистами свел Сорокина к «принципу удовольствия», то есть к «сервировке» еды, секса и сна, почему-то упустил из виду, что однообразие текстов кумира может объясняться причинами чисто гастрономическими. В прозе maestro почитателям важно не новое и индивидуальное, но повторяемое и общее для всех. В одиночку надуваться пивом, так же как и «пивом», было бы нехорошо и нездорово, даже депрессивно, поэтому стремление любителей С. объединиться в партию более чем естественно. В «Политико-питейно-закусочной декларации» ПЛП имеется такая бодрая формулировка: «Знайте — только пиво объединяет и сплавливает людей, делает их жизнь яркой и наполненной смыслом!» Дух «Декларации» пронизывает и пивные (не политические, а коммерческие) рекламные ролики: их основная нота — душевность. Обратим внимание на то, как тонко, изысканной лентой Мебиуса, вписана реклама в «пивную» литературу: она и двигатель литературы в массы, и качаемая через нее эстетика, и предмет художественного исследования. Роман Пелевина «Generation “П”» еще преподнесет сюрпризы: постепенно обнаружится, что весь мир сегодня — это не палата номер шесть, а магазин «Путь к себе». Тексты Пелевина — стилиобразующий фактор жизни поколения, чьи интересы очерчены такими знаковыми вещами, как Кастанеда, наркотики и «буддизм» (последнее, извините, в кавычках). Пиво в программе ПЛП — также стиль жизни, со всеми присущими пиву положительными контекстами: досуг, безопасность, стабильность, закуска. Между прочим, ассоциативная связь между Пелевиным и ПЛП позволяет обнаружить, что читатели Пелевина — это уже не то поколение, которое выбирает «Пепси»: выбравшие пиво отличаются от так называемых «сникерсов» как минимум устойчивым навыком к рефлексии и к обсуждению, за пивом и орешками, кое-каких абстрактных понятий.

«Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя», — писал Владимир Ленин в той самой статье «Партийная организация и партийная литература», которую «Партия любителей М., Э. и Л.» твердила дольше, чем десять тысяч верующих могут повторять священное слово «ОМ». Без программной партийной оболочки этот газетный текст оказался настолько путанным и лишенным логики изложения, что я бы его не узнала, если бы не подчеркнутые карандашом знакомые цитаты. Ужель та самая «Партийная организация и т. д.»? Наверное, должен со временем найтись исследователь, который проанализировал бы приемы, благодаря которым Ильичу удавалось имитировать игру на многих досках против многих сильных противников, в действительности играя с самим собой в стремительные поддавки. Но не об этом речь.

Снова взяться за много раз «сданную» статью меня побудила уверенность, что этот говорливый текст должен проболтаться о чем-то таком, что сегодня не формулируется, но принимается по умолчанию. И точно: «В чем же состоит этот принцип партийной литературы? Не только в том, что для социалистического пролетариата литературное дело не может быть орудием наживы лиц или групп, оно не может быть вообще индивидуальным делом, не зависимым от общепролетарского дела». Насчет наживы — здесь автор статьи погорячился, но относительно индивидуального и общего оказался точен. Если и далее внимательно вчитываться в статью, то выясняется нечто любопытное: писатель, чтобы актуализироваться в сознании широкого читателя, должен быть каким-то образом связан с «делом», которое не совсем или совсем не литература. «Дело», или, как бы мы сказали сегодня, «проект», раскручивает писателя именно как «колесико и винтик» своего механизма (любопытно, что в голове у Владимира Ленина образовалась та же вращательная идея, что и у сегодняшних имиджмейкеров). Чтобы воспринять *своего* мэтра, аудитория сперва должна прийти к общим убеждениям (как минимум — к общей бытовой эстетике), которые поддерживались бы работами гения, но отнюдь не сводились бы к его индивидуальным результатам. Исключение, подтверждающее правило, — вот роль любого П. в партии любителей П.; все тонкости этого статуса можно понять, если проследить за противоречиями между стремлением сакрализировать мэтра и стремлением его приватизировать. Частичность писателя по отношению к идеологии и есть партийность литературы.

Что любопытно, ни А., ни С., ни П. не могут быть вождями партии любителей себя. Они — производители «пива», держатели брэнда, а «дело» делают другие люди: главным образом это критики и литературоведы, то есть, как сейчас принято считать, продвинутые писатели, пошедшие дальше своих малоактуальных собратьев-беллетристов. «Литераторы должны непременно войти в партийные организации», — говорится в ленинской статье. Что ж, так оно и есть: допустим, некий критик или беллетрист, положив руку на сердце, не может признать себя большим любителем П. и на этом основании желает остаться беспартийным. Не тут-то было: его немедленно зачислят к каким-нибудь патриотам, заподозрят в стремлении тащить и не пущать, ибо пикантность ситуации еще и в том, что победивший (всех и в том числе самого себя) российский постмодернизм по-прежнему сохраняет красивый вид оппозиционности как бы более могущественному реалистическому дискурсу. Между прочим, тот же самый прием характерен для ряда политиков, сохраняющих пафос борцов и оппозиционный шарм в таких кабинетах, где бороться надо, по идее, уже с самим собой. Политическая моложавость подобных лидеров не может быть обеспечена не чем другим, кроме как ленинской игрой с переворачиванием шахматной доски; забавы эти не безобидны.

Так же не безобидна и партийность современной нам российской литературы. Она представляет собой покушение на мою индивидуальность, или, если угодно, на мой индивидуализм. Я читаю В. Сорокина по обязанности критика быть в курсе; Пелевин мне любопытен, я уже имела случай писать, что этот своеобразный талант следует усредненным читательским ожиданиям, но контрабандой протаскивает в свои романы много хорошей литературы. Что же касается Б. Акунина, который не ограничился одним сортом текста, но устроил для нас целую детективно-пивную дегустацию (конспирологический, шпионский, политический и так далее детектив), то признаю: его книги доставили мне удовольствие. Но все равно не хочу вступать в «Партию любителей А.». И потому сейчас отплачу Акунину черной читательской неблагодарностью.

Что нужно сделать для того, чтобы, не вставая под знамена партийности, читать партийную литературу *для себя*? Видимо, нужно отделять общие эффекты от личных ощущений. Детективы Акунина действительно написаны хорошим слогом, но, чтобы это всех настолько поразило, требовался серый железобетонный фон современного российского триллера, по определению дешевого, потому что коммерческие издательства делают сегодня ставку на малобюджетные, наскоро спеленные сериалы. Правда, и в этом потоке попадает литература: многие интеллектуалы, преодолевшие брезгливость по отношению к жанру лишь при дружеской поддержке критиков, попросту не знают, что есть Сергей Алексеев, есть Анд-

рей Кивинов (о нем не надо судить по телевику «Менты», надо читать сами книги, действительно очень живые и остроумные); даже Полина Дашкова, в отличие от Александры Марининой, оказалась писателем. Понятно, что Акунин в этом ряду наиболее литературен — хотя бы потому, что современный детектив по большей части имеет дело с сырой сегодняшней реальностью, Акунин же занимается стилизацией и перегонкой литературного наследия. Читая его романы, ценишь эрудицию, вкус да и попросту то, что есть довольно занимательный сюжет и язык при этом не тупой.

Но все это общее, а я собираюсь — о личном. Я прочла четыре романа Акунина: «Азazelь», «Королевский гамбит», «Левиафан» и «Смерть Ахиллеса». В них *лично мне* понравились две вещи. Мне понравилось, как в одной сцене шелестит стена ночного, слабо освещенного дождя, и маленький фрагмент дневника одного несчастливового японца, напомнивший мне лучшие места из Милорада Павича: «Воюя с мужчинами, применяй мужское оружие, а воюя с женщинами — женское. Вот самурайский кодекс чести, и в нем нет ничего гнусного, потому что женщины умеют воевать не хуже мужчин». Немного цапнуло то, что самурай наедине с бумагой, кисточкой и тушью оправдывается перед европейским взглядом на вещи. Но это не стерло прелести фрагмента, более поэтичного, чем приведенное ниже в том же дневнике стилизованное хайку.

Однако сюжеты Б. Акунина, снискавшие столько похвал, оказались для меня чересчур замысловаты: танцу все время мешали какие-то лишние ноги. Конкретный пример: юный Фандорин, только что изъязвивший у противника портфель с важными документами, отсиживается в зловонной глубине лондонских трущоб. Он уже выслежен, сдан осведомителем, как говорится, с потрохами, он спит в сомнительной гостинице, проникнуть в номер — плевое дело. Казалось бы: приезжай, бери его, сонного, по-тихому, выясняй, где припрятан портфель (если он вообще припрятан), затем опять-таки по-тихому топи в реке образовавшийся труп. Однако негодяи посчитали ниже своего достоинства действовать слишком просто и создали себе дополнительные трудности, усилив группу захвата самодельным привидением. Им понадобилось натереть свою предводительницу очень вредным для кожи фосфором, взгромоздить ее к окну беспомощно дрыхнувшей жертвы, что само по себе было непросто, разбудить Фандорина стуком в стекло, — при том, что выход из гостиницы был обложен слабо, и не окажись герой, по воле автора, таким слаботонервным, он бы запросто мог воспользоваться эстрадным номером неприятеля в своих сюжетных интересах. Этот и аналогичные эффекты вызвали у меня, наряду с предусмотренными автором литературными ассоциациями, ассоциации непредусмотренные.

«Что же в этом чувствуется такое знакомое?» — спросила я себя, когда привидение, обжав гостиницу, все-таки привело своих головорезов в конуру героя, где все это время преспокойно находился портфель. Тут же в памяти всплыла любимая с детства история, как Том Сойер и Гекльберри Финн освобождали негра Джима из сарая мистера Фелпса. Гек Финн, паренек незамысловатый, склада скорее практического, нежели романтического, предложил идти напрямую к поставленной цели: оторвать от стенки хлипкую доску, снять цепь, приподняв для этого ножку кровати, и попросту смуться. Однако Том, читавший очень много книг, этот грубый план забраковал. Чтобы все получилось по правилам, то есть как в романах, следовало сначала вырыть подкоп, затем воспользоваться веревочной лестницей, упасть в несуществующий ров, сломать там ногу и только после этого бежать с плантации непременно в Лангедок. Каждый этап подготовки побега следовало стилизовать, чего Гек Финн не понимал, а Том Сойер ему разъяснял: «Где же это слышано, чтобы заключенных освобождали таким доморощенным способом? Нет, все авторитеты говорят в один голос, что надо ножку перепилить надвое и так оставить, а опилки проглотить, чтобы никто не заметил, а ножку замазать грязью и салом, чтобы даже самый зоркий тюремщик не мог разглядеть, где пилили, и думал, что ножка совсем целая. Потом, в ту ночь, когда ты совсем подготовишься к побегу, пнешь ее ногой — она и отлетит; снимешь цепь — вот и все». Бедному Джиму тоже предстояло немало работы: вести дневник узника, выбивать на камне (для этого в деревянный сарай специально притащили жернов) трогательное изречение и фамильный герб... Видимо, по складу ума я ближе к Гекльберри Финну, поэтому не все проблемы и труды Фандорина оказались мне понятны. Наверное, Том Сойер был стихийным постмодернистом, готовым ради успеш-

ного перформанса есть железные опилки. Вопрос: был ли постмодернистом сам Марк Твен?

«Это будет свободная литература, потому что она будет служить... миллионам и десяткам миллионов трудящихся, которые составляют цвет страны, ее силу, ее будущность», — писал Владимир Ленин в упомянутой статье. Позволю себе возразить: хорошо это или плохо, но при десятиллионных тиражах писатель гораздо менее свободен от своего читателя, нежели при тиражах двухтысячных. В этой несвободе есть своя волнующая прелесть и свое достоинство; даже тридцатитысячный читатель уже представляет собой достаточную массу, чтобы писатель ощущал ее устойчивую гравитацию. И вот тут начинают происходить вещи поистине удивительные: чем более писатель становится кумиром и «стилем жизни» своих читателей, тем явственнее его аудитория стремится осознать себя коллективом. Это стало особенно заметно, когда инструментом поиска единомышленников сделался Интернет.

Делать жизнь с любимого писателя — стремление по-человечески понятное. Преданные ученики Стругацких пишут продолжения их сочинений, читатели Толкиена устраивают битвы на деревянных мечах. Любители Виктора Пелевина осознают себя героями его романов и ценят мэтра за то, что он пишет «про них». От такого ментального вхождения в текст до осознания себя автором текста (то есть уже собственной жизни) не такой уж великий скачок. «Виктор Пелевин — это я» — вот формула, к которой подсознательно приближаются многие и к которой, видимо, пришли те двое, о которых было сказано в начале данного эссе. Вопрос «Кто такой Виктор Пелевин?» был задан им для того, чтобы проверить полноту перевоплощения. Окажись кто-либо из двоих хоть в какой-то мере «настоящим Пелевиным», он, будучи литературным буддистом, должен был ответить, что никакого Виктора Пелевина не существует. С точки зрения заявленной писателем системы в ряду самозванных копий вопрос о «подлинном», «настоящем» Пелевине просто не стоит. То есть можно вообразить, как писатель растворяется в массе своих любителей, будто кусочек сахара в стакане чаю. Еще более точно процесс описан у самого популярного классика: «А дальше висел щит раза в два шире остальных и очень длинный — метра, наверное, в три. Он был двухцветным: справа, откуда я медленно шел, — красным, а дальше — белым, и делила эти два цвета набегающая на белое поле рваная волна, за которой оставался красный след. Я сначала не понял, что это такое, и только когда подошел ближе, узнал в переплетении красных и белых пятен лицо Ленина с похожим на таран выступом бороды и открытым ртом; у Ленина не было затылка — было только лицо, вся красная поверхность за которым уже была Лениным; он походил на бесплотного бога, как бы проходящего рябью по поверхности созданного им мира».

Впрочем, превращение в рябь Виктору Пелевину пока не грозит: оба моих собеседника не прошли тестирования, потому что оба обиделись.



Владимир БЕРЕЗИН

Левая и экстремальная литература

Время сейчас такое: понятия мешаются и путаются. Термин «левый» сливается с термином «авангардный», «экстремальный» — с «экспериментальный». Но речь пойдет о той части массовой культуры, которая необязательно экспериментальна по форме. Слишком многое было уже придумано раньше — дадаистами и некрореалистами, ЛЕФом и сюрреалистами, постмодернистами — да, в общем, кем угодно.

Интерес обывателя к экстремальным течениям не угасает, в том числе и к литературным течениям политического толка. Этот спрос вечен, как спрос на фильмы ужасов.

Между тем левой литературы сейчас нет. Ее нет в том смысле, который применялся к ней еще двадцать — тридцать лет назад. Есть литература левацкая. В этом слове нет ничего уничижительного. Просто писателей-коммунистов видно плохо, а писатели-экстремисты видны гораздо лучше. Неважно, какой революции они солдаты — политической или сексуальной.

Сначала левая литература была повязана с МОПРОм, сжатым у виска кулаком «рот-фронта», войной в Испании и трагическим выбором европейской интеллигенции — драться с Гитлером вместе со Сталиным или так, самим по себе. Потом левая литература ассоциировалась с антивоенным движением, с противостоянием двух систем, с борьбой против расовой дискриминации.

Сейчас эти движения души стали вполне буржуазными понятиями, а романтический флер терроризма — частью масскульта.

У нас страшная прививка от революционного романтизма — и это не гражданская война, не красный террор восьмидесятилетней давности. Эта прививка — окружающая действительность.

Романтики попробовали себя в локальных войнах, и оказалось, что война — довольно угрюмое и грязное в прямом смысле этого слова дело. Нет того, о чем писал Лимонов в «Дневнике неудачника»: «...И вдруг очнешься на своей-чужой улице в костюме от Пьера Кардена, с автоматом в правой руке, с мальчиком — другом тринадцати лет — слева, сжимаешь его за шею, полуопираясь на него, — идете в укрытие, и это или Бейрут, или Гонконг, и у тебя прострелено левое плечо, но кость не задета.

Изучаемый новый чужой язык, стрельба по движущимся мишеням, бомбежка. Надо быть храбрым, этого от нас хочет история, хочет несчастный кровожадный всегда народ, надо быть храбрым и отчаянным — Эдичка Лимонов, надо, брат, надо!»

Оказалось, что бронетехнику надо уметь водить, ящик рации чрезвычайно тяжел в горах, а разреженный горный воздух не насыщает легкие.

Те же восемьдесят лет назад, после первой гражданской, то есть после той гражданской войны, которая долго была единственной, Виктор Шкловский сказал фразу, которую я повторяю неоднократно: «Много я чего видел, — впечатление такое, что был в дырке от бублика. А война состоит из большого взаимного неумения».

Итак, романтиков повыбили быстро — их знания ограничивались школьной сборкой-разборкой автомата Калашникова. Им на смену пришли местные жители и профессионалы — летчики и танкисты. Но то в горах.

В городе происходит другое. В городе происходит перемещение экстремизма в эстетическую жизнь, потому что даже политика — это шоу.

Придумать сейчас что-то новое в искусстве очень сложно. Даже кажется, что все уже придумано — об этом уже сказано. Поэтому людей, делающих в нем карьеру, часто посещает мысль: можно что-то разломать. Заменить слова действием или информационным поводом. Это очень помогает нравиться — толпе, товарищам, девочкам. А девочкам это помогает встать в один ряд с мальчиками. Чем обреченнее дело — тем лучше, хотя потом наступает всё то же — взаимное неумение и продажа. Причем каждый раз революция называется последней и решительной.

Убивать и мучить людей из соображений политических или эгоистических в деревне или в городе ничем не лучше, чем убивать их на войне.

Романтики в экстремизме нет — это коммерческое предприятие. И современная революция — коммерческое предприятие. Марксовы законы неколебимы в этой лакуне, где гексоген стоит дешевле героина. Правда, подсесть на него сложнее. Но зато и соскочить с этой иглы тоже невозможно.

Одноразовые мальчики, участвующие в современной революции, — это политический капитал, тот, что по сути является экономическим. Он приносит прибыль.

Западное общество давно научилось превращать терроризм в изящное зрелище — получать прибыль на романтизме. Левацкая книга может очень хорошо продаваться, она безопасна, как вирус гриппа для уже переболевшего человека. В конце шестидесятых, в семидесятых годах она еще давала обострение, впрочем, не смертельное.

В России ситуация иная — прививки от левацкого экстремизма она не получила. Он еще вполне романтичен, его эстетика, слава богу, давно проверялась кровью по-настоящему.

Поэтому и давнишние западные идеологические книжки снова выплыли на поверхность, такие, как «Поваренная книга анархиста» Уильяма Пауэлла, где есть Хо Ши Мин, схема зажигания автомобилей «пежо» до 1964 года выпуска, рецепт приготовления наркотиков и тетрила на кухне, руководство по подрыву рельса и переделке дробовика в гранатомет, но нет, правда, автомата Калашникова.

Популярность этой книги была связана с ее романтичностью.

Тогда, двадцать — тридцать лет назад, люди взрослые на контркультуру смотрели с недоумением. Де Голль говорил про гошистов: «Это мальчики, которые не хотят учить уроки». Де Голлю потом пришлось уйти в отставку, а общество переварило левые идеологии.

Русский бунт переварить невозможно.

Сначала молодые люди делают революцию, предварительно романтизировав этот процесс. Мы теперь знаем, что она делает с ними. Их кончают в оврагах, яростных и непохожих, — их убивает тот революционный народ, во имя которого они сами убивали сатрапов. Если они выживают, то их убивают позднее — гиблой работой на лесоповале или пулей, если они слишком информированы.

Размышления о революционной целесообразности унылы и скучны, если предаваться им в бараче. Там уже никто не восхитится давней фразой поэтессы Витухновской: «Незачем знать врага в лицо, когда ему можно стрелять в спину». Там не до эстетики.

Русской литературе словно брошен вызов. Капитализм нехорош, система политической и персональной корректности внушает опасения, и вместе с тем радоваться насилью нечего.

Ну а теперь перейдем к примерам. Этих примеров будет два, и они интересны тем, что вот прошло несколько лет, и время смыло те *информационные поводы*, которые сопутствовали текстам.

Была такая книга со странным названием «ТНЕ». И был такой бородатый анекдот — про экзамен по английскому языку.

«— Текст понятен? — спрашивает экзаменатор.

— Да, — отвечает студент. — Все понятно. Не понял одно только слово. Вот — “тхе”».

Автора книги «ТНЕ» еще долго будут путать с другим Алексеем Цветковым, тем, что по радио «Свобода» сказал как-то: «Человечество за время своего существования преуспело только в том, чтобы убивать и мучить друг друга».

А я помню младшего Алексея Цветкова, о котором идет речь, лет пять назад. У него была такая шевелюра, что иногда он делал из своих волос на столе подушечку и спал, положив на нее голову. Был он малого роста. За ним волочилось придуманное наречие «контркультурно» — замена слову «клёво», знак наивысшего одобрения. Под мышкой был зажат Маркузе. Говорить с ним было интересно.

Много лет назад мы с университетским приятелем читали роман Мерля «За стеклом» — единственное произведение, в котором говорилось о 68-м годе, о го-

шистском мордобое и западных леваках. Тираж этой книги, будто в пособии для служебного пользования, указан не был. Это было странное чтение. Чужая жизнь, полная политических событий, казалась сказкой в нашем безвременье. Я вспоминаю об этом потому, что до сих пор о западных левых у нас весьма смутное представление — несмотря на то что переведены уже десятки книг о них, книг художественных и научных.

«ТНЕ» так же сложно пересказать или откомментировать, как и просто выговорить», — замечал Эдуард Лимонов в предисловии. Кстати, в то время Лимонов демонстративно отказался от литературы в пользу политики. Употребление иностранных слов в этом смысле весьма показательно. Каждый хочет свою образованность показать. Специфика современных леваков в том, что в текст вклиниваются английские слова — слова, импортированные из рок-музыки и компьютерного сленга.

Собственно иностранного языка молодые люди, как правило, не знают.

Письменная и устная речь Алексея Цветкова не страдала переизбытком этих слов. Не страдала она и переизбытком сюжета. Сюжета не было, были его фрагменты — изотропный текст с игрой метафор. В них отзвук говорка из романов братьев Стругацких — не по заимствованности, а по проговариванию своего внутреннего языка. «Их не могло быть по мнению моей смерти только в Москве (дракон знал свое дело), где я спрятался через столько лет и беседовал на зимней даче с господином Андроповым, тогда еще не назначенным главным солдатом холода».

Синтаксис этой книги был вполне контркультурен — половина запятых расстреляна. Все это симптоматично — Цветкову было тесно в литературе, он синтетичен, и у него были особые отношения с изображением. Кстати, в придуманной Цветковым стране запрещено фотографировать живых — да это у талибов совсем и не метафора. Цветков вообще графичный автор. Недаром он рисовал особые политические дорожные знаки. Знаки эти были затейливы и вполне анархичны. А на обложке определенный артикль превращается в бегущее строчкой «нет».

Так экстремальная литература перерождается в синтетическую жизнь, где иллюстрация равнозначна тексту, где эстетические интенции равнозначны политической борьбе.

На вопрос, определенный ли это путь, следует отвечать «тхе».

Был и другой автор, куда более известный, — Алина Витухновская. Витухновская неясным образом была связана с национал-большевистской партией. Не то дружила, не то враждовала с ней. Понять это было невозможно.

Важнее была другая мысль — мысль о норме. Не о той, о которой часто говорили тогда, не о романе, где норма в кавычках. Одна женщина сказала мне как-то: «Я не настоящий писатель — уж больно я нормальная». Она оказалась права. Мне нравилась мысль о норме, о нормальной жизни — в противовес хеппенингу. Собственно мысли — в противовес акции. Жизни в противовес смерти.

Я видел Алину Витухновскую у нее дома — не одну, а с какой-то свитой. Вся в черном, со странным цветом лица, она говорила о смерти. Она говорила о ней странно и слишком много. Витухновская тогда уже превратилась из литературной фигуры в общественную. Волею судьбы я даже приложил руку к ее освобождению из следственного изолятора.

На одном писательском мероприятии на сцену вышел литературный человек и зачитал требование ее освободить. Потом, не поднимая головы, произнес: «Кто «за»? И, так же не поднимая головы, заключил: «Единогласно».

Я там был и припомнил, что такие вещи я видел много лет назад. Тогда я освобождал из империалистических застенков курчавую американку Анжелу Дэвис. Мне такая преемственность не понравилась. Но закон есть закон, и если все-таки выпустили — значит, выпустили.

И вот теперь она говорила о смерти.

А я в этот момент вспоминал роман, где Хемингуэй тоже вглядывался в лицо собеседника и про себя бормотал о человеке, отмеченном печатью смерти: «Хочешь одурачить меня своей чахоткой, шулер. Я видел батальон на пыльной дороге, и каждый третий был обречен на смерть или на то, что хуже смерти, и не было на их лицах никаких печатей, а только пыль. Слышишь, ты, со своей печатью, ты, шулер, наживающийся на своей смерти. А сейчас ты хочешь меня одурачить. Не одурачивай, да не одурачен будешь».

Это одурачивание происходит быстро, не без помощи друзей и не без помощи инертного общественного мнения. Люди играют в политику по принципу «Кто не против нас, тот с нами».

Тогда имена скакали из «Лимонки» в «Завтра», от эстетских глянцевого журналов к дурно напечатанным на гектографе и криво сшитым изданиям.

Про Витухновскую говорили примерно так: «Наркотики — такой же хороший предлог для сегодняшних чекистов, каким было изнасилование для чекистов 70-х. Дело Алины Витухновской — полигон, где отрабатываются старые политические технологии и заново вводится в эксплуатацию карательная психиатрия».

Связывать имя Витухновской с давней историей о наркотиках или нет — в рамках этого текста выяснять безнравственно. Для таких суждений нужно досконально знать предмет, изучать уголовное дело.

Важно то, что поэт подменяется некоей социальной функцией. Он превращается в банку с консервами на нью-йоркской выставке, в дюшановский унитаз. Его слова уже не видно. Он растворен в хеппиннге, законы построения которого не отличаются от любой другой рекламной акции.

Между тем именно о стихах надо говорить, если человек называет себя поэтом. Мнения всегда субъективны. Как говорил один хороший поэт: нельзя всё рифмовать со всем. Он говорил так именно потому, что, если всякий образ, валяющийся на дороге, сопоставлять с любым другим, увиденным рядом, смысл поэзии теряется.

Но для хеппиннга это неважно. Важен лишь ряд скандализированных образов. Спорить о стихах становится бессмысленно.

А потом пришло время иных войн. И иных взрывов, которые уже не звучали, как хлопушки на празднике. Взрывов, которые убивали людей десятками и сотнями — и отнюдь не гигиенически. Когда раздался первый из них, еще можно было пошутить, раскидать листовки от имени «Союза революционных писателей». Потом шутить стало уже невозможно, и главный революционный писатель сбежал в Чехию. Страшная действительность победила эстетическую составляющую экстремальной литературы.

К чему мы приходим в итоге? К нескольким интересным выводам: в отсутствие настоящей левой литературы возникает литература левацкая, экстремистская. Эта литература рождена массовой коммерческой культурой, маргинальной жизнью больших городов. И, по сути, это не литература. Это более или менее успешные PR-акции, не связанные с текстами, быстрое тасование информационных поводов, предназначенных для того, чтобы заинтересовать обывателя. Привлечь его, как привлекают фильмы ужасов по телевизору. Вкусный ужин, жена под боком, кровавое месиво на экране.

А выход — в личной ответственности, по крайней мере в понимании своего предназначения. В рациональном понимании экстремистской эстетики. В ее анализе.



Языковой глобус одной шестой части суши, окруженной морями и мифами

Все началось тогда, когда у слова появилось второе значение. Разумеется, это никоим образом не относится ко времени, точнее, к отсутствию времени, когда было только Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, как вспоминают мемуаристы, ибо множественности значений у такого слова быть не могло, лишь единственное и всеобъемлющее.

Второго значения не было и тогда, когда к первому человеку подогнали всех имеющихся рыб, зверей и птиц, чтобы тот присвоил им названия, чем и утвердил их сущность. Слово «козел» не имело еще никакого обидного смысла, потому что, собственно, дабы возникнуть, безыменное, хоть не безвидное, животное требовало именованья, а, получив его, именем бы скрепило сумму свойств, уже у него имевшихся.

(В скобках поясню: пока у того же — возможного и потенциального — «козла» не имелось имени, какие-либо определения, будто бы перечислявшие его признаки: «вонючий», «паршивый», «кривобокий» и далее,— могли относиться и к нему, и к любому другому животному и предмету. Почему не баран или дом?)

Пауза на раздумье.

Проверь себя и своих близких!

Конкурс «Маска, маска, я тебя знаю»*.

Условия конкурса. Попробуйте узнать, кто скрывается за той или другой языковой маской, и разоблачить их. Каждая разоблаченная маска приносит участнику один балл.

1. Архитектор перестройки — ...
2. Солнечный клоун — ...
3. Король футбола — ...
4. Калужский мечтатель — ...
5. Трибун революции — ...

И вот пришел момент, когда самые разнообразные невыигрышные качества возникали в сознании только при упоминании короткого слова «козел». Появилась возможность манипулировать этим словом, употребляя его не в прямом, а в переносном смысле.

Так вот, имея в виду все сказанное, следует утверждать, что второго значения не существовало и тогда, когда Адам и Ева обустроивались в раю. Трудно согласиться с трактовкой словаря, будто бы имена эти означали по-еврейски соответственно «человек» и «жизнь». Еврейского языка покуда не было, и, следуя за обыкновенной логикой, следует признать: имена их являлись набором звуков.

Сказанное равно относится и к детям Адама и Евы. И Авель, и Каин за исключением имен не имели никакого отличительного знака, даже профессии: их занятия вернее назвать функцией, ведь ни «первочеловек», ни «жена первочеловека», ни «дети первочеловека» — не профессия.

В отсутствие товарных — чего там денежных — отношений Каин возделывал землю и Авель пас скот на общее благо, то бишь пропитание. Недоразумение возникло, когда принесенным в жертву продуктам скотоводства было отдано предпочтение перед принесенными в жертву плодами земледелия.

Донельзя обиженный земледелец с чувством воскликнул:

— Ах ты, проститутка! — имея в виду Авеля (но слово это ни в коем случае не относилось к нему впрямую, подразумевались скорее конкурентоспособность, «про-

* Материалы для вопросов доставлены стараниями издательства «Русский язык».

дажность» и «легкая доступность» его продукции), и ударил брата. Так возник и немедленно разрешился не просто первый конфликт между товаропроизводителями различных отраслей, так возникло ранее не существовавшее второе значение слова, значение переносное и художественное. И будто, чтобы не перепутали слово с каким-нибудь личным именем и не приписали свойств, закрепленных в этом слове, конкретному носителю, конкретный носитель был бесповоротно уничтожен. Так возникла первая древнейшая профессия, ведь слово, имеющее не прямое значение, сделалось немедленно нарицательным, определяющим.

Конфликт же этот наблюдал представитель второй древнейшей профессии — журналист, сделавшийся таковым, когда репортаж об увиденном по горячим следам был опубликован в Книге Бытия.

Более того, не прямое, переносное и тем художественное значение слова развивалось куда бойчей прямого значения. Причиной явилась и естественная (впрочем, иногда противоестественная) страсть к украшательству, и отвращение к опостылевшей прямоте. Ведь если простота, по народному речению, хуже воровства, то прямота куда хуже бандитского нападения с применением оружия.

Пауза на раздумье.

Конкурс «Не все то золото, что блестит»*.

Условия конкурса. Оцените то или иное золото, предварительно разгадав, что скрывается за каждым названием. Ответы оцениваются: 2-й пункт — три балла, 5-й пункт — два балла, 8-й пункт — два балла, остальные пункты — по одному баллу.

1. Ароматное золото — ...
2. Белое золото — ..., ..., ...
3. Голубое золото — ..
4. Живое (мягкое) золото — ...
5. Зеленое золото — ..., ...
6. Коричневое золото — ...
7. Сладкое золото — ...
8. Черное золото — ..., ...

Переносное значение, языковая бижутерия и разного рода литературные тропы разрешали коснуться сущности, минуя кажимость и мнимость всякого рода акциденций. Они позволяли резать любую правду-матку принародно, не тревожась о юридических последствиях. Например, позвать автора по фамилии совсем не то же, что назвать его автором того или иного произведения. После блистательной системы контраргументов, выдвинутых Н. В. Гоголем в «Ревизоре», никакой адвокат не докажет, что именованная «автор “Братьев Карамазовых”», «автор “Дон Кихота”» и «автор “Недоросля”» относятся соответственно к Достоевскому, Сервантесу и Фонвизину. Всегда есть другой роман «Юрий Милославский», и этот-то наверняка тот.

Опять-таки, коли придет желание поддеть словесно города Бангкок (Таиланд), Икитос (Перу), селение Ганвье (Бенин), Вилково (самостийна Украина), Брюгге (Бельгия), а также Ленинград (Санкт-Петербург) и Копенгаген (Дания), достаточно назвать их Азиатская Венеция, Амазонская Венеция, Африканская Венеция, Украинская Венеция или Венеция Северная.

Но со временем стало происходить нечто загадочное и правомерное. Переносное значение теряло свою переносность, все более обретая очертания, массу и прочие характеристики реального предмета. Отчасти происходило так потому, что заделы были культурные архетипы. Вот пример: перифраз «морская (подводная) аптека», зафиксированный в восьмидесятых — девяностых годах прошлого века, использован был еще в тридцатых годах, а корни его раскидывались в веке позапрошлом (герой советского пикареского романа «Похождения факира» любил рассказывать идиотские анекдоты, почерпнутые в печатном сборнике: «Врач на одном голландском корабле обыкновенно предписывал больным вместо лекарства пить морскую воду. По несчастью, случилось этому врачу упасть в море. При всеобщем смятиении и старании спасти врача один из матросов спросил товарища своего о случившемся. Тот, мигая глазами, как будто глаза его запоросило песком, и скребя голову, отвечал хладнокровно:

— Доктор наш упал в свою аптеку»).

Пауза на раздумье.

Конкурс «Я другой такой страны не знаю»*.

Условия конкурса. Исходя из ваших познаний в геополитике, а также работ Го-

* Материалы для вопросов доставлены стараниями издательства «Русский язык».

бино, Розенберга и других этнологов, попытайтесь ответить, какая, собственно, страна имеется в виду под каждым конкретным номером. Ответ на 18-й вопрос оценивается 1 2/3 балла, ответ на 20-й вопрос в шестьсот шестьдесят шесть баллов, остальные ответы — в лучшем случае по одному баллу.

1. Страна ацтеков — ...
2. Страна Белого слона — ...
3. Страна викингов — ...
4. Страна восходящего солнца — ...
5. Страна вулканов — ...
6. Страна гейзеров — ...
7. Страна изумрудов — ...
8. Страна кедров — ...
9. Страна кенгуру — ...
10. Страна кленового листа — ...
11. Страна орлов — ...
12. Страна пирамид — ...
13. Страна семи тысяч островов — ...
14. Страна снежного человека — ...
15. Страна тысячи вод — ...
16. Страна тысячи озер — ...
17. Страна тюльпанов — ...
18. Страна утренней свежести — ...
19. Страна фьордов — ...
20. Страна детства — ...

В случае, если архетип не получал должного воплощения в литературном тропе, название оказывалось мертворожденным и не закрепляло должных свойств. Так, из двух перифраз «зеленый змей — алкоголь» и «огненный змей — комета», несомненно, более живуч первый, ибо змей как персонаж зафиксирован еще в Библии. Во втором случае присутствует некое «смысловое биение», змей летающий — скорее дракон и наверняка связан не с космосом, а с хтоническим началом.

Что поделаешь, времена текут и протекают, слово меняет дело и наоборот. Уходят моды и их носители, и если раньше закидывали шапками, теперь закидывают зелеными беретами. Да и одна шестая суши уменьшилась, и впору называть ее более скромно — одной шестой суши. Все эти соображения пришли мне в голову при пролистывании книги А. Б. Новикова «Словарь перифраз русского языка. На материале газетной публицистики» (М., 1999), книги очень по-своему замечательной.

Итоги конкурсов.

Если вы правильно ответили на все вопросы и набрали максимальное количество баллов, вам можно с головой идти в журналистику. При правильных ответах только на вопросы конкурса «Я другой такой страны не знаю» вы можете стать лишь журналистом-международником, при ответах на вопросы конкурса «Не все то золото, что блестит» вам придется выступать в СМИ по проблемам народного капиталистического хозяйства, при верных ответах на вопросы конкурса «Маска, маска, я тебя знаю» вы, несомненно, эксперт-политолог.

Список использованной до конца литературы

- Джоан Комэй. Кто есть кто в Ветхом Завете с Апокрифами. М., 1998.
 Энциклопедия символов, знаков, эмблем. М., 1999.
 Сочинения Н. В. Гоголя. Съ портретомъ Н. В. Гоголя и съ біографическимъ очеркомъ, составленнымъ В. И. Шенрокомъ. СПб., 1901.
 Всеволод Иванов. Собрание сочинений в восьми томах, том четвертый. М., 1975.

ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ МОСКВОШВЕЯ



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ «ОКТЯБРЬ» НА 2001 ГОД!

Подписные индексы нашего журнала в каталоге Агентства «Роспечать»:

для Российской Федерации — 73293;

для стран СНГ — 79209;

для Российской Федерации (годовая подписка) — 72375.

В первом полугодии 2001 года каталожная цена на один месяц:
для подписчиков Российской Федерации — 39 руб. 50 коп.;
для подписчиков стран СНГ — 53 руб. 50 коп.;
годовая подписка (для подписчиков РФ) — 474 рубля
плюс стоимость доставки.

В редакции можно оформить подписку на «Октябрь» по льготной цене и приобрести отдельные номера. Выдача и продажа журналов производятся ежедневно с 12.00 до 17.30, кроме субботы и воскресенья.

Справки по телефону: 214-31-23.

Распространением журнала «Октябрь» в Российской Федерации и за рубежом занимается НПО «Информ-система»: тел.: (095) 127-91-47, факс: (095) 124-99-38.

Распространением журнала «Октябрь» только за рубежом занимаются:

американская фирма «Ист Вью Пабליкейшенс» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 777-65-58, факс (095) 318-08-81);

государственная внешнеторговая фирма «Наука-экспорт» Академцентра «Наука» Российской академии наук (State Foreign Trade Company «NAUKA-EXPORT» of «NAUKA» Akademizdatcentre of the Russian Academy of Sciences. 90, ul. Profsojuznaja, Moscow 117864, Russia. Telefax (095) 334-74-79, (095) 334-71-40). E-mail: nauka@naukae.msk.ru.

В розницу наш журнал можно приобрести в московских книжных магазинах:

«Ad marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., 5/7;

«Библио-Глобус» — Мясницкая, 6;

«Гилея» — Б. Садовая, 4;

Литературный клуб «Графоман» — 1-й Крутицкий пер., 3;

Книжная лавка при Литературном институте им. М. Горького — Тверской б-р, 25;

Книжно-нотный салон «Летний сад» — Б. Никитская, 46;

«Мир печати» — 2-я Тверская-Ямская, 54;

ЗАО «Согласие» — ул. Бахрушина, 28;

«Эйдос» — Чистый пер., 6.

Читайте в следующем номере

третью книгу
исторического повествования

АНАТОЛИЯ АНАНЬЕВА

*«ПРИЗВАНИЕ РЮРИКОВИЧЕЙ, или
ТЫСЯЧЕЛЕТНЯЯ ЗАГАДКА РОССИИ»:*

«Мир человеческого бытия, как и мир растений и животных, интересен и красен прежде всего своим разнообразием, и если бы кому-либо вдруг пришло в голову реформировать или, вернее, упростить это разнообразие, скажем, до двух знаковых видов, то есть оставить волков, пожирающих овец, и овец как необходимый корм для волков, то такого преобразователя назвали бы не иначе как сумасшедшим; однако то, что происходит в действительности с человечеством и именуется глобализацией (по крайней мере не так вызывающе звучит, как идентичное: «унификация» или «мировое господство»), хотя и напоминает приведенное реформирование, ни у кого пока еще не вызывало и не вызывает ни серьезных опасений, ни решительных протестов; напротив, унификация бытия, когда людские сообщества лишаются своих самобытных, национальных корней жизни, многими воспринимается как спасение от трудных условий жизни».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

*До конца 2000 года и в 2001 году
«Октябрь» предполагает опубликовать:*

Анатолий АНАНЬЕВ. Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России. Книга третья.

Петр АЛЕШКИН. Время великой скорби. Роман.

Алексей ВАРЛАМОВ. Роман.

Николай КЛИМОНТОВИЧ. Далее везде. Роман.

Афанасий МАМЕДОВ. Повесть.

Нонна МОРДЮКОВА. Записки актрисы.

Юнна МОРИЦ. Книга «Рассказы о чудесном».

Стихи.

Анатолий НАЙМАН. Сэр. Роман.

Юрий ОЛЕША. «Прости меня, Суок, что значит вся жизнь». Письма Ю. Олеши к жене.

Владислав ОТРОШЕНКО. Рассказы, эссе.

Олег ПАВЛОВ. В безбожных переулках. Роман.

Рассказы и статьи из новой книги.

Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. Рассказы, сказки.

Евгений ПОПОВ. Повесть. Рассказы.

Михаил РОЩИН. Рассказы.

Павел САНАЕВ. Детский мир. Роман.

Ольга СЛАВНИКОВА. Бессмертный. Повесть.

Антон УТКИН. Роман. Рассказы.

Сергей ЮРСКИЙ. Пробелы. Продолжение новой книги.

А также новые произведения Петра АЛЕШКОВСКОГО, Юрия БУЙДЫ, Игоря ВОЛГИНА, Александра ВОЛОДИНА, Фридриха ГОРЕНШТЕЙНА, Нины ГОРЛАНОВОЙ, Анастасии ГОСТЕВОЙ, Владимира КАНТОРА, Анатолия КИМА, Михаила ЛЕВИТИНА, Владимира МАКАНИНА, Александра МЕЛИХОВА, Лилии ПАВЛОВОЙ, Григория ПЕТРОВА, Ирины ПОЛЯНСКОЙ, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Леонида ФИЛАТОВА, Александра ХУРГИНА, Евгения ШКЛОВСКОГО, Асара ЭППЕЛЯ и др.

Постоянные рубрики ведут известные критики Ольга СЛАВНИКОВА, Кирилл КОБРИН, Владимир БЕРЕЗИН, Павел БАСИНСКИЙ, Евгений ПЕРЕМЫШЛЕВ, писатели Александр МЕЛИХОВ и Андрей СТОЛЯРОВ.